

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Г.А.КЛИМОВ

---

# ОСНОВЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ

Ответственный редактор  
доктор филологических наук  
Н.З. ГАДЖИЕВА



МОСКВА НАУКА 1990

Рецензенты:

академик АН СССР и ГССР *Т.В. Гамкрелидзе*;

доктор филологических наук *А.К. Шагиров*

**Климов Г.А.**

**К 49** Основы лингвистической компаративистики. — М.: Наука, 1990. — 168 с. ISBN 5-02-010980-0

В работе содержится опыт систематизации и дальнейшей разработки методов современного сравнительно-исторического языкознания. Рассматриваются как синхронные, так и диахронические методы отождествления генетического материала и доказательства языкового родства, проблемы реконструкции архетипов и праязыковых состояний. Обсуждаются возможности абсолютной и относительной хронологизации и локализации архетипов и их совокупностей, а также приемы экстралингвистической интерпретации данных компаративистики.

Для специалистов в области сравнительно-исторического, типологического языкознания и ареальной лингвистики.

К 460200000-089 683-90 (I полугодие)  
042(02)-90

ББК 81

**Klimov G.A.**

### Principles of Linguistic Comparativistic

The work provides an attempt of systematization and further elaboration of methods of comparative-historical linguistics. The author deals with synchronic and diachronic methods of identification of genetically stipulated material, with proof of linguistic kinship, problems in reconstruction of archetypes and stages of protolanguage. The perspectives of relative and absolute chronologization and localization of archetypes and their complexes are assessed, as well as the principles of extralinguistic interpretation of comparative data.

For linguists, interested in comparative-historical, typological and areal linguistics.

## ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на впечатляющие успехи, достигнутые на протяжении XX столетия различными ответвлениями синхронного языкознания, компаративистика и поныне представляет собой одно из наиболее широких направлений лингвистических исследований. По крайней мере по своей эмпирической популярности она по-прежнему явно опережает две другие во многом сопоставимые с ней фундаментальные отрасли сравнительного языкознания — типологию и ареальную лингвистику. Круг языковых семей, вовлекаемых в орбиту сравнительно-генетических штудий, и в настоящее время продолжает интенсивно расширяться. Можно назвать целый ряд отраслей компаративистики, способных гордиться своими очевидными успехами (помимо остающейся вне конкуренции в этом плане индоевропеистики, здесь в первую очередь следует упомянуть уральское, афразийское, картвельское и тюркское языкознание).

Вместе с тем именно в сфере компаративистики продолжает множиться и число беспочвенных гипотез, тормозящих поступательное движение науки. Так, если оставить в стороне фантастические построения М. Суодеша, Р. Шейфера, К. Боуда и некоторых других авторов, не только объединяющих отношения родства огромное число языков Евразии, но и увязывающих их со многими идиомами Нового Света, в настоящее время сформулировано немало генетических гипотез, которые, вопреки затраченным на них усилиям лингвистов, и сегодня не могут пользоваться репутацией сколько-нибудь серьезно обоснованных, о чем красноречиво свидетельствуют расхождения во взглядах у специалистов (ср. ностратическую, иберийско-кавказскую, алтайскую и другие гипотезы).

Последнее обстоятельство едва ли случайно и обусловлено по крайней мере двумя основными факторами. С одной стороны, оно объясняется совершенно недостаточным вниманием компаративистов-практиков к методической стороне своих сравнительно-генетических штудий (или хотя бы к соответствующему опыту индоевропеистики). Наиболее общим следствием этого обстоятельства является множество конкретных сравнительно-исторических работ, удовлетворяющихся обращением к методическому аппарату эпохи младограмматизма. Наблюдаются и еще менее объяснимые случаи методического атавизма. Так, до последнего времени встречаются факты не только имплицитной, но и эксплицитной ориентации исследования генетического плана на критерии типологического порядка. Известны прецеденты преднамеренной ориентации исследования одной генетической группировки или

семьи языков на структуру и материал другой. Все еще дает о себе знать вера в возможность выработки принципов анализа, выводимых *ad hoc* применительно к той или иной языковой семье.

С другой стороны, не приходится отрицать и того, что сам уровень разработки методов сравнительно-генетических исследований в определенном смысле отстает от потребностей практики. В специальной литературе уже неоднократно отмечалось, что, будучи увлеченной своими эмпирическими успехами, компаративистика обычно уделяла мало внимания сущности используемых ею процедур, вследствие чего многие принципиальные вопросы ее методики по сей день не получают сколько нибудь общепринятого решения (ср., в частности, существующие трактовки понятия праязыка, оценки объяснительных возможностей архетипов, уровень разработки конкретных приемов локализации явлений и т.п.). Характеризуя творчество компаративистов домладограмматической парадигмы, Ф. де Соссюр справедливо подчеркивал, что "основной ошибкой сравнительной грамматики — ошибкой, которая в зародыше содержала в себе все прочие ошибки, — было то, что в своих исследованиях, ограниченных к тому же одними лишь индоевропейскими языками, представители этого направления никогда не задавались вопросом, чему же соответствовали производимые ими сопоставления, что же означали охватываемые ими отношения" [Соссюр, 1977, 41—42]. Несмотря на последовавшую в дальнейшем эксплицитную постановку этого вопроса, его обсуждение трудно признать достаточно продуктивным.

Сказанное позволяет прийти к выводу об экстенсивных путях развития теории и методики генетического языкознания в прошлом. Поэтому встречающиеся в литературе высказывания о достижении современной компаративистикой полной зрелости и ясного осознания своих методов, на наш взгляд, все еще остаются преждевременными. Необходимо подчеркнуть, впрочем, что в несравненно большей степени методической зрелости недоставало концепциям, сторонники которых время от времени предпринимали ревизию самого фундамента генетического языкознания (ср. относительно недавнее утверждение У. Аллена, согласно которому историческое объяснение фактов языка, которым "было одержимо" языкознание прошлого столетия, должно быть вынесено за рамки лингвистики [см. Allen, 1953]).

Между тем в литературе все еще довольно мало обобщающих работ, способных послужить в качестве некоторого методического пособия в конкретных компаративистических исследованиях. Так, если оставить в стороне отдельные научно-популярные по своему замыслу руководства [ср. Lehmann, 1962; Lord, 1966], то целесообразно упомянуть здесь лишь два рода публикаций, имеющих отношение к методической проблематике компаративистики. С одной стороны, это работы общего характера, не ориентированные специально на освещение вопросов метода [ср. Naas, 1966; 1969; Krahe, 1970; Katičić, 1970; Anttila, 1972; Untermann (hrsg.), 1973; Bynon, 1977; Макаев, 1977]. С другой стороны, это работы, посвященные в своем большинстве рассмотрению более или менее частных вопросов компаративистической методики и к тому же ориентированные преимущественно на специфич-

ческий контекст проблем индоевропестики [ср. Meillet, 1925 (русск. пер.: Мейе, 1954); Десницкая, 1955; Десницкая, Серебренников (ред.), 1956; Hoenigswald, 1960; Collinder, 1964; Hoenigswald, 1973; Doerfer, 1973; Tischler, 1973; Арапов, Херц, 1974; Jucquois, 1976; Simone, Vignuzzi (a cura di), 1977; Birnbaum, 1977]. Среди немногочисленных исключений в последнем отношении здесь можно назвать одну из предшествовавших работ автора настоящей монографии, книгу Б. А. Серебренникова, посвященную вероятностным доказательствам в компаративистике, а также исследование Г. Фенриха, содержащее пропаганду сравнительно-исторического метода в кавказском языкознании [Климов, 1971; Серебренников, 1974; Фенрих, 1978].

Настоящая монография представляет собой расширенную коренную переработку ранее опубликованной брошюры автора, упомянутой выше. В отличие от нее здесь предлагается не только опыт систематизации методических приемов современных сравнительно-генетических исследований, но и попытка их дальнейшей разработки. Вместе с тем в этой работе автор стремился сконцентрировать свое внимание на некоторых особенностях изучения проблем неочевидного родства, а также сравнительно-исторического исследования языков, лишенных древнеписьменной традиции. Механизм конкретных приемов генетического языкознания демонстрируется преимущественно на фактическом материале наиболее близких автору по его специальности кавказских языков, т.е. абхазо-адыгских, картвельских и нахско-дагестанских, и в первую очередь картвельских, — они служили в истории лингвистической науки объектом самых невероятных гипотез и еще относительно недавно представлялись многим кавказоведам слишком своеобразными для того, чтобы классические процедуры компаративистики могли найти в них свое последовательное применение, следствием чего являлись неоднократно повторявшиеся призывы к их преобразованию.

Работа состоит из шести глав. Первая из них посвящена наиболее общим вопросам методической проблематики компаративистики. Во второй рассматривается "синхронный" аспект сравнительно-исторических исследований (прежде всего — проблема обоснования языкового родства). В следующей главе раскрывается понятие реконструкции в компаративистике. Конкретные приемы реконструкции характеризуются в четвертой главе. В пятой главе рассматривается совокупность приемов хронологизации и локализации явлений, а также анализируются принципы группировки (классификации) языков в пределах языковой семьи. В последней главе обсуждаются возможности экстралингвистической интерпретации данных компаративистики. Наконец, в кратком заключении сформулированы некоторые соображения о перспективах дальнейшего развития методического инструментария сравнительно-генетических исследований.

## Глава I

### ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДА КОМПАРАТИВИСТИКИ

Компаративистика (генетическое, сравнительно-историческое языкознание) — одна из трех, вместе с типологией и ареальной лингвистикой, фундаментальных дисциплин, изучающих одну и ту же описательную языковую базу под своим специфическим углом зрения и тем самым создающих свой особый предмет исследования. Методика современной компаративистики, широко известная в лингвистической литературе под довольно неудачным термином "сравнительно-исторический метод"), представляет собой большую совокупность методов и конкретных приемов изучения истории родственных языков, генетически восходящих к некоторой единой традиции прошлого, обычно квалифицируемой в качестве праязыка или языка-основы. Этот методический инструментарий, призванный обслуживать решение множества задач, используется для построения системы знаний об историческом развитии языковых семей, формируемой в конечном счете в виде сравнительно-исторических грамматик.

Среди всего многообразия составляющих этого инструментария можно выделить методы: а) генетического отождествления фактов, б) обоснования языкового родства, в) реконструкции архетипов (праформ), г) хронологизации и локализации явлений и д) генетической группировки языков, обслуживающие звенья единой логической цепи разработки сравнительно-исторической грамматики языковой семьи.

Будучи направленной на построение истории языковых семей, методика генетического языкознания, равно как и вся его проблематика, отчетливо обособляется от методики и проблематики как типологического, так и ареального исследования. Достаточно четкие демаркационные линии между этими тремя фундаментальными отраслями сравнительного языкознания могут быть проведены уже исходя из специфики самих процессов исторического развития языков, благодаря которым формируются их соответствующие сходства, и это отчетливо видел уже А. Мейе [Meillet, 1918, 13]. Так, генетическая лингвистика изучает сходства, обусловленные процессом дивергенции языков из некоторой общей для них генетической традиции, типологическая — изучает сходства, возникающие за счет независимого, параллельного развития языков, ареальная — изучает сходства, складывающиеся в ходе конвергентного процесса, происходящего в языках.

Если прибегнуть к соответствующей формулировке Р. Якобсона, то можно сказать, что генетический метод имеет дело с языковым родством, типологический связан с изоморфизмом языков, а ареаль-

ный — с их сродством [Якобсон, 1963, 97]. Тем самым становится очевидным, что всем трем фундаментальным отраслям сравнительного языкознания соответствуют и три принципиально самостоятельных способа лингвистического объяснения — генетическое, типологическое и ареальное, а также три различных классификации языков. В соответствии с ними оказываются, естественно, и разные таксономические единицы последних. В первом случае — это языковая семья, во втором — типологический класс языков, в третьем — языковой союз. Подтверждением сказанному может служить то обстоятельство, что во всех трех сопоставленных дисциплинах свою специфическую трактовку получают одни и те же факты эмпирической данности. Так, если компаративиста албанский генитив занимает как продолжение индоевропейского родительного падежа, то типолога (работающего в сфере контенсивной схематики) он интересует как одна из импликаций номинативного (аккузативного) строя, и, наконец, ареаловеда он привлекает со стороны своей специфики как характерной черты балканского языкового союза.

Сравнительно-генетические исследования вполне отчетливо обособляются и от проблематики глоттогенетических штудий. Основоположники компаративистики предполагали в свое время, что разработка сравнительных грамматик конкретных языковых групп позволит заглянуть в так называемый органический период языковой предистории, когда якобы складывалась и устанавливалась форма языка. Так, именно на решение глоттогенетической проблематики была в конечном счете ориентирована компаративистическая деятельность Фр. Боппа (в некоторых слабо продвинутых в своем развитии отраслях генетической лингвистики тенденция к выводам глоттогенетического плана на основе сравнительно-генетического исследования до сих пор не может, по-видимому, считаться полностью преодоленной). Однако развитие науки не оправдало их ожиданий, вследствие чего некоторые направления индоевропеистики еще с середины прошлого столетия стремились исключить из сферы своей компетенции проблематику глоттогенеза, что нашло особенно яркое выражение в так называемом парижском запрете 1866 года на слушание в Парижском лингвистическом обществе сообщений о происхождении языка. А. Мейе имел уже все основания констатировать, в частности, что, например, "сравнительная грамматика индоевропейских языков не бросает ни малейшего света на первые ступени языка" [Мейе, 1938, 81; ср. Sturtevant, 1947, 40—41]. Действительно, и опыт современной компаративистики не содержит каких-либо указаний на то, что некоторые из существующих ныне языков имеют сравнительно с другими меньшую историю или отличаются действительно архаическим характером в целом.

Исходя из тезиса об ориентации генетического языкознания на определенные процессы языковой эволюции, можно привести дополнительные доводы для того, чтобы оспорить адекватность некоторого специфического понимания феномена языкового родства, все еще встречающегося в отдельных лингвистических работах.

Так, полемизируя с сложившимся в компаративистике понятием родства, как оно отражено, в частности, в одной из работ Х. Рикса,

В. Пизани рассуждает следующим образом: «... предположим, что мы ничего не знаем о предистории современного английского языка. Находя в нем такие слова, как *bind, both, gesk*, с одной стороны, и *cross, marry, pass*, с другой, представляющие собой старые, давно укоренившиеся в языке элементы, а не недавние заимствования, мы должны решать, с каким же языком английский находится в родстве, с англосаксонским, к которому восходят три первых слова, или со старофранцузским, к которому восходят последние три. А почему же нельзя сказать, что он находится в родстве с обоими языками? Если мы должны были бы толковать английский текст, не имея об этом языке никаких предварительных знаний, разве не было бы запрещено на основании положения Рикса (согласно которому этимологический метод толкования памятников этрусской эпиграфики неприменим, так как языки родственные этрусскому неизвестны. — Г.К.) прибегать к сравнению с французским (или с англосаксонским)? Или, может быть, мы должны сначала решить, находится ли английский в родстве с германскими языками или с французским, чтобы наше сравнение было "законным"? Речь идет при этом не только о лексическом родстве... Аналогичный случай представляет собой румынский, содержащий элементы не только латинского, но и славянского происхождения, которые мы находим в фонологии и лексике..., а также в морфологии» [Пизани, 1966, 11; ср. Pisani, 1952].

Однако дело здесь, конечно, не просто в происхождении тех или иных элементов английского языка из германских или романских, а в глубоко различных путях их проникновения в английский. Нетрудно заметить, вероятно, что в приведенном контексте автор оперирует некоторым отличным от едва ли не общепринятого в языковедении понятием родства, которое сформировано им имплицитно на основе сознательного затушевывания различий в результатах двух диаметрально противоположных процессов языковой истории — дивергенции, с одной стороны, и конвергенции, с другой, реализация которых приводит к далеко не совпадающим следствиям (к становлению языковой семьи в первом случае и языкового союза — во втором). Подобный теоретический и терминологический "синкретизм" в подходе В. Пизани представляется тем более трудно объяснимым, поскольку в своих работах он в принципе признает различие дивергентных и конвергентных процессов.

Необходимо учитывать вместе с тем, что, различаясь по самому своему предмету от других жанров историко-лингвистического исследования, генетические штудии вступают с ними в определенное взаимодействие. Так, некоторые результаты типологических исследований, особенно если включать в их сферу так называемые характерологические, нередко привлекаются на службу генетическим. С одной стороны, они способны задавать некоторый предварительный ориентир изучению отношений языкового родства (ср., например, их подобную роль в истории построения генетических классификаций североамериканских и части африканских языков, разработанных соответственно Э. Сэпиром и Дж. Гринбергом). С другой стороны, они могут в какой-то мере верифицировать степень достоверности результатов ге-



нетической реконструкции, что было специально подчеркнуто Р. Якобсоном [Якобсон, 1963, 102—104]. Наконец, как об этом свидетельствует современная практика компаративистики, в определенных случаях — прежде всего в ходе так называемой дальней реконструкции — заявляет о себе тенденция типологических соображений ложиться даже в некоторое основание сравнительно-исторических восстановлений. Что же касается возможного вклада ареальной лингвистики в генетические исследования, то здесь в первую очередь следует отметить ее способность содействовать прогрессу последних уже тем, что она устраняет из их поля зрения языковые общности, обусловленные действием фактора конвергентного развития (нередко встречается не разделяемая автором настоящей работы точка зрения, согласно которой содержание ареальной лингвистики определяется как применение методов лингвистической географии к задачам генетического изучения языков).

Не приходится сомневаться в том, что в настоящее время и компаративистика способна вносить свой вклад в решение некоторых конкретных задач, стоящих перед другими жанрами историко-лингвистического комплекса. Так, например, типологические и глоттогенетические исследования не могут не учитывать одно из наиболее общих положений сравнительных грамматик различных языковых семей, трактующее систему аблаутиных чередований как некоторое архаическое явление (несмотря на ее нередкую способность к ренувеляции в виде так называемых вторичных моделей аблаута), постепенно утрачивающее свои функциональные позиции с развитием морфологических систем. Результаты сравнительно-генетических исследований могут в какой-то степени влиять на перспективы обоснования конкретных историко-типологических построений.

В частности, в пользу выдвинутой в типологии гипотезы об активном строе древнейшего пракартвельского состояния может косвенно свидетельствовать фиксируемый этнолингвистическими разысканиями факт очень слабой представленности в нем разряда имен прилагательных. Так, при критическом рассмотрении соответствующего материала из всего примерно десяти пракартвельских лексических архетипов, которым автор настоящей работы приписывал в прошлом адъективную семантику [Климов, 1964], ныне статус имени прилагательного может быть сохранен едва за двумя-тремя. Например, пракартвельские \*maḡʒwen- и \*терхе-, как об этом еще довольно определенно свидетельствуют и их современные продолжения, были, по всей вероятности, субстантивами со значениями 'правая рука' и 'ведро, ясное небо'. Входившие в их число сванские прилагательные dətɬ-el 'тонкий' и ʒwin-el 'старый', характеризующиеся деривационным элементом -el, не сопоставимы на правах общего наследия с их аналогиями в остальных картвельских языках по своей словообразовательной структуре (ауслаутиое l в исконно общем для всех них материале не удерживалось; кроме того, своеобразна основа второго из них). Адъективная семантика некоторых других архетипов, признававшихся ранее пракартвельскими, остается все же под сомнением, так как она не поддерживается либо их сванскими континуантами, либо грузинско-заисскими. Не исключено, что даже единичные относительно надежные в

этом плане пракартвельские архетипы окажутся параллельными образованиями картвельских языков эпохи их самостоятельного существования. И хотя уже для грузинско-занского хронологического уровня функционирование имени прилагательного не вызывает каких-либо сомнений, можно показать, что даже в эту значительно более позднюю эпоху довольно отчетливым образом прослеживается производность целого ряда адъективов от глаголов или субстантивов. Например, такие грузинско-занские прилагательные, как \*gɣz-el- 'длинный, высокий', \*ɕit-el- 'красный', \*qm-el 'сухой', \*lb-il- 'мягкий', \*ɕp-il- 'теплый', \*(s)a-ws<sub>1</sub>-e 'полный', как правило, трактуются в картвелистике в качестве отглагольных образований с аффиксами -el, -il и (s)a- — e (ср. параллельные глагольные корни \*gɣz<sub>1</sub>-, \*ws<sub>1</sub>-, \*ɕp-/ɕep-, \*ɕit-, \*qm/qem). В то же время, в основе таких адъективов, как груз. patel- 'светлый' (в древнегрузинском — также 'свет'), мегр. ɕoba- 'глубокий' (также 'озеро'), (г)ɕe-, лаз. хɕe- 'белый', груз. ɣtma- 'глубокий', sx-el- 'горячий' лежат допускаявшие атрибутивное употребление имена существительные грузинско-занского хронологического уровня \*nate- 'свет, лучина', \*ɕba- 'озеро', \*mas<sub>1</sub>e- 'седина', \*ɣtma- 'дыра, яма', \*ɕixe- 'жар' (ср. закономерное сванское соответствие последней лексемы ɕix- 'уголь'). Исконную для этих лексем субстантивную семантику подтверждает и одно обстоятельство формального порядка — идентичность грузинского и занского рефлексов этимологического гласного в их исходе (в исторических грузинско-занских адъективах их занские продолжения обнаруживают здесь изменение их вокализма в соответствии с занским передвижением гласных [Климов, Мачавариани, 1966]). Такая же гипотеза допустима и для фонетически закономерно соотносящихся груз. piɕx- 'вспыльчивый' и мегр. piɕx- 'сухой хворост' (на правах занизма последняя форма налицо и в грузинском; ср., однако, мегр. piɕxolua 'собирать сухой хворост').

Необходимо специально подчеркнуть важнейшую роль соблюдения принципа историзма в сравнительно-историческом языкознании. Еще относительно недавно можно было встретить мнение, будто принцип историзма присущ последнему едва ли не автоматически уже в силу яркой диахронической направленности протекающего в его рамках исследования. Такой точке зрения, однако, противоречит опыт развития науки о языке в прошлом столетии, когда именно в компаративистике давали о себе знать различные антиисторические по своему содержанию концепции. Как известно, страдал ограниченностью историзма и позитивистски подчеркнутый подход к языку, свойственный представителям младограмматической доктрины. Младограмматики, проделавшие, по справедливой оценке И.И. Мещанинова, исключительно плодотворную работу по внедрению историзма в лингвистическое исследование [Мещанинов, 1947, 253], несомненно, понимали историчность объекта своего внимания, однако были еще не подготовлены к тому, чтобы отчетливо уловить самое существо языкового развития. Достаточно упомянуть в этой связи признание ими примата фактов внешней хронологии языковых явлений перед свидетельствами их внутренней хронологии (что естественно согласовалось со столь характерной для младограмматизма привязанностью к языку пись-

менных памятников), их интерес к языку как таковому, а не как к средству истолкования истории языковой семьи, а также фактическое сведение у них всего богатства объективных закономерностей языкового развития к понятиям фонетического закона и морфологического выравнивания. Понятно поэтому, почему в сравнительно-генетических исследованиях представителей младограмматизма нетрудно найти немало примеров антиисторических решений.

Как известно, уже Г. Паулю принадлежит весьма созвучная идеям современности трактовка принципа историзма. "Кое-кто, возражая мне, указывал, — подчеркивает он, — что, помимо исторического, существует еще и другой способ научного изучения. Никак не могу согласиться с этим. То, что понимают под неисторическим и все же научным рассмотрением языка, есть по сути дела также историческое, но несовершенное изучение языка — несовершенное отчасти по вине исследователя, отчасти же в силу особенностей изучаемого материала. Как только исследователь переступает за пределы простой констатации единичных фактов, как только он делает попытку уловить связь между явлениями и понять их, так сразу же начинается область истории, хотя, быть может, он и не отдает себе ясного отчета в этом..." [Пауль, 1960, 42—43]. Тем не менее, немалый груз иллюзий сопровождал процесс совершенствования исторического подхода к языку и в последующий период. Ср., например, наивное допущение возможности внести историзм в рассмотренный языкового материала посредством экскурсов диахронического порядка, основанное на отождествлении понятий исторического и диахронического.

Если придерживаться понимания историзма как некоторого общего мировоззрения, обуславливающего необходимость специфического подхода к исторически развивающемуся объекту познания, то не приходится сомневаться в том, что каким бы аспектом лингвистического исследования — генетическим, типологическим или ареальным — ни занимался языковед, он неизменно имеет дело с языком как развивающимся явлением. Поэтому справедливо утверждение, согласно которому историзм стал в современном языкознании мерой научности лингвистического построения [ср. Караулов, 1986, 35].

Решающую роль в деле внедрения принципа историзма в практику компаративистики сыграло утверждение в языкознании подхода к языку как к социальному явлению, с одной стороны, и как к системному, с другой. Нетрудно увидеть, что реализация именно такого подхода составляет необходимое условие выполнения корректных реконструкций (особенно — семантических) отдельных явлений, адекватного представления о характере языкового состояния, а также правильного понимания общей ступени развития языковой семьи в различные эпохи. В настоящее время едва ли можно сомневаться в том, что сравнительно-генетическое исследование, пренебрегающее социальной и системной характеристиками языков на том или ином этапе их развития, может оказаться глубоко антиисторическим.

Признание руководящей роли принципа историзма в компаративистике диктует необходимость подчеркнуть яркий метафорический характер значительной части ее терминологии. Он находит свое отра-

жение в таких важнейших для нее терминах, как "языковое родство", "языковая семья", "дочерние языки", "язык-предок", "праязык", "языковая филиация", доставшиеся современному языковедению по наследству из предшествовавшей традиции. Подобная терминология обозначает, конечно, не сходство реальных языковых отношений с отношениями, существующими между биологическими индивидами, а сходство строившихся в прошлом лингвистических моделей, и прежде всего — модели родословного древа с биологическими [ср. Hockett, 1957; Stevick, 1963].

При характеристике общей проблематики компаративистики необходимо особо подчеркнуть еще одну ее неотъемлемую черту, заключающуюся в органической привязанности любого генетического исследования к конкретной языковой субстанции, иначе говоря — к самому материалу фонем, морфем и лексем, чего нельзя сказать о типологических исследованиях (даже работы в сфере так называемой типологии фонетических систем, как это все более широко признается, относятся скорее к жанру сопоставительных или характерологических) и, отчасти об ареальных. Вне постоянного учета фактов материальной общности сравниваемых языков невозможно уже само обоснование их родства, и конечно не случайно, что сам термин "генетическое родство" нередко оказывается в специальной литературе синонимичным термину "материальное родство". Именно скудость такого материала существенно ограничивает перспективы соответствующего исследования и в случаях, когда родство рассматриваемых языков уже обосновано. И, напротив, его изобилие сказывается на его перспективах самым благоприятным образом.

Необходимая привязанность компаративистики к языковой субстанции (независимо от устной или письменной формы ее презентации) является, по-видимому, одним из существенных обстоятельств, определивших фонологию и морфологию, а затем и широко учитывающую их данные лексикологию, как традиционно развитые сферы сравнительно-грамматических построений. Хронически отстающим уровнем исследования, по общему признанию, оказывается синтаксис. Важной причиной такого положения вещей служит тот факт, что именно синтаксис не находит себе достаточной опоры в имеющемся объеме материально сопоставимых связных текстов. Особенно негативно это сказывается на изучении языков, обнаруживающих среднюю и дальнюю степень родства и характеризующихся уже значительной утратой исконно общего материального наследия. Вместе с тем, столь частые в компаративистической практике случаи неудовлетворительной разработанности синтаксиса, характеризующие сравнительно-грамматические традиции близкородственных языковых группировок, обязаны скорее уже субъективному фактору недостаточного к нему интереса со стороны исследователей или отсутствию достойного подражания образцу в индоевропеистике. Даже если согласиться с устаревшей после введения в обиход науки анатолийских фактов точкой зрения А. Мейе, согласно которой "в то время как фонетика и морфология подверглись глубоким изменениям, структура предложения общиндоевропейского, общеславянского и древнего (исторического)

периодов и даже современного периода разных славянских языков различается очень незначительно" [Мейе, 1951, 380], то, конечно, далеко не аналогичное положение имеет место в истории некоторых других языковых семей, где эволюция синтаксического строя протекала иными темпами.

На протяжении длительного периода развития лингвистической компаративистики, продолжавшегося по крайней мере до начала XX столетия, основное содержание генетических исследований неоправданно ограничивалось за счет концентрации внимания исследователей на проблеме реконструкции праязыкового состояния, что рассматривалось в качестве их основной цели. Тем самым закономерности всего исторического развития языковых семей почти полностью выпадали из их поля зрения (выше уже упоминалось, что содержание этих закономерностей фактически исчерпывалось их двумя разновидностями, известными под терминами "фонетический закон" и "грамматическая аналогия"). Ограничение содержания генетических штудий этой по своему существу вспомогательной проблематикой, естественно, негативно сказывалось на состоянии самой теории компаративистики, длительное время характеризовавшейся несомненным застоєм.

Между тем, сравнительная грамматика не может рассчитывать на адекватность своих положений без констатации как общих тенденций в эволюции входящих в сферу ее компетенции родственных языков, так и частных, специфических тенденций развития, характерных для отдельных из них. Лишь постепенно и к тому же в первую очередь в самой практике конкретных исследований в языковедении стало утверждаться современное понимание задач и методов компаративистики как дисциплины, стремящейся к раскрытию закономерностей исторического развития родственных языков при подчиненности решению именно этой задачи методика моделирования и, в частности, реконструкции (ср. аналогичную роль последней и в других жанрах историко-лингвистического исследования).

Во многом определяющую роль в формировании современного понимания задач и методов сравнительно-генетических исследований сыграло богатейшее идейное наследие А. Мейе. В одной из его работ он прямо указывает, что компаративисты слишком долго не замечали "необходимости проследивать кривую развития каждого из языков (индоевропейской — Г.К.) семьи на всем ее протяжении от индоевропейского состояния до современной эпохи. Компаративисты долго верили в то, а некоторые верят, быть может, и сейчас, что можно ограничиться объяснением древнейших форм каждого языка, возводя их к индоевропейскому типу, — удобная процедура, позволяющая многое игнорировать. Это может быть полезно, но искусственно. Тот, кто ищет настоящего объяснения, не имеет более права изолировать новые периоды от древних, так же как мы не имеем права объяснять современность, исходя из нее самой и пренебрегая прошлым" [Meillet, 1926, 10]. Как известно, именно такой подход получал свою реализацию и в его исследовательской практике. Так, в обобщающем труде А. Мейе по общеславянскому подчеркивается, что "настоящая работа содержит в себе значительную часть сравнительной грамматики обще-

славянского языка в его отношении к общиндоевропейскому. Но эта реконструкция представляет интерес для изучения славянских языков лишь в той мере, поскольку она объясняет их развитие" [Мейе, 1951, 1—2]. "Сравнительная грамматика, — читаем в его руководстве по индоевропеистике, — не задается целью воссоздать индоевропейский язык, а имеет в виду, определяя указываемые соответствиями общие элементы, выяснить, что в каждом исторически засвидетельствованном иаречии является продолжением древней формы языка и что представляет результат самостоятельного развития" [Мейе, 1938, 32; ср. Meillet, 1926, 10]. Иначе говоря, если компаративиста интересуют общее наследие и общие тенденции развития родственных языков, их естественно устанавливать на фоне специфических особенностей отдельных языков: именно сохранение таких общих тенденций в условиях самостоятельного развития наиболее рельефно свидетельствует об их закономерном характере [Жирмунский, 1976, 21].

Здесь, однако, возникает существенный вопрос методического плана — в каком объеме в сферу компетенции сравнительно-генетического исследования входят новообразования различных представителей языковой семьи. В исследовательской практике он обычно вообще остается без ответа, а если и как-то решается, то далеко не всегда сколько-нибудь однозначным образом. Как правило, не дают на него ответа и теоретические работы по компаративистике. По всей вероятности, адекватное решение этого вопроса следует искать в направлении разграничения сфер компетенций сравнительной грамматики макросемьи родственных языков и сравнительной грамматики отдельных входящих в нее ветвей или микросемей. Если принять сказанное, то тогда сравнительную грамматику микросемьи должны интересовать только те инновации конкретных языков, на показаниях которых она строится и которые уже ничего не дают с точки зрения построения сравнительной грамматики соответствующей макросемьи. Естественно ожидать такого же распределения инноваций, релевантных к построению сравнительных грамматик микросемей различных уровней. Так, например, нетрудно убедиться в принципиально различном составе новообразований, попадающих в поле зрения сравнительной грамматики индоевропейских языков, с одной стороны, славянских языков — с другой, и восточнославянских языков — с третьей.

Различие между сравнительной грамматикой и исторической грамматикой в общих чертах И.А. Бодуэн де Куртэнэ разъяснял следующим образом: "историческая грамматика и сравнительная грамматика — это, собственно, только два разных направления одного и того же сопоставления фактов и мышления о них. Сопоставление и сравнение в хронологическом порядке на одной и той же линии исторического развития дает историческая грамматика; сопоставление же разных разветвлений одного и того же первоначального материала составляет сравнительную грамматику..." [Бодуэн де Куртэнэ, 1963, 376]. Согласно В.Н. Ярцевой, хотя обычным исходным пунктом построения исторической грамматики языка служит синхронный срез наиболее ранних письменных свидетельств, история языка вправе отталкивать-

ся при объяснении форм и от языковых архетипов [Ярцева, 1986, 23—25].

В соответствии со сказанным выше такое важнейшее орудие компаративистики, как сравнительно-исторический метод, обычно определяется как широкая совокупность приемов, используемых при изучении родственных языков в целях раскрытия закономерностей их исторического развития, начиная от языкового состояния. Если учесть, что в центре внимания методики сравнительно-генетического исследования оказываются языковые сходства, сохраняющиеся в ходе дивергентных процессов, то то или иное решение неоднократно задававшегося в прошлом вопроса об объеме вхождения в сферу его компетенции материала не затрагивает самого существа сравнительной грамматики (достаточно очевидно, что многие из этих сходств отчетливо представлены и в синхронном с исследованием языковом состоянии).

Несмотря на длительное время сохранявшееся ограничительное толкование многими компаративистами прошлого терминов "сравнение" и "языковая история" (ср., в частности, широко практиковавшееся до недавнего времени отнесение дописьменного периода развития того или иного языка к его "доистории", или известную формулировку А. Мейе, согласно которой "из положения, что только сравнительный метод дает возможность построить историю языков, следует также и то, что изолированный язык лишен истории" [Мейе, 1954, 19]), и ныне не нуждается в каких-либо комментариях тезис, утверждающий, что в основе всей совокупности конкретных методов компаративистики лежит прием сравнения (следует отметить, впрочем, известное неудобство термина "сравнительное языкознание", обычно несущего в отличие от параллельных ему терминов "сравнительное литературоведение", "сравнительная мифология" и т.п. свое специфическое содержание, предполагающее исключительно генетический характер его проблематики [ср. Vendryès, 1946, 1; также Hoenigswald, 1963, 1—2]).

Имеются основания и в настоящее время согласиться с традиционным постулатом о том, что сравнение — это по существу единственный инструмент воспроизведения языковой истории, которая вытекает из сравнительного характера применяемых генетическим языкознанием процедур. Однако дальнейшая его формулировка, согласно которой "из положения, что только сравнительный метод дает возможность построить историю языков, следует также и то, что изолированный язык лишен истории" [Мейе, 1954, 18], свидетельствует об очень узком понимании им и "сравнения" и "истории языка", подвергнутом впоследствии критике многими компаративистами [Vendryès, 1946; Кноблох, 1956; Ellis, 1966].

Если исходить из того, что эмпирическое основание сравнительно-генетических штудий составляет сравнение языковых систем, то будет естественным заключить, что их необходимую предпосылку образует не только наличие синхронных описаний сравниваемых языков, но и выполнение некоторой совокупности операций чисто синхронного плана. В этих условиях представляется существенным под-

черкнуть, что в настоящее время имеется немало аргументов, свидетельствующих о целесообразности взаимного разграничения диахронического и синхронного аспектов в рамках методики компаративистики. В частности, такой фундаментальный компонент последней, как доказательство языкового родства, как правило, сводится к синхронной по своему характеру процедуре, получающей свое выражение в констатации определенной системы соответствий между рассматриваемыми компаративистом языками (здесь мы отвлекаемся уже от тех многочисленных случаев, когда близкое языковое родство оказывается очевидным даже для самих говорящих).

Результирующим продуктом сравнительно-генетического исследования являются в конечном счете сравнительные грамматки языковых макро- или микросемей. Каждая из этих дисциплин представляет собой совокупность знаний об историческом развитии группы родственных языков, прогресс которой находится в постоянной зависимости от вовлечения в сферу изучения нового языкового материала, с одной стороны, и от совершенствования приемов исследования, с другой.

Различные ступени разработки сравнительной грамматики отражают эволюцию представлений науки от ранее сложившихся к последующим и оказывающихся, как правило, в соответствии с наиболее выдающимися достижениями разных поколений компаративистов. Так, например, в истории индоевропейского сравнительного языкознания с начала XIX столетия М. Майрхофер усматривает пять основных этапов развития, характеризующихся единой линией все возрастающего отхода лингвистов от древнеиндийского состояния как воплощения праязыковой модели: А. Шлегель — А. Шлейхер — закон палатализации — ларингальная теория — глоттальная теория [ср. Maughofer, 1983]. Отличную периодизацию следует наметить в этом плане для развития сравнительной грамматики картвельских языков. Если отвлечься от начального этапа разработки, когда исследователи еще не задавались задачей реконструкции праязыкового состояния, здесь можно выделить два основных этапа. С одной стороны, это этап, отмеченный выдвиганием на роль праязыковой модели состояния древнегрузинского языка (тогда предполагалось, что особенности занской ветви картвельских языков восходят к одному из диалектов, представленных в составе древнегрузинского письменного языка, и в свою очередь предшествуют специфике сванского, рассматривавшегося к тому же как "смешанный" с абхазско-адыгскими языками агрегат). С другой стороны, это этап признания картвельской праязыковой модели как конструкта, строящегося по перекрестным свидетельствам всех картвельских языков [ср. Гамкрелидзе, Мачавариани, 1965, 3—18].

При прочих равных условиях перспективы разработки сравнительно-грамматического построения зависят от такого существенного фактора, как приток в распоряжение компаративиста нового материала. Оптимальную в этом отношении ситуацию создают языковые группы, представленные большим числом ингредиентов, обнаруживающих вместе с тем неодинаковую степень взаимной близости — индоевро-



пейская, афразийская, сино-тибетская, уральская, дравидийская, юто-ацтек-тано, нахско-дагестанская и другие. Благодаря этому в последние три десятилетия был достигнут значительный прогресс сравнительными исследованиями в области центрально- и южноамериканских языков [ср. Longacre, 1968, 320 и след.; Matteson, 1972]). Напротив, существенно затрудняет перспективы исследования узость рассматриваемых генетических группировок, особенно если оно сопровождается к тому же значительной степенью материальной гетерогенности составляющих их языков, подобно ситуации, имеющей место в абхазско-адыгских языках Западного Кавказа. При наличии всего лишь пяти абхазско-адыгских языков здесь тесной близостью характеризуются абхазский и абазинский (абхазско-абазинская подгруппа), с одной стороны, и адыгейский и кабардинский (адыгская подгруппа), с другой. Большая материальная гетерогенность обеих подгрупп по отношению друг к другу лишь в весьма ограниченной степени компенсируется существованием некоторого промежуточного между ними звена в виде почти вымершего убыхского языка, по-видимому, несколько более тяготеющего к адыгской подгруппе (положение осложняется также тем обстоятельством, что не всегда ясно, когда в убыхском мы имеем дело с исконным материалом).

В истории компаративистики иногда высказывалось мнение о том, что слишком тесная близость сравниваемых языков, подобная наблюдающейся в семитской ветви афразийских языков, также затрудняет положение компаративиста. Однако в практике сравнительно-генетических штудий близкое языковое родство еще никогда ему не препятствовало (если при этом, конечно, не вступали в действие какие-либо привходящие факторы, как это, например, имело место в истории тюркских языков, в течение длительного времени сохранявшие друг с другом интенсивные контакты). Скорее напротив, подобная близость, свидетельствующая только об ограниченном лингвистическом времени языковой группы, способствует исследованию, поскольку позволяет наиболее исчерпывающим образом проследить ее историю вплоть до праязыкового состояния. Видно, последнему обстоятельству и обязан факт, что сравнительно-историческая грамматика семитских языков уже по существу приняла очертания одной из наиболее "законченных" частных отраслей сравнительно-генетического языкознания. Подлинная специфика сравнения близкородственных языков заключается в том, что сколько-нибудь существенное проникновение в отдаленное прошлое здесь оказывается связанным преимущественно с обращением к данным других ветвей афразийских языков.

Успех конкретного генетического исследования — особенно на его начальных этапах — обнаруживает очевидную зависимость от наличия в распоряжении компаративиста некоторого естественного языка-эталона, обладающего высокой объяснительной способностью для фактов других родственных языков. Как известно, значительный прогресс финно-угорского языкознания во второй половине XVIII столетия во многом был обязан тому обстоятельству, что в трудах ранних венгерских лингвистов Й. Шайновича (*Demonstratio. Idioma*

Hungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnavia, 1770), Ш. Дьярмати (Affinitas linguae hungaricae cum linguis fennicae originis grammaticae demonstrata. Goettingen, 1799) и некоторых других роль подобного языка-эталопа принадлежала финскому и, отчасти, саамскому языкам. В индоевропеистике на протяжении длительного периода времени оставалась очевидной большая стимулирующая роль санскрита и еще Ф. де Соссюр имел все основания утверждать, что его факты "прекрасно помогают исследованию, и в огромном большинстве случаев именно санскрит оказывается в положении языка, разъясняющего явления других языков" [де Соссюр, 1977, 41]. Неудивительно, что высокая разрешающая способность его материала даже породила среди значительной части компаративистов первой половины XIX века иллюзию, будто именно санскрит и является источником остальных засвидетельствованных в то время индоевропейских языков. С открытием анатolianской группы последних на сходную в какой-то мере роль — особенно в плане дальней реконструкции праиндоевропейского состояния — стал претендовать хеттский материал.

Объяснительные свойства такого языка-эталопа — уже хотя бы в силу своей сравнительно ранней хронологической приуроченности — в большей или меньшей степени присущи старописьменным представителям языковых семей (встречающиеся в них инновации обычно не меняют сколько-нибудь существенным образом общей картины). Совершенно очевидно, что перспективы сопоставления, например, португальского языка с бенгали не идут ни в какое сравнение с возможностями, открывающимися при сопоставлении латыни и санскрита [Porzig, 1928, 263]. В этом отношении в идеальной ситуации оказывается романское языкознание, в распоряжении которого имеются как современные романские языки, так и их праязыковое состояние, представленное различными формами латыни (и в какой-то мере и промежуточные между ними звенья), что создает на редкость благоприятные условия для реконструкции соответствующих прасостояний, а также для проверки эффективности самих методов сравнительно-генетических исследований. Относительно широкие перспективы генетического исследования сохраняются и в том случае, если рассматриваемая генетическая группировка языков не является прямым продолжением состояния, зафиксированного старописьменной традицией (ср., например, важнейшую роль древнеперсидского и авестийского языков в диахроническом истолковании фактов восточноиранских языков [Эдельман, 1986]).

Однако в огромном большинстве случаев сравнительно-исторические грамматики строятся исключительно по показаниям фактического материала языков, известных лишь в их современном состоянии. Поскольку, как правило, языки архаичные в каком-либо одном отношении оказываются достаточно эволюционировавшими в другом, практически очень трудно говорить о возможности преимущественного использования одного из ингредиентов языковой семьи в роли языка-эталопа сравнения. Поэтому в типичной для исследовательской практики ситуации в поисках исторического истолкования засвидетельствованных форм компаративисту приходится апеллировать к

самым различным представителям рассматриваемой генетической группировки с тем, чтобы построить некоторую искусственную систему форм, обладающих максимальной объяснительной способностью — праязыковую систему.

Характеризуя пути развития индоевропейстики, намеченные ее перестройкой, связанной с открытием ряда древних языков, существенно способствовавших истолкованию позднейших этапов существования индоевропейских языков, Вяч. Вс. Иванов отмечает: "Естественно, что на первом этапе перестройки сравнительной грамматики индоевропейских языков такая новая интерпретация могла вести в сторону попыток изобразить общеиндоевропейский настолько же близким к анатолийскому, насколько в конце XIX в. и начале нашего века его изображали близким к древнеиндийскому и древнегреческому. Следы такого рода воззрений сказались уже и в некоторых работах, непосредственно относящихся к доистории праславянского и балтославянского. Однако более трезвый анализ фактов позволяет сделать вывод, что ни в одном из языков, сохранившихся в исторический период, нельзя найти непосредственного отражения общеиндоевропейских фактов..." [Иванов, 1965, 9]. Аналогичная картина налицо и в картвельских языках Закавказья, засвидетельствованных старописьменным грузинским (с V в. н.э.) и бесписьменными мегрельским, лазским и сванским языками. Хотя в сфере грамматики и, отчасти, лексики последний сохраняет целую совокупность интересных архаизмов, в области фонетики он обнаруживает черты существенного развития. Напротив, исконная фонологическая система и, в частности, фонологическая структура основ наиболее отчетливым образом представлена в грузинском языке. В целом же наиболее эволюционировавший облик (в сфере грамматического строя, например, обремененный широкому действию различных унифицирующих тенденций) характеризует мегрельский и лазский языки, составляющих занскую ветвь картвельских языков.

Из предшествовавшего изложения естественно придти к выводу о чрезвычайно большом месте, занимаемом в методике сравнительно-генетических исследований различного рода вероятностными приемами, основанными на учете общих закономерностей языкового развития. Как показал Б. А. Серебrenников, применение методов вероятностных обоснований в компаративистике означает использование всех возможных точек опоры, позволяющих обосновывать предположения о происшедших в родственных языках процессах, в той или иной степени приближающиеся к их реальной истории. Такими точками опоры могут служить различные фреквенталии, характерные для разных сфер языка, закономерные структурные корреляции, наблюдающиеся по языкам всякого рода аномалии [ср. Серебrenников, 1974]. В целом роль вероятностных методик возрастает с углублением исследования в историю, неизбежно сопровождаемым сокращением обнаруживаемого в представителях языковой семьи генетически детерминированного материала. Не приходится удивляться поэтому, что сравнительно-исторические грамматики едва затронутых соответствующим исследованием языковых семей представляют собой по существу совокупность некоторых гипотез, располагающих минимальным вероятностным подкреплением.

## СИНХРОННЫЙ АСПЕКТ КОМПАРАТИВИСТИКИ

Несмотря на яркий диахронический характер большинства своих процедур, сравнительно-генетическое исследование имеет, подобно типологическому и ареальному, и свой синхронный аспект. Последний охватывает столь важную область компаративистики, как генетическое отождествление языковых явлений и, следовательно, доказательство самого факта языкового родства.

Объективную предпосылку генетической идентификации языковых явлений составляет генетическая сравнимость отдельных фактов и их целых совокупностей как в пределах единой языковой системы, так и в составе систем родственных языков. В ингредиентах языковой семьи обычно выявляется некоторое число генетически тождественных единиц (фонем, морфем, лексем), т.е. величин, восходящих в конечном счете к общему для них историческому знаменателю прошлого. Элементарный случай генетического тождества двух единиц в сопоставляемых языках имеет своим минимальным условием два исторических тождества (последние могут быть охарактеризованы как тождества языковой единицы во времени) [ср. Смирницкий, 1955, 15—16]. Так, например, генетическая идентичность аварской геминированной смычногортанной аффрикаты  $\zeta\gamma$  лакскому спиранту  $z$  и даргинской аффрикаты  $z$  (ср. авар.  $\text{mo}\zeta\gamma$  'луна' ~ лакск.  $\text{ba}z$  то же ~ дарг.  $\text{ba}z$  то же; авар.  $\text{ta}\zeta\gamma$  'язык' ~ лакск.  $\text{ma}z$  то же ~ дарг.  $\text{me}z$  то же; авар.  $\text{pi}\zeta\gamma\text{a}$  'дверь' ~ лак.  $\text{pi}z$  то же ~ дарг.  $\text{un}z\text{a}$  то же) основана на трех исторических тождествах: 1. нах.-даг.  $*z$  ~ авар.  $\zeta\gamma$ , 2. нах.-даг.  $*z$  ~ лакск.  $z$  и 3. нах.-даг.  $*z$  ~ дарг.  $z$ .

Ввиду того, что исторически тождественные элементы могут вскрываться на правах заимствований в неродственных языках, иногда говорят о правомерности распространения приема генетической идентификации на материал и таких единиц, и даже — о возможности применения к фрагментам неродственных языков сравнительно-исторического метода. Конечно, такие выявленные, например в нахско-дагестанских языках старые индоиранизмы, как лакск., дарг.  $\text{wars}\dot{i}$  'бурка, войлок' (при авест.  $\text{war}\dot{e}sa$ , согд.  $\text{wrs}$  'волос') и лакск., авар.  $\text{wagan}\dot{i}$  'верблюды' (при др.-инд.  $\text{vaga}\dot{n}a$  — эпитет верблюда), позволяют их исторически отождествить с соответствующими фактами иранских и индийских языков и, вероятно, даже поставить их в некоторый единый ряд с последними с целью реконструкции их архетипов. Фактически при этом все же трудно говорить об отношениях генетического порядка, поскольку сам способ проникновения подобного материала в неродственные языки имеет контактную (т.е. ареальную), а не генетическую природу. Последнее обстоятельство не оставляет, на наш взгляд, оснований говорить о возможности применения сравнительно-исторического метода к заимствованиям.

Исследовательская практика контрастивной лингвистики свидетельствует, что та или иная степень структурной близости может быть обнаружена при сопоставлении любых избранных языков. Соответ-

ствующее ей определение порога вероятности генетического тождества последних было бы по необходимости произвольным. Вместе с тем, сходные структуры сопоставляемых языков могут находить свое воплощение в весьма различной субстанции (ср. хорошо известные примеры более или менее далеко идущего структурного параллелизма языков, относящихся к единому типологическому классу). Эти элементарные наблюдения указывают на то, что процедура доказательства генетической связи языков не может быть основана на анализе их структурных признаков и носить, таким образом, структурно-сопоставительный или типологический характер даже в том случае, если она будет учитывать некоторое диахроническое изменение. В настоящем контексте показательна судьба известного опыта структурного доказательства принадлежности языка к числу индоевропейских, предпринятого в 1937 г. Н.С. Трубецким. По его мысли, для демонстрации индоевропейского характера языка необходима и по существу достаточна комбинация в нем следующих шести структурных признаков, свойственных всем живым и ныне вымершим индоевропейским языкам: 1) отсутствие гармонии гласных; 2) число согласных, допускаемых в начале слова, не более числа согласных, допускаемых внутри слова; 3) слово не обязано начинаться с корня; 4) образование форм осуществляется не только при помощи аффиксов, но и при помощи чередования гласных внутри основы; 5) наряду с чередованием гласных известную роль при образовании грамматических форм играет и внешне не обусловленное чередование согласных; 6) подлежащее непереходного глагола трактуется совершенно так же, как подлежащее глагола переходного [см. Трубецкой, 1958, 70—72]. Поскольку при этом автор указывает на необходимость лишь неопределенного числа "материальных совпадений", которое нетрудно обнаружить при сопоставлении любых взятых наугад языков, такой набор критериев правомерно квалифицировать как собственно структурный. Нетрудно заметить, однако, что к перечисленным признакам автор приходит в итоге рассмотрения языков, индоевропейская принадлежность которых была предварительно обоснована некоторым иным образом. Более того, неэффективность предложенной Н.С. Трубецким комбинации критериев была позднее продемонстрирована Э. Бенвенистом, показавшим, что всем этим признакам отвечает североамериканский язык такелма в южной части штата Орегон близ тихоокеанского побережья США, входящий в группу кус-такелма [Бенвенист, 1963, 46—48].

Процедуру генетического доказательства невозможно свести и к сопоставительному анализу материала сравниваемых языков по признаку его внешнего субстанционального сходства. Фонетически сходные англ. *bad* и новоперс. *bād* 'плохой', как становится ясным из их истории, не имеют ничего общего (и, напротив, фонетически несходные англ. *wheel* и новоперс. *šāx* 'колесо' оказываются генетически тождественными). Нередко встречающиеся совпадения подобного рода могут объясняться дескриптивным — т.е. звуко-символическим и звукоподражательным — характером определенной части языкового материала, результатом действия фактора языковой конвергенции (ср., например,

известные факты массовых заимствований) и, наконец, просто случайностью, находящей себе достаточно заметную почву в силу определенной ограниченности фонемного репертуара в языках мира (согласно имеющимся подсчетам, чем меньше степень родства между двумя сравниваемыми языками, тем больше вероятность случайного совпадения в звукотипе сопоставляющегося материала). Опора на так называемые сирены созвучия (Sirene des Gleichklangs) не в состоянии заменить применения некоторого строгого метода доказательства, поскольку неизбежная субъективность исследователей в определении самого факта субстанционального сходства материала всегда очевидна.

Конечно, на некотором начальном этапе знакомства с той или иной языковой группировкой компаративист бывает вынужден обращаться и к признаку субстанционального сходства материала. Однако при этом он должен учитывать, что любые предварительно намечаемые им объединения языков могут в дальнейшем не получить подтверждения. В подобной ситуации в качестве своего рода "сокращения пути" доказательства некоторые компаративисты избирают критерий сходства числительных первого десятка, поскольку за различием ингредиентов этой лексической группы во множестве случаев действительно стоит факт отсутствия родства или сложности его демонстрации на другом материале (ср. в этой связи судьбу предварительного объединения североамериканских языков, известного в науке как пенутия, само обозначение которых восходит к формам числительного 'два', *rep* в языке майду и *'utis* в языке костано, корректность которого была в ходе дальнейшего исследования поставлена под сомнение [Pitkin, Shipley, 1958; Shipley, 1980]). Однако более существенную роль этой критерий играет в условиях лучше изученных языков. «Одним из самых веских аргументов в пользу индоевропейской общности, — пишет в этой связи Э. Бенвенист, — является сходство числительных, которое сохраняется по сей день в течение более чем двадцати пяти веков. Но устойчивость числительных объясняется, вероятно, такими специфическими причинами, как развитие экономки и обмена, известное индоевропейским народам с очень давнего времени, а не "естественными" или универсальными мотивами, общими для всех языков. Бывает, что числительные заимствуются из другого языка. Иногда даже в целях удобства или по иным причинам целые группы числительных могут заменяться другими группами числительных» [Бенвенист, 1963, 40]. Иначе говоря, если учитывать, что класс имен числительных составляет категорию определенной исторической эпохи в развитии языка, то в силу характерной неравномерности развития человеческого общества не следует придавать особого значения фактору сходства или несходства числительных при решении генетических проблем в различных областях глоттогонии.

Нисколько не более эффективными оказались в плане доказательства языкового родства и неоднократно предлагавшиеся в истории компаративистики разновидности количественной методики, способной играть роль лишь некоторого вспомогательного инструмента сравнительно-генетического исследования, с необходимостью пред-

полагающего ступень качественного анализа [Spang-Hanssen, 1964, 63]. Нетрудно убедиться, что обычным эмпирическим основанием подобных опытов опять-таки оказывается материал, подобранный по признаку внешнего субстанционального сходства. При этом уместно отметить, что современная компаративистика полностью реабилитирует положение А. Мейе, согласно которому проблема генетического родства языков есть проблема не числа черт, приобретенных из одного источника в другой, а скорее истории языкового коллектива, наследующего поколениями говорящих некоторую единую традицию [Мейе, 1938, 50—54; Thomason, 1980, 28—29].

Поскольку масштабы дивергентных процессов внутри языковой семьи ничем не ограничены, вполне правомерно допущение существования языков, родство которых остается нераспознанным. Конечно, недоказанность или принципиальная недоказуемость соответствующей генетической гипотезы может быть обусловлена именно чрезвычайно скудным удельным весом унаследованного из праязыкового состояния материала. Однако, если оставить в стороне случаи ближайшего языкового родства, требующие от компаративиста минимальных усилий по его обоснованию, то в условиях качественно продвинутой сравнительно-грамматической концепции для удовлетворительного доказательства бывает достаточно и относительно узкая эмпирическая база. Так, например, современная арменистика оперирует приблизительно 460 лексемами, без всякого сомнения восходящими к исконному индоевропейскому словарю [Solta, 1960, 9; ср. Капанцян, 1975, 237—238]. В распоряжении албанистического исследования до недавнего времени имелось лишь около 400 слов, отождествляемых с единицами праиндоевропейского фонда [Kropasser, 1965, 180]. Уралисты указывают, что около 450 слов, общих для финно-угорских языков находят соответствие в самодийском [Décsy, 1965, 223]. Еще меньший показатель характеризует объем исконного лексического материала в одном из картвельских языков — сванском, где совокупность достоверно определенного общекартвельского наследия и в настоящее время существенно не достигает и 400 единиц.

Поэтому такие разновидности количественной методики, как глоттохронология М. Суодеша (в том ее плане, в котором она претендовала на подобное доказательство) [Swadesh, 1953; 1954], прием группового сравнения (*mass comparison*), предложенный Дж. Гринбергом [см. Greenberg, 1953; также 1957, 35—45] и т.д., в принципе способны определить лишь относительную степень вероятности языкового родства. Т. Байнон справедливо констатирует в своей известной работе, что последний прием "был со скепсисом встречен со стороны представителей традиционной исторической лингвистики, которые не замедлили с указанием на неадекватность его выводов, являющихся результатом опоры на простое сходство..." Нет сомнений, — продолжает она, — что этот прием вводит элемент произвола, поскольку разные исследователи могут приходиться к неодинаковым выводам по отношению к одним и тем же данным [Вупон, 1977, 271]. Далее она с меньшими основаниями подчеркивает, что при таком подходе — особенно в случаях более отдаленного языкового родства — подлинно

родственные элементы могут остаться незамеченными [Вупон, 1977, 272]. Даже если признать адекватность эмпирического наблюдения, согласно которому наличие 20% сходств в материале сравниваемых языков определенно свидетельствуют об их некоторых исторических связях, необходимость выбора между гипотезами генетического единства и ареального сближения потребует обращения компаративиста к некоторой качественной процедуре исследования. Таким образом, получает свое оправдание вывод Б. Коллиндера, предпринявшего известный опыт верификации урало-алтайской гипотезы посредством статистических выкладок, о невозможности выбора на основе вычислений между отношениями родства, с одной стороны, и отношениями ареального или даже типологического характера, с другой [Collinder, 1948, 24; ср. Herdan, 1964; Cowan, 1962]. "Ясно, — подытоживает Э. Бенвенист, — что исследование, оперирующее соответствиями лишь как количественными величинами, ... заранее обречено на неудачу. Ни число сопоставлений, ни число языков, признанных родственными, не может явиться предметом математического исчисления. На самом деле мы должны рассматривать степень родства между членами больших семей родственных языков как переменную величину, способную принимать различное значение" [Бенвенист, 1963, 44—45] (если к тому же учесть весьма скромную роль различных количественных приемов в остальной проблематике современной компаративистики, то неоднократно высказывавшийся тезис о маргинальном интересе, который представляют статистические оценки для теоретического языкознания в целом, находит здесь свое подкрепление).

Роль фактора, единственно релевантного для процедуры обоснования языкового родства, может играть лишь фактор системности или, как нередко говорят, регулярности (о двусмысленности последнего термина см. ниже на с. 27) соотношений в субстанции родственных языков, с логической необходимостью вытекающий из системного характера языка и системных тенденций его развития и, в частности, из определенной системности фонологических изменений. В соответствии с этим система каждого из ингредиентов языковой семьи может быть представлена как трансформация, произведенная от некоторой "ядерной" праязыковой системы, а доказательство генетического тождества сравниваемых языков приобретает силу лишь в том случае, если может быть построена система правил — алгоритм перевода одной системы в другую [Иванов, 1958, 66; 1959, 6—7]. В качестве такого конкретного критерия выступает системная совокупность фонологических корреспонденций или "звукосоответствий" в материале корневых и аффиксальных морфем, а также целых лексем сравниваемых языков.

Еще А. Мейе неоднократно подчеркивал, что основной предпосылкой действительности всего методического аппарата сравнительно-генетического языкознания является произвольный характер языкового знака по отношению к его означаемому, имеющего определенное значение только в силу традиции (последнее обстоятельство остается в принципе верным при некоторых сформулированных позднее оговорках, относящихся преимущественно к звукоподражательному ма-



териалу). Хотя, как подчеркивает Т.В. Гамкрелидзе, произвольность языкового знака следует трактовать несколько иначе, чем это представлено у Ф. де Соссюра, и в свете "принципа дополнительности" можно утверждать о мотивированности связи между "означаемым" и "означающим" на уровне "горизонтальных отношений", однако "вертикальные отношения" между "означаемым" и "означающим" можно считать произвольными в смысле концепции Ф. де Соссюра, и на этом принципе строится по существу вся система сравнительного языкознания [Гамкрелидзе, 1972; Gamkrelidze, 1974]. "Условие немотивированности, неорганичности связи между звучанием и значением, — замечает А.И. Смирницкий, — может иметь место лишь при наличии как звучания, так и значения, почему сравнительно-исторический метод вообще и применим непосредственно лишь к значащим единицам языка" [Смирницкий, 1954, 12].

В генетически сопоставимом материале родственных языков имеют место не только фонологические, но и морфологические и лексические соответствия [ср. Бенвенист, 1963, 39; Katičić, 1966; 205—208]. Однако поскольку постулатация обоих последних возможна лишь на основе выявляемых фонологических корреспонденций [ср. Мейе, 1938, 35; Тронский, 1952, 21—22; Десницкая, 1955, 62], решающей ступенью в процедуре доказательства факта языкового родства оказывается констатация фонологических соответствий (так, например, для подтверждения отношений генетического тождества между грузинской лексемой *švid-i*, мегрельской *škvit-i* и сванской *išgwid* 'семь', или формативом родительного падежа *-is* в грузинском языке, *-iš* — в мегрельском и *-(i)š* — в сванском, предварительно необходимо установить системный характер соотношения фонетической субстанции, репрезентирующей сопоставляемые лексемы и морфемы, т.е. закономерность соотношения груз. *s* и *š* ~ мегр. и сван. *š* и *šk*. Естественно, все предлагаемые до выполнения этой ступени исследования лексические и морфологические сопоставления носят всецело интуитивный, импрессионистский характер и поэтому столь часто варьируют от одного автора к другому в соответствии с их субъективными приверженностями.

В последней связи в истории сравнительного языкознания очень показательной была различная судьба трех известных работ Фр. Боппа, построенных по единому принципу проведения морфологических параллелизмов между сравнивавшимися им языками — "Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprachen" (Frankfurt, 1816), "Über die Verwandtschaft der malayisch-polynesischen Sprachen mit der indisch-europäischen" (Berlin, 1840) и "Die kaukasischen Glieder des indoeuropäischen Sprachstammes" (Berlin, 1842—1845). Как известно, лишь первая из них, фактический материал которой был почти параллельно проконтролирован по фонологическим корреспонденциям А. Поттом, оказала плодотворное воздействие на развитие лингвистической компаративистики [ср. Десницкая, 1955, 36—37].

Тем более странно звучит высказывавшееся еще некоторыми современными кавказоведами мнение, согласно которому звуковые соответствия устанавливаются лишь как завершение сравнительно-истори-

ческого изучения родственных языков, что позволяло декларировать генетическое единство кавказских языков до проведения сравнительно-фонетического исследования. Полемицируя с этим взглядом, Е. А. Бокарев отмечал, что "сравнительно-историческое изучение семитских языков началось как раз с установления таких соответствий; начало сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков также связано с установлением Раском и Гриммом перебора в германских языках. Но если даже признать, что индоевропейское языкознание не сразу пришло к положению о регулярности звуковых соответствий, то это не значит, что при сравнительно-историческом изучении других языковых групп можно игнорировать опыт индоевропейского языкознания и механически копировать методику начальных периодов развития сравнительно-исторического метода. При сравнительно-историческом изучении кавказских языков надо учитывать все достижения сравнительно-исторического языкознания и в том числе вывод о том, что наличие закономерных звуковых соответствий является непременным условием генетического сближения языков" [К итогам..., 71—72; ср. также Феирих, 1978, 20—23].

Из критерия фонологических корреспонденций вытекает и известное операционное определение отношений языкового родства, сформулированное Л. Ельмслевым, согласно которому оно "является функцией (естественно, в ельмслевианском понимании последнего термина — Г.К.), связывающей языки: оно заключается в факте, что каждый элемент выражения одного языка связан функцией с элементом выражения другого" [Hjelmslev, 1966, 52—53]. Необходимо подчеркнуть вместе с тем, что поскольку названный критерий неизменно контролируется в своем применении соображениями семантического порядка — фонологические корреспонденции устанавливаются исключительно при условии большей или меньшей семантической близости сопоставляемых элементов — компаративист по существу одновременно оперирует как фонетической, так и семантической субстанцией языков.

Объективной предпосылкой постулату фонологических корреспонденций между родственными языками служит наличие в них совокупности генетически тождественных элементов (корневых и грамматических морфем, целых лексем), восходящих к общему историческому знаменателю прошлого и подобных, например, др.-инд. *bhṛātā*, др.-слав. БРАТЬ, греч. *φρᾱτήρ*, тохар. *pṛaca* 'брат' или груз. *asul-* 'дочь', мегр. *osur-* 'женщина (молодая), жена' сван. *asuš-* 'дочь'; груз. *švid-*, мегр. *škvit-*, сван. *išgwid-* 'семья'; груз. *cen-*, мегр. *čan-*, сван. *šen-* 'расти'; груз. *čem-*, мегр. *čkim-*, сван. *mi-šgwi* 'мой'.

Таким симметрично соотносящимся по составу фонемных дифференциальных признаков рядом фонологических корреспонденций, как:

др.-инд. *bh* ~ балт.-слав. *b* ~ греч. *ph* ~ тохар. *p*;

др.-инд. *dh* ~ балт.-слав. *d* ~ греч. *th* ~ тохар. *t*;

др.-инд. *gh* ~ балт.-слав. *g* ~ греч. *kh* ~ тохар. *k*

в индоевропейских языках, или

груз. *s* ~ мегр. *š* ~ сван. *š*;

груз. *c* ~ мегр. *č* ~ сван. *č*;

груз. *š* ~ мегр. *šk* ~ сван. *šg*;

груз. *č* ~ мегр. *čk* ~ сван. *šg*

в картвельских, едва ли могут быть обязаны конвергентному схождению первоначально неродственных языков или игре случая, а, напротив, должны отражать системные трансформации некоторой общей в каждом случае языковой традиции прошлого. Все они в идентичной позиции в слове обнаруживают закономерно преобразованные рефлексы различных для обеих групп примеров фонем праязыкового состояния. При этом, в связи с тем, что в некоторых окружениях эти рефлексы могут терять видимость системного преобразования, необходимо учитывать, как это стало ясным еще более 100 лет назад [ср. Verner, 1877], позиционную соотношенность наличных рефлексов. Так, например, грузинской аффрикате *s* в положении не перед согласным в сванском отвечает уже не *š*, как это имеет место в ряде других случаев, а спирант *ṣ̌* (ср. груз. гес- 'стать' при сван. гаš-, груз. šep- 'расти' при сван. šep-), а обычное соотношение груз. *š* ~ сван. šg нарушается в случае, если за последним комплексом непосредственно следует *w*: ср. груз. vašl- 'яблоко' при сван. wišgw- [Гамкрелидзе, 1959, 28—35].

Нередко, особенно в эмпирических исследованиях по компаративистике, системные фонологические корреспонденции называются регулярными. Однако, если учесть, что существует и заметная тенденция квалификации в качестве регулярных лишь тех корреспонденций, которые охватывают сколько-нибудь значительный объем материала родственных языков (такое понимание регулярности встречается, в частности, у Ф. де Соссюра [ср. де Соссюр, 1977, 125—126]), то представляется целесообразным разграничение понятий системности и регулярности звукосоответствий с противопоставлением последней их возможной спорадичности [ср. Шагров, 1982, 28]. В частности, в условиях сравнения отдаленно родственных языков системность фонологических корреспонденций может проявляться спорадически, т.е. охватывать весьма ограниченное число примеров, и напротив, в случаях массовых заимствований из одного языка в другой возможно становление регулярных звукосоответствий, не обязательно обнаруживающих в своей совокупности системность.

Необходимо иметь в виду, что однозначные фонологические корреспонденции чаще всего, хотя далеко не всегда (основные ограничения накладываются при этом различиями позиционных условий), фиксируются между материалом гипотетического праязыкового состояния и каждого из дочерних языков: ср., например, соотношение мегр. *ç* ~ пракартв. \**ç* и мегр. *č* ~ пракартв. \**ç*<sub>1</sub>. Напротив, при синхронной констатации межъязыковых звукосоответствий, как правило, наблюдается более сложная картина соотношений: так, грузинскому *ç* в сванском отвечают в разных окружениях *ç*, *s*, *š*, *ṣ̌* и *∅* (ноль звука). (см. рис. 1).

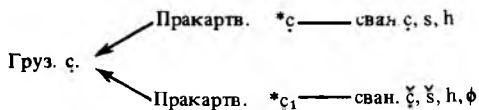


Рис. 1

Такая сложная картина, по-видимому, особенно характерна для корреспонденций в области вокализма ввиду значительно большей

подверженности гласных различным позиционным изменениям, чем и объясняются встречающиеся трудности установления звукосоответствий в вокализме даже относительно близкородственных языков.

Иногда различают так называемые дифференцированные звукоответствия (типа  $bh \sim b$ ), с одной стороны, и звукоответствия идентичности (типа  $b \sim b$ ), с другой. Последние, которые, строго говоря, невозможно квалифицировать как идентичные, так как соответствующие фонемы занимают обычно разные места в рамках своих фонологических систем (отвлекаясь уже от того, что нередко за ними стоят и фонетически не вполне совпадающие звукотипы) [ср. Церетели, 1965, 033—034], сравнительно менее показательны для генетического доказательства, поскольку они очень часто характеризуют не унаследованный, а заимствованный материал. Более показательны в этом отношении случаи дифференцированных звукоответствий: ср., в частности, известный в индоевропестике постулат о закономерности корреспонденции греч.  $dw \sim$  арм.  $er\kappa$ , наблюдающейся в целом ряде основ и строго объясняющейся особенностями истории фонологической системы армянского языка [Meillet, 1908, 353—354]. Однако в принципе степень фонетической близости межъязыковых коррелятов в обосновании языкового родства нерелевантна. Этому, конечно, не противоречит тот факт, что на раннем этапе сравнительно-генетического исследования в поле зрения компаративиста обычно попадают случаи более простого соотношения фонетической субстанции. Так, в истории абхазско-адыгского языкознания фонологические корреспонденции абхаз.  $z \sim$  адыг.  $z$ , абхаз.  $m \sim$  адыг.  $m$  и абхаз.  $t \sim$  адыг.  $t$  не случайно были замечены раньше корреспонденций абхаз.  $\check{z} \sim$  адыг.  $l$ , абхаз.  $\check{s} \sim$  адыг.  $l'$ , а последние, в свою очередь, ранее соответствия абхаз.  $l \sim$  адыг.  $h$  [Чарая, 1912, 29—40; Troubetzkoy, 1922, 188—189; Deeters, 1931, 290].

Нет оснований отрицать подчеркнутое еще Н.С. Трубецким обстоятельство, что фонологические корреспонденции могут возникать на основе единообразной субституции фонем и в заимствованном материале как родственных, так и неродственных языков [Трубецкой, 1958, 66; Hall, 1945; Boretzky, 1985]. Ср., например, соответствие абхаз.  $k \sim$  адыг.  $h$  (абхаз.  $a-k'abza$  'обычай, ритуал'  $\sim$  адыг.  $h\check{a}bza$ , абхаз.  $a-sak'$  'засов'  $\sim$  адыг.  $sah$ , абхаз.  $a-k'ak'wa$  'жеребец'  $\sim$  адыг.  $h\check{a}k'wa$ , абхаз.  $a-k'eja$  'праведный'  $\sim$  адыг.  $jeja$  'невиновный' и т.п.), наблюдаемое в лексике усвоенной абхазским языком из адыгских в период гегемонии феодальной Кабарды на северо-западном Кавказе в XVI—XVIII вв. Однако даже если некоторая совокупность подобных корреспонденций налицо, она за исключением сравнительно редких случаев не образует сколько-нибудь единой системы, не говоря уже о том, что охватываемый ими материал относится к периферийным с точки зрения решения генетических задач лексическим группам и не распространяется на субстанцию грамматических морфем.

Естественно, что здесь исследование сталкивается с проблемой отбора релевантного для сравнения материала. Если отвлечься от того обстоятельства, что, как правило, — в условиях флективных языков — таковым оказывается материал грамматических морфем,

т.е. элементов глагольного и именного словоизменения (ср., в частности, опыт пионеров и индоевропеистики), то важнейшую роль приобретает в этом отношении параллельный этимологический анализ словаря рассматриваемых языков, позволяющий выявить словообразовательные, ареальные и некоторые другие характеристики их исконного лексического фонда [ср. Kiparsky, 1966, 71—78]. И, напротив, малопригодными в этом плане являются такие лексические группы, как дескриптивная лексика и так называемый культурный словарь.

Непоказательность с этой точки зрения различных категорий дескриптивной (т.е. звукосимволической и звукоподражательной) лексики в силу высокой популярности в ней универсального или широко распространенного фонетического инвентаря, так и ее нередкого неподчинения историческим закономерностям развития фонологических систем, давно признана в компаративистике.

Так, например, к настоящему времени в науке накоплено немалое число индоевропейско-картвельских лексических параллелизмов дескриптивной породы, нередко восходящих к достаточно глубокой древности (в большинстве случаев соответствующий индоевропейский и картвельский материал проецируется в праязыковое состояние). Среди них можно назвать: и.-е. \*dhēdhē — обозначение старших членов семьи ~ картв. \*deda- 'мать'; и.-е. \*dud 'кончик' ~ картв. \*dud- то же; и.-е. \*ger- 'кричать' ~ картв. \*γer- 'кричать, петь'; и.-е. \*kues/kus 'вдыхать, пыхтеть' ~ картв. \*kwes-/kw̄s- 'стонать'; и.-е. \*lak 'лакать' ~ картв. \*loḳ- 'то же'; и.-е. \*lal(l)a 'лять' ~ груз.-зан. \*lal- 'то же'; и.-е. \*ombh/embh 'пуп' ~ груз.-зан. \*u(m)p- 'то же'; и.-е. \*orop/erop 'удод' ~ картв. \*орор- 'то же'; и.-е. \*pap(p)a — обозначение отца ~ груз.-зан. \*пара- 'дед'; и.-е. \*rū, ru 'надувать, -ся' ~ картв. \*pu- 'то же'; и.-е. \*sker 'расщеплять' ~ картв. \*сker- 'то же'; и.-е. \*(s)kert 'ударять, колотить' ~ картв. \*(s)kert-/\*(s)kr̄t- 'клевать'; и.-е. \*sleigh 'облизываться' ~ груз.-зан. \*slek-/sl̄k- 'то же' (объем подобных сопоставлений было бы нетрудно увеличить, особенно — если учесть аналогичный материал, засвидетельствованный только в отдельных группах индоевропейских языков). Однако опора на такой материал способна дезориентировать генетическое исследование, поскольку основы весьма сходного звукового облика при определенной близости их семантики нередко повторяются и в целом ряде других языковых семей мира. Целесообразно заметить при этом, что если звукосимволические основы характерны для таких обычно восходящих к *Ammensprache* лексических групп, как отдельные термины родства, названия еды и некоторых частей тела, то звукоподражательные основы выступают преимущественно в обозначениях специфических действий, птиц, насекомых и т.п.

С другой стороны, культурный словарь, хотя и может существенно варьировать в своем составе по языкам в зависимости от конкретно-исторических условий жизни общества, он, как правило, легко заимствуется из одной языковой среды в другую. Следует к тому же учитывать, что эта категория лексики изменчива и исторически — чем дальше углубляется исследование в историю, тем более "примитивные" лексемы оказываются ее принадлежностью. Так, если

существующие в абхазско-адыгских и нахско-дагестанских языках названия собаки могут приводиться для обоснования внутреннего генетического единства каждой из этих языковых семей, то материальной и семантической близости абх.-адыг. \*xwa- (реконструкция Г. Деетерса [Deeters, 1931, 290]) и нах.-даг. \*xwaŋ- 'собака' уже нельзя придавать столь существенного значения, так как для эпохи, с которой может соотноситься предполагающееся некоторыми кавказоведами общекавказское языковое состояние, это слово могло быть культурным термином. Тем более вероятен для древних эпох культурный характер такого разряда лексем, как числительные. Например, в картвельских языках древнейшими заимствованиями представляется не только обозначение ста, но и целый ряд числительных первого десятка. Уже для пракартвельского состояния реконструируются такие числительные, как \*otxo- 'четыре', \*eks<sub>1</sub>w- 'шесть', \*š(i)wid- 'семь', \*agwa- 'восемь' и \*as<sub>1</sub>ir- 'сто', по всей вероятности, усвоенные некогда из сопредельных языков древних переднеазиатских цивилизаций. Два первых из них должны восходить к какому-то очень архаическому индоевропейскому источнику (ср. н.-е. \*oktō(u) 'восемь', где при аффиксе дуалиса -ou выделима простая основа \*okto- 'четыре', а также н.-е. \*šeks- 'шесть' без позднейшего, как предполагает ряд индоевропейцев, начального s), а три последних — к азианическому (в конечном счете в них усматривают семитизмы: ср. аккад. šibit 'семь', arba 'четыре', eser- 'сто') [Климов, 1967; 1977; 1983].

Тем более невозможно опираться на подобную лексику в случаях, когда она обнаруживает к тому же нетипичную для рассматриваемых языков фонологическую структуру оснoв. Например, характерные особенности их звуко-типа, выявленные в абхазско-адыгских языках, заставляют считать, что такие многоконсонантные простые основы, как абх. а-гхэпна, адыгейск. ġaxwəč, каб. ġaxš 'надочажная цепь', абх. terəz 'мушка, прицел', убых. tarəz 'подходящий, удобный', адыгейск. tǝgǝz 'правильный', убых. ketep, адыгейск. čǝtǝpə, каб. čǝtǝp 'холст, полотно', убых. čamag', адыгейск. š'ǝmǝž, каб. šǝmǝž 'коса (орудие)', не могут относиться к их исконному словарю (действительно, не составляет труда показать заимствованный характер этих слов). К выводам аналогичного порядка приводит и фонологическая структура грузинских производных лексем, содержащих, например, два корневых о: ср. груз. loko- 'сом', loŋo- 'слизь', soŋo- 'гриб', sogo- 'нора', oŋkol- 'род кувшина', obol- 'сирота', okro- 'золото', polo- 'копыто (крупное)' и т.п. (в большинстве приведенных случаев здесь можно распознать исторические индоевропейские основы на о; их часть составляют арменизмы).

Напротив, категории словаря, отражающие более или менее универсальные для человеческого общества понятия и составляющие так называемый "основной" лексический фонд — патронимика, обозначения явлений природы, названия элементов дикой флоры и фауны, личные местоимения, обозначения элементарных действий и т.п., — а также субстанция грамматических морфем (прежде всего, — словозменительных аффиксов), представляют собой наиболее надежный

для сравнительно-генетического исследования материал. Поэтому, например, с точки зрения обоснования внутреннего родства абхазско-адыгских языков такие параллелизмы, как абх. *a-mʃ* ~ убых. *məʃwa* ~ адыгейск. *mafaʃ* 'день', абх. *a-mza* ~ убых. *m(ə)za* ~ адыгейск. *maza* 'луна', абх. *a-ga* ~ убых. *ng'a* 'берег (с галькой)' ~ адыгейск. *pəʒa* 'пойма (реки)', абх. *a-bz* ~ убых. *bza* ~ адыгейск. *bzə* 'язык', абх. *a-psa* ~ убых. *psə-s* ~ адыгейск. *psəjə* 'пихта', абх. *a-bga* ~ убых. *bag'a* ~ адыгейск. *baʒə* 'волк, лиса', абх. *ta-* ~ убых. *tə-* ~ адыгейск. *tə-* 'давать', абх. *s-* ~ убых. *s-* ~ адыгейск. *s-* (глагольный префикс 1-го лица ед. числа), значительно более релевантны, чем абх. *a-paʃ<sub>ɣ</sub>a* ~ убых. *paʃa* 'огурец' ~ адыгейск. *paʃ<sub>ɣ</sub>* 'дыня', абх. *a-č<sub>ɣ</sub>ada* ~ убых. *čədə* ~ адыгейск. *čədə* 'осел', абх. *a-ķəq<sub>ɣ</sub>wə* ~ убых. *ķəq<sub>ɣ</sub>w* ~ адыгейск. *k<sub>ɣ</sub>ək<sub>ɣ</sub>wə* 'кукушка', абх. *a-q<sub>ɣ</sub>art* ~ убых. *q<sub>ɣ</sub>art* // *q<sub>ɣ</sub>wərt* ~ адыгейск. *q<sub>ɣ</sub>wərt* 'наседка', абх. *γəz-* ~ убых. *γəz-* ~ адыгейск. *γəgz-* 'стонать'.

Вместе с тем, было бы неоправданной крайностью, особенно — в условиях сравнения языков, не располагающих сколько-нибудь развитой морфологией, резко обедняющих перспективы генетического доказательства, не учитывать большой стабильности ингредиентов основного лексического фонда языка и ограничивать поиск фонологических корреспонденций, как это неоднократно случалось в практике компаративистики прошлого, исключительно материалом грамматических морфем. В истории кавказского языкознания подобная попытка принадлежит раннему Ж. Дюмезилю, писавшему в 1933 г., что "в то время, как фонетические соотношения, которые можно постулировать сравнением словаря в собственном смысле слова, очень нестабильны, фонетические соответствия, устанавливаемые между форматами..., часто представляются замечательно четкими и стабильными" [Dumézil, 1933, 22—24; 1937]. Нельзя не заметить, что последнее высказывание странным образом совпадало с впечатлением первых компаративистов об обманчивости материального сходства в лексике и, напротив, о неслучайности соотношений, наблюдаемых в словоизменительных парадигмах.

В этой связи Дж. Гринберг справедливо подчеркивает следующее: "часто повторяющееся высказывание о преимуществе грамматического свидетельства родства над лексическим обязано своим распространением относительной непроницаемости деривационных и словоизменительных морфем для заимствования. С другой стороны, эти элементы короче и, следовательно, чаще подвержены конвергенции и к тому же обычно немногочисленны, так что сами по себе иногда недостаточны, чтобы привести к решению. Лексические единицы действительно более подвержены заимствованию, однако их большая фонемная протяженность и численность сообщают им определенные компенсирующие преимущества" [Greenberg, 1953, 274]. Что же касается наблюдаемых во многих языках мира материальных сходств в инвентаре морфологических элементов (ср., например, повторяющиеся в индоевропейских и уральских языках падежные форманты \**-m*, \**-t*, \**-n* и деривационные аффиксы \**-j-*, \**-k-*, \**-l-*, \**-m-*, \**-n-*, \**-nt-*, \**-g* и т.д.), то они обычно объясняются компаративистами большой ограничен-

ностью общего для языков мира консонантного инвентаря, резко повышающей возможность в этой сфере случайных совпадений [ср., например, Décsy, 1965, 230].

Необходимо учитывать, что системность фонологических корреспонденций между родственными языками и возможность в известной степени предвидеть ход фонологического развития не ограничиваются каким-либо определенным языковым типом или какими-либо определенными семьями языков. Как уже говорилось выше, они являются выражением системных тенденций языкового развития и, в частности, системности в фонологическом изменении. Таким образом, закономерности в соотношении фонетической и семантической субстанции родственных языков должны быть отнесены к диахроническим универсалиям самого общего характера, которые можно отобразить формулой  $(\bar{X})\bar{X} \in L$ , т.е. "для всех  $\bar{X}$ , если  $\bar{X}$  есть язык, то тогда для него характерно закономерное отношение к родственному языку". Не существует поэтому каких-либо оснований полагать, что так называемые экзотические языки требуют иных принципов генетического сравнения, чем, например, индоевропейские или уральские (к такой точке зрения в свое время как будто склонялся известный пионер американистики Фр. Боас). Уже в 1931 г. Э. Сэпир пришел к выводу, что процесс системных фонологических изменений иллюстрируется в языках американских индейцев и негритянских племен с той же легкостью и частотой, как и в латинском, греческом или английском, и если соответствующие закономерности бывает трудно обнаружить в "примитивных" языках, то это обстоятельство обязано не какому-то особому характеру этих языков, а просто неадекватной технике некоторых исследователей [Sapir, 1949, 74; Бенвенист, 1963, 39; Hjelmslev, 1966, 43—44]. Более того, как считает крупная американистка М. Хаас, "если мы сможем убедиться в необходимости применять строгую методику, уже использованную по отношению к индоевропейским языкам, к максимально большому числу других семей, мы сможем надеяться в нашем познании генетических взаимоотношений языков мира на достижение многообещающих успехов. Однако, если мы окажемся не в состоянии убедить себя в этой необходимости, наши руководства будут оставаться наполненными в высшей степени спекулятивной и слишком часто совершенно сомнительной или вводящей в заблуждение информацией" [Haas, 1966, 114—115].

В свое время некоторые даже крупные компаративисты полагали, что сравнительно-генетическое исследование по существу невозможно без наличия ранних письменных памятников рассматриваемых родственных языков. Однако на практике значительно более сложным в силу ряда причин, и прежде всего — ввиду ограниченности языкового материала, оказалось сравнение языков, засвидетельствованных только древними памятниками (ср., например, известные трудности построения сравнительной грамматики хурритско-урартских языков). Вместе с тем, уже в начале XX столетия довольно широкие реконструкции, предпринятые почти параллельно в области алгонкинских языков Северной Америки (Л. Блумфилд), индонезийских



(О. Демпвольф), банту (К. Мейнхоф), картвельских (Н.Я. Марр) и некоторых других, показали, что действительность охарактеризованных выше принципов сравнения не зависит от того обстоятельства, являются ли их объекты письменными или бесписьменными [подробнее об этом см. Hockett, 1948], хотя и несомненно, что наличие литературной традиции создает некоторую дополнительную опору для построения истории языков. В настоящее время универсальные по своей природе приемы сравнительно-генетического исследования с успехом применяются к материалу самых различных семей мира.

Методически наиболее выдержанный и в то же время экономный путь сравнительно-генетического исследования заключается в последовательном ретроспективном продвижении от позднейших языковых состояний к более ранним (начальный этап обычно протекает на основе сравнительной реконструкции диалектов одного языка) и от сравнения близкородственных языков к сравнению более отдаленных. Такая очередность позволяет сопоставлять материал на уровне максимально близких языковых состояний и предохраняет от возможного искажения хронологической перспективы исследования. Нетрудно заметить, что она предполагает вместе с тем предварительное решение проблемы группировки членов языковой семьи.

Так, в рамках картвельских языков оптимальный путь сравнения ведет от сопоставления ближайше родственных и образующих единую (так называемую занскую) ветвь мегрельского и лазского (чаиского) языков с грузинским далее к сопоставлению грузинско-занского состояния со сванским. Это не означает, конечно, что при решении актуальных для данной конкретной отрасли генетического языкознания задач исследователь не может иметь представления о решении вопросов некоторых последующих этапов анализа. Следует, однако, учитывать значительную относительность подобных представлений. С другой стороны, по мере продвижения работы вперед компаративисту нередко приходится возвращаться к ее уже пройденным этапам с тем, чтобы внести в них коррективы, основанные на результатах более поздних ступеней исследования.

При этом необходимо учитывать и то, что генетические построения будут свободны от предвзятости лишь при условии, если объектом сравнения послужат данные рассматриваемых языков или языковых групп, полученные помимо каких-либо перекрестных по отношению друг к другу свидетельств. В противном случае исследование приобретало бы заранее ориентированный характер и предвосхищало бы то, что еще предстоит обосновать. В частности, на вопрос о возможности использования материала абхазско-адыгских или нахско-дагестанских языков в ходе реконструкции картвельских архетипов необходимо ответить отрицательно, поскольку генетическое единство всех этих языков остается необоснованным.

Нередко от внимания компаративистов ускользает то обстоятельство, что далеко не равноценные перспективы сравнительно-генетического исследования оказываются без достаточных оснований обобщенными едва ли не на все ситуации языкового сравнения. Между тем, встречаются как совершенно неблагоприятные, так и, напро-

тив, самые благоприятные условия сравнения. "... Это приводит к совершенно различной научной ценности результатов сравнения, в зависимости от того, сравниваются ли языки одной и той же ветви или языки различных ветвей. В первом случае "сфера сравнения" может быть весьма близкой к объективной реальности, к языковому состоянию некоторого определенного периода; по отношению к индоевропейским языкам в целом она имеет более условный характер, объединяя иногда весьма разновременные явления, явления разной исторической глубины, и может претендовать на научную значимость только в общих очертаниях, а не в деталях, больше указывать на направление развития, чем на конкретную языковую действительность какой-либо исторической эпохи" [Троицкий, 1953, 50]. Достаточно упомянуть, например, случаи очевидной генетической близости языков, не требующие выполнения специального доказательства их родства (и ставящие перед исследователем проблему "язык или диалект?"), с одной стороны, и предполагающие при отдаленном родстве самое его строгое обоснование, с другой.

Достаточно давно стало очевидным, что сама специфика исследуемого языкового материала накладывает определенные ограничения на перспективы генетического исследования в целом и, в частности, на перспективы обоснования родства. При прочих равных условиях возможности соответствующего доказательства варьируют прежде всего в зависимости от формальной типологии сопоставляемых языков. Так, если обоснование генетического единства языков флективного типа требует наименьших усилий, то несколько сложнее решить эту задачу по отношению к агглютинативным языкам и особенно затруднительно — по отношению к представителям так называемого изолирующего строя. А. Мейе отмечал в этой связи, что "построение сравнительной грамматики индоевропейских языков оказалось возможным именно потому, что все эти языки изобилуют аномалиями (как известно, позднее на этом основании Дж. Бонфанте констатировал даже особый "метод аномальных форм" [Bonfante, 1945, 133—134] — Г.К.). Наоборот, языки с регулярной морфологией, как например, тюркские, плохо поддаются сравнению, и поэтому нелегко установить, с какими языками находятся в родстве тюркские языки" [Мейе, 1938, 66].

Ярким подтверждением последних слов служит современное состояние уже давно сформулированной алтайской гипотезы, предполагающей в своем наиболее ограниченном варианте отношение родства между тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками, альтернативой к которой служит идея их тесной ареальной связи. При этом подчеркивается, что своеобразные черты морфологического типа тюркских и монгольских языков не создавали препятствий для заимствования частей слова — корней и аффиксальных морфем, а в памятниках языка западных монголов, ассимиляция которого языками среднеазиатских тюрок приняла крайние формы, почти любая глагольная основа, без изменений или с минимальными изменениями, присоединяет к себе параллельно тюркские и монгольские аффиксы [Щербак, 1986, 55—56].

Естественно, что наиболее значительные трудности на пути генетического доказательства возникают в условиях сравнения языков так называемого изолирующего строя. Одну из характерных иллюстраций подобного положения вещей могут предоставить различные языковые группировки Юго-Восточной Азии, отношения родства между которыми до последнего времени остаются предметом серьезной дискуссии. Максимум достижений компаративистики С.Е. Яхонтов рисует здесь следующим образом: "... если брать в расчет только те теории, которые основаны на достаточном фактическом материале и применении правильной методики можно (разрядка наша — Г.К.) считать доказанным, что китайский язык включается в сино-тибетскую семью непосредственно (а не как часть китайско-тайской ветви); вьетнамский входит в одну из групп аустроазиатских языков; группа мунда также составляет часть аустроазиатской семьи. Каренские языки, видимо, являются сино-тибетскими, хотя это и не доказано должным образом. Тайские языки (вместе с дун-шуйскими и языком ли, а возможно, и с другими "кадайскими"), равно как и мяо-яо, лучше всего пока рассматривать как самостоятельные языки, хотя не исключено, что в дальнейшем первая из них будет объединена с аустронезийской, а вторая — с аустроазиатской" [Яхонтов, 1983, 32].

В специальной литературе неоднократно подчеркивалось, что в подобной ситуации сравнительно-историческое исследование вынуждено целиком или почти целиком опираться на показания словаря, подверженного в своем функционировании воздействию "капризных" факторов аналогии, контаминации и других затемняющих историческую картину явлений. Проблему особой сложности здесь представляет собой задача обособления заимствованной лексики от исконной, решение которой предполагает, в частности, выработку четких и согласующихся с историей носителей конкретных языков критериев. Еще одну трудность работы компаративиста с материалом языков изолирующего строя составляет слабая изученность в них фонда дескриптивных лексем. Если к тому же принять во внимание, что число фонетически различающихся морфов в этих языках обычно относительно невелико, то из сказанного выше следуют два вывода: необходимость учета высокой вероятности случайных совпадений в генетически несопоставимом материале и в связи с этим — тщательного учета всевозможных фонетических (прежде всего — тоновых) характеристик "корневых морфем". Повышенная степень возможности случайных материальных совпадений предъявляет, с другой стороны, и дополнительные требования к семантической корректности предпринимаемых компаративистом материальных сопоставлений [ср. Gonda, 1949; также Пейрос, 1982, 170]. Специфические проблемы возникают и в ситуации сравнения изолирующих языков с представителями иных формальных типов.

Необходимо учитывать, что и в, казалось бы, оптимальных условиях сравнения флективных языков родство может быть настолько отдаленным, что в результате естественного и ничем не ограниченного процесса дивергенции сохранившийся в них исконный материал

может оказаться слишком фрагментарным для того, чтобы в нем удалось зафиксировать определенную системность в рефлексах исходных единиц. Следует помнить вместе с тем, что наиболее четкие и однозначные фонологические корреспонденции существуют между материалом праязыкового состояния и каждого отдельно взятого результирующего языка, и что подобная однозначность часто отсутствует в звукосоответствиях между синхронно засвидетельствованными родственными языками. Проблемы особой сложности возникают на пути обоснования генетического единства языков, характеризующихся не только высоким процентом утраты искомого материала, но и большой совокупностью свершившихся в последнем исторических процессов.

В современной компаративистике широко распространено мнение, согласно которому в подобной ситуации наиболее перспективным путем генетического доказательства является не непосредственное сопоставление материала рассматриваемых языков, а сопоставление его на уровне предварительно реконструированных промежуточных праязыков, строящихся посредством сравнения относительно менее далеких друг от друга языков и которые должны стоять ближе друг к другу в плане хронологии (о понятии промежуточного праязыка см. в главе III). Такое впечатление внушается уже тем не требующим специального обоснования обстоятельством, что, например, постуляция генетической связи между латинским языком и древнеиндийским несравнимо проще, чем то же самое по отношению к взаимно столь разошедшимся языкам как итальянский, с одной стороны, и хинди, с другой. В частности, если непосредственное сопоставление авар. *çʷibil* или цахур. *təməl* 'виноград' со сван. *heb-* 'черешня' в высшей степени проблематично (следует подчеркнуть, что именно подобный характер носит подавляющее большинство межгрупповых кавказских соположений в работах К. Боуда, отчасти Р. Лафона и некоторых других кавказоведов), то сравнение таких предварительно построенных внутригрупповых архетипов как нах.-даг. *\*çʷəbəl* 'виноград (черный)' и картв. *\*çʷabɔ-* 'черешня' или 'каштан', как это имеем в большинстве картвельских языков, может оказаться более надежным (приведенный пример обнаруживает, видимо, и определенные слабости такой процедуры, поскольку очевидно, что внутригрупповые архетипы характеризуются меньшей фонетической и семантической определенностью).

Естественно, что возможность подобных сопоставлений должна быть подготовлена состоянием этимологической разработки материала сравниваемых языковых группировок. Н.С. Трубецкой писал в этой связи, что "сравнительная грамматика кавказских языков — если только все кавказские языки в действительности составляют единую лингвистическую семью — не будет возможной до тех пор, пока не будут созданы сравнительная грамматика картвельских языков, с одной стороны, и северокавказских языков, с другой (автор придерживался точки зрения о родстве абхазско-адыгских и нахско-дагестанских языков, основывавшейся у него на критериях сходства — Г.К.). Обе эти грамматики должны быть построены независимо друг

от друга, с тем чтобы каждая из них выполняла свои задачи” [Troubetzkoy, 1922, 184—185].

Не следует, однако, переоценивать перспектив генетического доказательства путем поиска системы закономерных фонологических корреспонденций между совокупностями архетипов соответствующих промежуточных состояний. Об этом, на наш взгляд, достаточно определенно свидетельствует сама исследовательская практика компаративистики, в которой рассматриваемая процедура до последнего времени так и не получила сколько-нибудь убедительной реализации. В частности, не убеждают в эффективности такого пути единичные опыты подобного плана, предпринятые в америндейском языкознании и рекомендуемые в этой связи М. Хаас [Haas, 1969, 49—51]. Дело в том, что очень трудно отказаться от впечатления и о непосредственной сопоставимости материала вовлекавшихся в подобное сравнение языков. Именно в таком свете рисуется, например, реальная ситуация в известных опытах генетического доказательства на материале так называемых отомангских языков Центральной Америки. Так, одно из его звеньев образует постуляция протопоптекского единства, основанного на сопоставлении двух предварительно построенных промежуточных состояний — протополокского и протомикстекского. Между тем, приводящиеся в соответствующих публикациях материальные соположения, равно как и наблюдаемая при этом схема межъязыковых звукосоответствий, обнаруживающая в большинстве случаев идентичные соотношения фонем [ср. Gudschinsky, 1959; Longacre, 1962], свидетельствуют о том, что наличная здесь степень родства не может быть квалифицирована в качестве отдаленной (во всяком случае при этом могут быть использованы преимущества так называемого цепного доказательства родства). Нельзя не учитывать вместе с тем, что процедура группировки языков с предполагаемым относительно менее далеким родством, используемая здесь для восстановления промежуточных языковых состояний, обычно предполагает уже предварительное принятие самого факта родства рассматриваемых языков.

Заслуживают внимания по крайней мере три обстоятельства теоретического порядка, предостерегающих компаративиста от излишне оптимистической оценки перспектив обоснования отдаленного языкового родства посредством обращения к реконструируемым промежуточным состояниям. Во-первых, в этом случае не приходится рассчитывать на сколько-нибудь значительный по своему объему корпус сопоставимых архетипов. Во-вторых, не следует упускать из виду, что обращение с целью генетического доказательства к опоре на архетипы обозначает переход самого исследования с уровня реконструкции на уровень диахронической интерпретации, что существенно сокращает степень достоверности всего результирующего при этом построения (о принципиальном различии понятий реконструкции и диахронической интерпретации см. ниже в главе III). Наконец, в-третьих, необходимо учитывать, что факты отдаленного родства не есть преимущественный атрибут современного лингвистического ландшафта, а в равной степени должны были характеризовать и язы-

ковые отношения прошлого (так, например, взаимное родство италийских языков было значительно более отдаленным, чем у современных романских).

Нет оснований полагать, как это в разное время представлялось отдельным авторам [ср., например, Swadesh, 1953], что в подобных случаях следует искать некоторую качественно отличную методику генетического доказательства. Скорее, напротив, в таких случаях особенно важно настаивать на максимальной строгости уже выработанных классической компаративистикой методов. В частности, вероятно, нетрудно убедиться в том, что предлагавшийся в свое время сдвиг соответствующей процедуры от детального учета фонологических соотношений в материале к сопоставлению последнего на вероятностной основе по сходству обобщенных звукотипов или псевдофонем (при котором в единый звукотип Р объединяются губные шумные р, б, ф, в звукотип Т — переднеязычные шумные, кроме свистящих и шипящих, в звукотип К — заднеязычные шумные к, г, х и т. д. [ср. Долгопольский, 1964, 56]) предоставляет в распоряжение компаративиста слишком широкую свободу действий для того, чтобы такая практика служила сколько-нибудь строгим инструментом сравнительно-исторического исследования.

Сказанному, разумеется, не противоречит то обстоятельство, что при наличии некоторых дополнительных условий использование обычной методики генетического доказательства и в ситуации отдаленного родства может принести значительный эффект. Так, в некоторых случаях существует возможность прибегнуть к упоминавшемуся уже несколько выше приему цепного сравнения языков, в ходе которого проследить необходимую системность фонологических соответствий бывает легче на материале переходных звеньев (методика группового сравнения языков, разработанная Дж. Гринбергом на базе подсчета сходств в материале [Greenberg, 1957, 39—44], не пользуется популярностью). К приему цепного сравнения естественно обращаться и во всех случаях, характеризующихся значительной степенью гетерогенности материала. В частности, в ситуации весьма существенных материальных расхождений между абхазско-адыгскими языками Кавказа единую систему в нескольких рядах звукосоответствий с наибольшей убедительностью удастся продемонстрировать лишь при вовлечении в сравнение всех трех их основных ингредиентов при заметной связующей позиции убыхского языка:

абх.-абаз. з ~ убых. d<sup>w</sup> ~ адыг. d;

абх.-абаз. с ~ убых. t<sup>w</sup> ~ адыг. t;

абх.-абаз. ç ~ убых. ʧ<sup>w</sup> ~ адыг. ʧ;

Ср. следующие примеры, некоторые из которых оказываются даже сквозными: абх. а-зэз 'шило' ~ убых. d<sup>w</sup>əd<sup>w</sup>a ~ адыг. dədə; абх. а-за-х 'шить' ~ убых. d<sup>w</sup>- ~ адыг. d-; абх. -зза приатрибутивная энклитика со значением 'очень, совсем' ~ адыг. -dədə; абх. а-са 'вишня, черешня' ~ убых. t<sup>w</sup>a; абх. а-ча 'мост' ~ убых. t<sup>w</sup>əq 'затылок' ~ адыг. təq (последнее сопоставление небезупречно, поскольку наталкивается на затруднение

семантического плана; в то же время фонологическое соотношение абх.  $h \sim$  адыг.  $q$  имеет регулярный характер); убых.  $tʷəs-$  'сидиться' ~ адыг.  $təs-$ .

Частным случаем группового сравнения языков является так называемое цепное доказательство родства, сводящееся к использованию в качестве некоторого связующего звена какого-либо промежуточного по своей генетической позиции языка, обнаруживающего более отчетливые точки соприкосновения с далеко отстоящими друг от друга представителями рассматриваемой языковой группировки. Так, в рамках абхазско-адыгского языкознания подобная роль отводится убыхскому языку, в целом стоящему все же несколько ближе к адыгской, а не абхазско-абазинской их группе.

В виду знакомых практике компаративистики трудностей последовательного обоснования родства в современной лингвистике наряду с постулатом собственно генетических связей языков иногда предлагается констатировать и так называемые их аллогенетические отношения, иначе — отношения "частичного" родства. Предполагается, что последние возникают за счет интенсивного конвергентного процесса в ходе языкового контакта, а их характерным признаком считаются далеко идущие соответствия в одном языковом компоненте при столь серьезных расхождениях в другом, что вероятность общего происхождения языков представляется минимальной. Подобная гипотеза, несколько не претендующая, впрочем, на ниспровержение традиционно признанной концепции унитарного родства языков [ср. в этой связи Weinreich, 1958], выдвинута, в частности, Г.В. Церетели для характеристики взаимоотношений, существующих между тремя генетическими группировками автохтонных кавказских языков — абхазско-адыгской, картвельской и нахско-дагестанской [Церетели, 1968, 17]. Как известно, поиски системных фонологических корреспонденций здесь чрезвычайно затруднены скудостью сопоставимого материала, вследствие чего даже такое располагающее некоторым числом примеров соотношение, как картв.  $*l \sim$  абх.-адыг  $\emptyset$  (нуль звука), наблюдаемое в конце слова, не входит в какую-либо систему звукосоответствий [ср. Климов, 1969]. Однако несомненно, что более яркой иллюстрацией аллогенетических отношений могут служить связи, существующие между языком мбугу (близ Усамбара в Танзании) и соседствующими с ним языками банту. Исследователи склоняются к тому, что мбугу — ингредиент кушитской ветви афразийских языков (о чем как будто свидетельствует материал большинства именных и глагольных основ как и система основных разрядов местоимений), усвоивший в условиях билингвизма его носителей из языков банту не только значительный объем материала, но и некоторые характерные черты именной и глагольной морфологии и, в частности, — функционирующую здесь систему именной классификации [Goodman, 1971; Tucker, Bryan, 1974].

Необходимо подчеркнуть вместе с тем, что приемы отграничения аллогенетического компонента от элементов генетически обусловленного наследия остаются в компаративистике до последнего времени совершенно неразработанными. В этой связи, может быть, заслуживает

упоминания лишь некогда высказанное Н.С. Трубецким предположение, согласно которому так называемое цепевидное членение языковой группировки (т.е. ее членение с наличием постепенных переходов от одного языка к другому) развивается при преобладании процессов дивергенции, а так называемое кирпичевидное (т.е. членение без таких постепенных переходов) — при преобладании в группировке процессов конвергенции [Трубецкой, 1958, 68].

Необходимо, наконец, подчеркнуть исключительно позитивные возможности методики обоснования языкового родства, разработанной в компаративистике. Вследствие этого безрезультатность ее применения к сравниваемым языкам, возможная как следствие принципиальной неограниченности процессов языковой дивергенции, отнюдь не доказывает отсутствия между ними генетической связи [ср. Schuchardt, 1902, 288; Meillet, 1924, 3; Вандриес, 1937, 281; Vogt, 1942, 249; Hockett, 1965, 146; Katičić, 1970, 43]. Если при всей условности определения субстанциональной близости сопоставляемых фактов все же согласиться с мнением лингвистов, находящихся, что средний процент сходств в материале неродственных языков составляет 4%, то родство в принципе может быть настолько отдаленным, чтобы не обнаруживать даже столь низкой цифры. Поэтому должна быть очевидной нестрогость мнения позднего Н.С. Трубецкого, согласно которому "полное" (!) отсутствие материальных совпадений является доказательством того, что рассматриваемый язык не принадлежит к данной языковой семье [Трубецкой, 1958, 70] (напротив, неограниченность следствий дивергентного процесса в рамках языковой семьи учитывается в механически построенной в остальном шкале языковой дивергенции, предложенной М. Суодешем, где для группировки отдаленно родственных языков, квалифицируемой термином *macrophyllum*, допускается и менее 1% совпадений в сравниваемом материале [Swadesh, 1954, 326]. Специально останавливавшийся на перспективах соответствующего доказательства Э. Сэпир отмечал, что «о языковом семействе ничего окончательного сказать нельзя. В самом деле, устанавливая его, мы только утверждаем, что можем идти до такого предела, но не далее. На любом этапе наших изысканий неожиданный луч света всегда может обнаружить, что данное "семейство" есть не что иное, как диалект иной, большей группы... Понятие "языкового семейства" никогда не окончательно в ограничительном смысле. Мы можем только сказать с законной долей уверенности, что такне-то и такне-то языки восходят к общему источнику, но мы не можем говорить, что такне-то другие языки генетически между собой не связаны. Мы можем лишь ограничиться утверждением, что не располагаем совокупными данными в пользу их родства, а следовательно, что вывод об общности их происхождения не является абсолютной необходимостью» [Сэпир, 1934, 120 и 160].

В какой-то мере этим обстоятельством поддерживается существование в современной лингвистике заметного числа весьма гипотетических построений, таких как алтайская, иберийско-кавказская, ностратическая (предполагающая наличие отдаленного родства между



индоевропейскими, афразийскими, уральскими, "алтайскими", дравидийскими и картвельскими языками), америндская, и даже концепции моногенеза всех языков мира, активно пропагандировавшаяся в начале XX века А. Тромбетти и еще относительно недавно поддерживавшаяся А.Л. Кребером, М. Суодешем и некоторыми другими лингвистами.

### Глава III

## ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РЕКОНСТРУКЦИИ

Реконструкция — один из ключевых компонентов методического инструментария любого жанра лингвистического исследования, располагающего более или менее отчетливым диахроническим аспектом. Естественно поэтому, что наряду с компаративистикой с реконструкцией имеют дело и такие дисциплины, как типология и глоттогенез. История языкового прошлого, независимо от аспекта ее рассмотрения, собственно и познается лишь на фоне последовательного воспроизведения его состояний на разных хронологических этапах. Предметами лингвистической реконструкции оказываются не единичные явления, и их комплексы, вплоть до праязыковых состояний. Поскольку в принципе восстановимо только то, что оставило какие-либо следы в материале исторически засвидетельствованных языков, должно быть очевидным, что даже при самых благоприятных условиях восстановление целостной праязыковой системы едва ли достижимо (ср. в этой связи известное сравнение поддающейся реконструкции части праязыка с видимой частью айсберга, приводимое М. Хаас [Haas, 1969, 45]).

Невосстановимость бесследно исчезнувших явлений невозможно оспаривать. Вместе с тем, отсутствие в родственных языках данных для реконструкции того или иного явления еще не способно служить автоматическим доказательством его отсутствия на некотором предшествующем этапе истории языковой семьи, поскольку лингвисту приходится постоянно считаться, например, с возможностью формальной ренувеляции старых фактов в новом облике. Так, встречающиеся в литературе предположения о так называемом дофлективном состоянии праязыков достаточно отдаленной эпохи могут в каких-то случаях оказаться неадекватными. В подобных случаях компаративист будет иметь дело, по существу, лишь с иллюзией реконструкции такого состояния, "обязанной неспособности сравнительного метода восстановить ту или иную категорию или структуру, означающее которой исчезло, не оставив следа. Между тем, возможной участью грамматического означающего бывает его бесследная утрата. Отсюда и возникает иллюзия отсутствия грамматики в реконструируемых состояниях, иллюзия неизбежная, если проявлять неосмотрительность, обращаясь в ходе реконструкции к *argumentum ex silentio*" [Haudry, 1979, 175—176] (сказанное, конечно, не равносильно принципиальному отри-

цанию тезиса о существовании в развитии языка дофлективного периода, широко разделяемого и в современном языкознании).

Необходимо, вместе с тем, подчеркнуть метафоричность самого термина "реконструкция" в лингвистике. В ходе реконструктивной процедуры речь идет, конечно, не о восстановлении реальных фактов языкового прошлого, а лишь о построении о них некоторого лингвистического знания, фиксируемого в виде архетипов или праформ и их совокупностей (термин "реконструкция" восходит к тому этапу в развитии науки, когда предполагалось, что компаративист действительно восстанавливает факты языкового прошлого). Таким образом, архетипы, используемые в генетическом языкознании, являются элементами метаязыка, служащего для описания языка-объекта, т.е. языка, представляющего собой абстрактную систему для родственных языков — представлений этой системы [Иванов, 1958, 67]. Гносеологическая функция архетипа в компаративистике и заключается собственно в диахроническом объяснении сопоставленных форм родственных языков ("смысл любой реконструкции, — пишет Э.А. Макаев, — заключается в том, что она дает возможность наиболее полным и непротиворечивым образом объяснить последовательные трансформации частных подсистем, а идеально и системы в целом, в последующие этапы развития уже исторически засвидетельствованных отдельных языков" [Макаев, 1977, 88]). Понятие архетипа, будучи одним из необходимых конструктов, строящихся компаративистом, наглядно демонстрирует, насколько важную роль играет в сравнительно-генетическом исследовании метод моделирования. И хотя в исследовательской практике он используется фактически с самого возникновения сравнительного языкознания, его целенаправленная разработка стала объектом серьезного внимания лишь в последние десятилетия [Katičić, 1966; 1970, 115—117].

Реконструируемые архетипы (праформы), независимо от возможностей их верификации, представляют собой только модели языковых явлений, проецирующихся в прошлое. Так, реконструкция трех серий сибиллянтов — свистящей, шипящей и свистяще-шипящей — в фонологическом инвентаре пракартвельского состояния (несмотря на ближайшую свою аналогию, известную из синхронного состояния абхазско-адыгских языков), равно как и восстановление трех рядов так называемых гуттуральных согласных в праиндоевропейском состоянии (несмотря на обнаружение отдельных индонранских языков, знающих эти ряды — язгулямского, кашмири), до последнего времени в полной мере сохраняет свой модельный характер. В высшей степени очевиден последний для конкурирующих друг с другом представлений компаративистов о числе и качестве ларингальных фонем, предполагающихся для раннего праиндоевропейского состояния. Модельная природа архетипов проявляется, в частности, в том, что построение последних предполагает определенное квантование непрерывной языковой данности. Еще более отчетливым образом прием квантования непрерывности языкового развития выступает в случаях, когда синхронизованные совокупности разноуровневых архетипов представляются в виде некоторого праязыкового состояния.

На одно из предубеждений, внушавших в свое время мысль о неизбежно единообразном архетипе, будто бы с необходимостью вытекающем из реконструктивной процедуры, обратил внимание еще Э. Герман. В своей известной работе, специально посвященной теории реконструкции, он отмечал нередко совершаемую компаративистами логическую ошибку: руководствуясь недоказуемым допущением о возможности обнаружения в каждом отдельном случае сравнение единственной исходной формы, они считали праязыковыми (праиндоевропейскими) все те формы, которые представляются просто наиболее древними [Hermann, 1907; 1938, 235]. Вместе с тем, в специальной литературе неоднократно подчеркивалось, что построение разных параллельных архетипов, опирающееся на различные ряды взаимно несовместимых соответствий конкретных языков, способно отражать уже реальные характеристики праязыкового состояния (особенно на более строго контролируемой позднейшей его стадии). В последней связи можно указать на широко встречающуюся в частных отраслях современной компаративистики реконструкцию лексических и морфологических дублетов, элементов нейтральной и сакральной лексики, а иногда и даже некоторой наддиалектной нормы, противопоставляющейся территориальным диалектам. Так, например, для прадагестанского состояния Б.К. Гигинейшвили постулирует необходимость реконструкции таких параллельных лексических праформ, как \*mVxa // \*mVqa 'ячмень', \*mVxVr // \*mVqVr 'грудь', \*mVzVr // \*mVčVr 'борода' (где V — символ некоторого гласного) [Гигинейшвили, 1972, 51]. Рассматривая подобную возможность, как, по-видимому, довольно распространенный случай, иногда даже утверждают — не без элемента полемической заостренности, — что одной из "наиболее характерных черт реконструкции является множественность, а не единственность решений" [Макаев, 1977, 186]. И все же, если учитывать неодинаковые в этом отношении перспективы, зависящие от специфики самой эмпирической базы исследования, то скорее можно прийти к выводу, что в одних случаях языковая данность будет располагать к построению единых ("унифицированных") архетипов, а в других — к построению нескольких параллельных. Представляется, что именно такая практика находит все большее подтверждение в работах последних десятилетий.

В ряде работ последних десятилетий подчеркивается тезис, согласно которому строящиеся компаративистом архетипы в отличие от лежащих в их основе языковых соответствий лишены как пространственной, так и временной перспективы. Отсюда иногда следует далеко идущий вывод об утрате ими всяких точек соприкосновений с языковой действительностью и, соответственно, об их минимальной гиосеологической ценности. Подобно некоторым другим положениям компаративистики, этот тезис излишне обобщен и не учитывает по крайней мере двух обстоятельств. Во-первых, если архетипы действительно ничего не сообщают об абсолютных пространственных и временных характеристиках стоящих за ними явлений прошлого, то, напротив, трудно сомневаться в их возможностях локализовать и хронологизовать эти явления в относительном плане. Во-вторых, с умень-

шением реконструктивной глубины исследования возрастают возможности и абсолютной локализации и хронологизации явлений. Так, строя на основании ряда грузинских, мегрельских и лазских фактических соответствий некоторый архетип, мы получаем определенное представление как об ареальных, так и временных характеристиках соответствующей величины (например, грузинско-занские праформы \**kb-il-* 'зуб' и \**tp'-il-* 'теплый' невозможно проецировать ни на пресванский ареал, ни в пракартвельскую эпоху ввиду не только несформированности в сванском причастий на *-il*, но и вследствие отсутствия в сванском простых глагольных корней \**tp-/tɛp-* и \**kb*).

Лингвистическая реконструкция опирается на некоторую исторически засвидетельствованную данность, в качестве какой в компаративистике принимается как синхронно наличная основа исследования в виде материала, предоставляемого ингредиентами языковой семьи, так и имеющийся в распоряжении исследователя материал языковых памятников. Строящиеся на этой эмпирической базе архетипы выводятся исключительно из привлеченной к рассмотрению данности и, естественно, не обязательно соответствуют более широкой совокупности фактов, которые могут быть вовлечены в анализ в ходе дальнейшего исследования (ср. в этой связи, например, замечание В. Порцига о том, что "индоевропейский праязык, выведенный из древнеиндийского, греческого и латинского, выглядит существенно иным образом, чем полученный на основе сравнения кельтского, германского и славянского" [Porzig, 1928, 264]).

Сказанное означает в свою очередь, что выдвигаемое в компаративистике требование адекватности архетипов неизменно остается относительным, будучи оправданным лишь по отношению к тем фактам, для истолкования которых они строятся. "Абстрактная система (праязыковая модель — Г.К.) зависит от числа языков, для которых она строится. Поэтому абстрактная система может считаться обязательной лишь для тех языков, для которых она создана. Языки, вновь привлеченные для сравнения, могут сопоставляться с ранее установленной абстрактной системой только в экспериментальном порядке..., но структура абстрактной системы целиком определяется языками, для которых она была построена. Следовательно, с привлечением новых языков меняется абстрактная система" [Иванов, 1959, 7]. Так, рассматривая ситуацию праязыковой реконструкции, производимой на материале ограниченного числа германских языков — шведского, немецкого и английского, — Р. Анттила подчеркивает, что те "единицы, которые мы предположительно реконструировали, не могут быть квалифицированы как протогерманские, поскольку не все германские языки были привлечены к сравнению. Они могут быть определены как "прото-шведско-англо-немецкие" или нечто подобное. Нет также уверенности в существовании именно такого исторического единства; это означает лишь то, что мы получаем основу, из которой могут быть выведены все языки, привлеченные к установлению протоединиц" [Anttila, 1972, 240]. Здесь уместно заметить, что у компаративиста, как правило, отсутствует уверенность в том, что он располагает исчерпывающим

набором языков, восходящих к праязыку, что лишний раз подчеркивает модельный характер праязыкового построения. Поэтому, когда А. Мейе сообщает, что при характеристике праиндоевропейской глагольной морфологии он принимал во внимание только (!? — Г. К.) явления, подтверждаемые свидетельством по крайней мере двух языков [Мейе, 1938, 263], нередко возникают сомнения в правомерности соответствующих обобщений на праиндоевропейское состояние.

Нисколько не сомневаясь в основополагающей роли для внешней реконструкции наличия закономерно соотносящихся форм родственных языков, заметим, что нередко реконструкция праязыкового архетипа оказывается проблематичной и в том случае, когда исторически засвидетельствованные языки обнаруживают подобные соответствия. Такая ситуация складывается тогда, когда последние обязаны процессам позднейшего параллельного развития, независимо протекавшего по этим языкам. Отграничение фактов подобного рода, являющихся по своему существу новообразованиями, от закономерных рефлексов праязыкового архетипа принципиально важно для воссоздания адекватной картины истории языковой семьи. Между тем, как подчеркивал еще А. Мейе, "сравнительные грамматики обычно строятся так, как если бы все явления, совпадающие в разных языках, развивавшихся из одного "общего языка", относились к периоду первоначальной общности. Авторы сравнительных грамматик, конечно, не думают этого; они никогда не решились бы утверждать этого, иногда они даже делают по этому поводу оговорки. Изложение ведется, однако, так, как если бы авторы допускали подобную гипотезу" [Мейе, 1954, 45].

Немалые трудности обособления, по-видимому, нередких в истории языковых семей параллельных новообразований от закономерных продолжений праязыковых архетипов очевидны. В практике сравнительно-генетических исследований они выявлялись главным образом при возможности обращения к старым памятникам письменности (так, независимый процесс обобщения одного из исторических показателей 1-го лица ед. числа на множество глаголов в целом ряде индоевропейских языков удалось проследить по памятникам их письменных традиций). Однако для характерных для подавляющего множества бесписьменных языков мира условий соответствующая методика остается по существу неразработанной.

В предшествующем изложении о реконструкции говорилось относительно к самому характеру используемой процедуры и к степени достоверности получаемых при ее посредстве продуктов. Между тем, именно различия в обоих этих отношениях заставляют провести принципиальное разграничение между понятиями собственно реконструкции и диахронической интерпретации, необходимость которого отмечалась, но недооценивалась в исследовательской практике. Нельзя не заметить в этой связи, что для второго понятия пока нет даже сколько-нибудь устойчивого обозначения: так, если оставить в стороне далеко не однозначно используемые в литературе термины "дальняя реконструкция" и "дальнейший анализ" (*weitere Analyse*), то в его роли можно встретить такие не очень удачные, на наш взгляд,

термины как *reconstructive analysis* [Dyep, 1959, 508—509] или *Prärekonstruktion* [Penzl, 1978, 509], а также принятый ниже термин "*diachronische Interpretation*", предложенный в работах О. Семереньи.

Терминологически обозначенное разграничение собственно реконструкции и некоторого последующего по отношению к ней шага — диахронической интерпретации, — как правило, незнакомо компаративистам-эмпирикам. Оно, однако, пользуется все более заметной и, как этом можно показать, вполне оправданной популярностью у ряда теоретиков сравнительного языкознания, нередко приходящих к нему независимым образом. Если первая из них — собственно реконструкция — предпринимающаяся с целью исторического истолкования соответствий, зафиксированных в фактической данности родственных языков, приводит к построению некоторого архетипа (проформы), то к последней — диахронической интерпретации — уже располагающей не реальным языковым субстратом, а только архетипами, компаративист прибегает при желании углубить диахроническую перспективу исследования за счет проникновения в хронологически более отдаленные этапы праязыкового состояния. Иначе говоря, если в результате процедуры реконструкции компаративист формулирует гипотезу первой степени, то продуктом диахронической интерпретации оказывается некоторая гипотеза второй степени.

Так, Л. Завадовский различает в этом плане сравнительную грамматику, оперирующую праязыковыми архетипами, выводимыми на базе засвидетельствованных межъязыковых соответствий (*comparative grammar based on attested correspondences*), и так называемую конъектурную сравнительную грамматику (*conjectural comparative grammar*), надстраивающуюся над первой и характеризующуюся значительно большей степенью гипотетичности (при этом автор подчеркивает, что мера достоверности самих архетипов также обычно падает с возрастанием реконструктивной глубины исследования и в рамках сравнительной грамматики засвидетельствованных соответствий) [Zawadowski 1962, 7—18]. В этой же плоскости лежит постулируемое в работах О. Семереньи противопоставление реконструкции посредством сравнения некоторого языкового материала и дальнейшей диахронической интерпретации полученного гипотетического состояния [Семереньи, 1980, 13]. Мысль о необходимости такого противопоставления разделяется и Б. Шлератом [Schlerath 1981, 188]. У Г. Дёрфера мы находим основанное на аналогичном различии разграничение реконструирующей лингвистики (*rekonstruierende Sprachwissenschaft*) и так называемой глоттогонической лингвистики (*glottogonische Sprachwissenschaft*), принципиальное различие между которыми заключается в том, что если первая опирается на реально засвидетельствованный языковой материал, то вторая стремится к более глубокой исторической интерпретации уже самих продуктов реконструкции [Doerfer 1973, 10]. Как отмечалось в докладе К. Кёрнера на УП Международном конгрессе по исторической лингвистике, такого же характера демаркационную линию между понятиями реконструкции и диахронической интерпретации так или иначе проводят и другие видные представители современной компаративистики (П. Тиме,

Г. Хёнигсвальд и др.) [Koerner, 1985]. В частности, вероятно, именно из него исходит Г. Хёнигсвальд, отмечающий, что процедура внутренней реконструкции неправомерна с методической точки зрения, если она направлена на восстановление не праязыкового состояния [Hoeningwald, 1974, 200] (среди авторов, рассматривающих диахроническую интерпретацию в качестве особой разновидности метода внутренней реконструкции, можно назвать Н. Борецки [Boretzky, 1975; 56—57]).

Среди советских лингвистов различие между собственно реконструкцией и диахронической интерпретацией эксплицитно проводил И.М. Тронский. «Сравнительно-исторический метод, — писал он в одной из своих работ, — сам по себе доводил только до "архетипа", до того пункта, с которого начинались расхождения по отдельным ветвям. Для того, чтобы пойти дальше, надо было оперировать другими методами — методом пережитков, методом системной реконструкции, образцы для которых были выработаны на неязыковом материале, например, в области доисторической этнографии. Эти методы надлежало применять к материалам уже не исторических языков, а к данным, доставленным той реконструкцией, которая была произведена путем сравнения» [Тронский, 1967, 5].

Однако целесообразность такого различия диктуется, конечно, не совокупностью названных выше авторитетов (тем более, что некоторые видные компаративисты — например, М. Хаас и Р. Анттила — не проводят рассматриваемого разграничения), а принципиальным различием самого существа обеих процедур восстановления, поскольку в одном случае исследование исходит из реальных языковых данных, в другом — опирается на имеющие гипотетический характер архетипы. Именно отмеченный дифференциальный признак архетипа подчеркивает его гносеологическую функцию — служить историческим объяснением реально засвидетельствованных языковых форм, в отличие от конъектур диахронической интерпретации, лишенных этой функции: перед предпринимающимися диахроническими интерпретациями ставятся иные задачи — обычно они преследуют цель более глубокого проникновения исследования в историю языковых семей и иногда цель обоснования отдаленного родства между ними.

Таким образом, статусом диахронической интерпретации располагают и так называемая внутренняя реконструкция "наиболее позднего" праязыкового состояния и "сравнительная реконструкция" некоторого праязыка второго и больших порядков, основанная на сопоставлении архетипов праязыков меньших порядков (уже хотя бы на одном последнем основании диахроническую интерпретацию невозможно признать какой-либо разновидностью внутренней реконструкции). Разумеется, динамический подход к праязыковому состоянию, пользующийся все более возрастающей популярностью в компаративистике последних десятилетий, оправдывает стремление исследователей идти в глубь языковой истории посредством этого приема (ср. в этой связи трактовку Э. Бенвенистом реконструированного нидерландского праязыка как объекта, допускающего дальнейший генетический анализ [Бенвенист, 1955, 26]). Однако иногда встречающиеся в практике сравнительно-исторического языкознания прецеденты

специальной направленности процедуры диахронической интерпретации на доказательство отдаленного языкового родства едва ли могут считаться методически оправданными (при очевидной правомерности постановки вопроса о генетических взаимоотношениях языков целесообразно отметить, что доказательство языкового родства в этом случае не столько предмет целенаправленного исследования, сколько побочный продукт удовлетворительного знания компонентов сравнения).

Естественно, таким образом, что к числу диахронических интерпретаций должны быть отнесены любые опыты восстановления на уровне так называемых праязыков (*preprotolanguages*), т.е. праязыковых состояний второго и более удаленных от современности порядков, поскольку они уже всецело основываются на сопоставлении праязыковых архетипов. В частности, статус диахронических интерпретаций со всеми вытекающими из него следствиями, и прежде всего — в отношении степени их достоверности, присущ восстановленным, предпринимаемым во взаимно противоречащих гипотезах внешнего родства индоевропейских языков.

Напротив, к числу диахронических интерпретаций только формально относятся совокупности восстановлений, связанные с обоснованием родства между обычно мелкими и сравнительно недалеко стоящими друг от друга генетическими группировками языков, предпринимающиеся прежде всего в американистике. Дело в том, что хотя при этом предварительно и строятся так называемые промежуточные праязыки, т.е. праязыки ближайших порядков, реальные взаимные расхождения вовлекаемых в сравнение языков сплошь и рядом не превышают порога их сопоставимости, так что искомое генетическое доказательство в принципе и здесь достижимо в ходе непосредственного — хотя бы и цепного — сравнения языкового материала. Например, Д. Холт, придерживающийся такой процедуры в своем опыте обоснования родства языков чибча с юто-ацтекскими, приходит к выводу об их тесной генетической связи (согласно его формулировке, родство здесь "настолько близкое, что даже весьма странно, что оно не было продемонстрировано ранее" [Holt, 1977, 203]). Действительно, привлекаемый им попутно конкретный языковой материал убеждает в его непосредственной сопоставимости. Ср. также публикации ряда американских компаративистов, разрабатывающих отомангскую гипотезу, согласно которой узлами родства оказываются связанными многие мелкие языковые группы Центральной Америки. Дополнительным свидетельством в пользу именно такого положения вещей служит то обстоятельство, что строящиеся при этом промежуточные праязыки выводятся на материале уже генетически определенным образом сгруппированных языков, что, строго говоря, возможно лишь в условиях предварительно принятого положения об их родстве (можно понять поэтому, почему некоторые американисты вообще сомневаются в наличии полноценных опытов реконструкции праязыков второго порядка [ср. Proulx, 1980, 164]). Тем более нет оснований для смешения с диахронической интерпретацией, нередкой в работах компаративистов и историков языка практики обраще-



ния к так называемой ступенчатой реконструкции, посредством которой прослеживаются промежуточные этапы языковой истории от праязыка до современности. Поскольку исследование не теряет при этом своей опоры на фактическую языковую данность, оно всецело остается в сфере реконструкции как таковой [ср. Дешериев, 1963, 156 и след.].

По-разному выглядит в обеих процедурах восстановления соотношение индукции и дедукции. Если в ходе собственно реконструкции оба компонента органически сочетаются (индуктивное построение архетипа сопровождается дедуктивно ориентированной его верификацией), то в сфере диахронической интерпретации всецело господствует дедуктивный подход исследователя.

В настоящее время, когда на смену безоговорочному оптимизму большинства ранних компаративистов пришло не менее твердое убеждение в том, что степень достоверности реконструируемых архетипов не только неизвестна, но и — в наиболее общем случае — не может быть, строго говоря, проверена, должно быть очевидным, насколько невелика мера достоверности конъектур диахронической интерпретации. Нетрудно поэтому понять, почему именно в сфере последней наблюдается особенно широкая вариация взглядов компаративистов (ср., например, весьма различную историю праиндоевропейского, нарисованную в работах Е. Куриловича и Э. Бенвениста), и почему многие из основанных на них гипотез встречают к себе глубоко скептическое отношение.

Так, имея в виду гипотезы внешнего родства индоевропейских языков, Н.С. Трубецкой писал следующее: "поскольку элементы разных языковых семей, чтобы было возможно сравнивать их между собой, должны быть соответствующим образом "препарированы", такое языковое сравнение всегда бывает связано со значительной долей произвольности и домысла, тем более, что число лексических соответствий, на которые необходимо опираться, обычно довольно невелико" [Трубецкой, 1987, 61]. Касаясь известной гипотезы К. Боргстрёма, постулировавшего наличие в рамках праиндоевропейского состояния лишь открытых слогов, являющейся хрестоматийным примером диахронической интерпретации, Э.А. Макаев со свойственным ему порой ригоризмом пишет, что она "основана не на проекции реальных данных отдельных индоевропейских языков в общиндоевропейское состояние, что возможно только тогда, когда не возникает никаких сомнений по поводу архаичности этих реконструируемых данных. Гипотеза К. Боргстрёма — классический пример чисто дедуктивного, умозрительного построения, не отвечающего строгости и обоснованности реконструкции" [Макаев, 1977, 182]. Крайнюю в этом отношении позицию занимает Г. Дёрфер, вообще отрицающий правомерность диахронической интерпретации и находящий ее конъектуры внутренне противоречивыми спекуляциями, нередко вращающимися в логическом кругу [Doerfer, 1973, 10—24]. Любопытно, что даже некоторые компаративисты, активно использующие эту процедуру в своей практике, признают, что происходящее при этом усложнение задач не сопровождается параллельным увеличением средств для их разре-

шения и что ее возможности оказываются весьма ограниченными [Тронский, 1967, 22].

Приведенные высказывания не могут все же избавить от впечатления о целесообразности обращения и к этой разновидности реконструкции, во всяком случае при стремлении компаративиста углубить диахроническую перспективу истории языковой семьи. Представляется, в частности, что, согласуя конъектуры диахронической интерпретации с архетипами, получаемыми в ходе внутренней реконструкции наиболее архаических ингредиентов языковой семьи, а также с данными типологической реконструкции, сравнительно-историческое исследование способно приводить к довольно правдоподобным выводам. Уместно сослаться в последней связи и на судьбу гипотезы Ф. де Соссюра о так называемых сонантических коэффициентах в древнейшем праиндоевропейском состоянии, характеризовавшейся важнейшими представителями младограмматизма как "чисто априористическое построение" и, соответственно, как "полная неудача", но составившей предмет самого пристального внимания индоевропейцев с конца 20-х годов, когда было положено начало разработки ларингальной теории.

В предшествующем изложении были подчеркнуты основные особенности обеих разновидностей реконструкции в их взаимном противопоставлении. Не следует полагать, однако, что в конкретных сравнительно-исторических исследованиях они неизменно выступают в своем идеальном облике. В действительности выполняемые реконструктивные операции нередко оказываются сложнее, — прежде всего за счет случаев, когда диахроническая интерпретация сочетается с элементами собственно реконструкции в рамках решения некоторой по существу единой задачи.

Одним из наиболее ярких примеров подобного сочетания может служить ларингальная теория в индоевропейистике в ее современных версиях, характеризующаяся непосредственной апелляцией к материалу исторически засвидетельствованных языков в стремлении найти себе опору в предполагаемых рефлексах древних ларингалов (ср. соответствующие ссылки на анатолийские  $h$  и  $hh$  [Kurylowicz, 1927], армянское инициальное  $h$  [Austin, 1942] и т.п., а также в следствиях ряда фонетических процессов, связанных в первую очередь с историей вокализма ср. [Winter (ed.), 1965]). По-видимому, именно это обстоятельство составляет один из существенных факторов, способствующих высокой популярности ларингальной теории в современном индоевропейском языкознании. Некоторую поддержку индоевропейским праформам с ларингалами можно усмотреть также в их внешних — картвельских — аналогиях: например, постулируемые в работах Э. Бенвениста, Р. Шмитт-Брандта, Т.В. Гамкрелидзе и ряда других авторов корни \*Huebh- 'плести, ткать', \*Hue $\bar{d}$ h- 'связывать, ремень', \*H $\bar{d}$ e(n)k- 'сгибаться' и т.п. сопоставимы с их картвельскими параллелями тнпа груз. и зан.  $\gamma\text{ob-}$  'плести', сван.  $\gamma\text{web}$  'улей' (<пракартв. \* $\gamma\text{web-}$  'плести') или груз., мегр. и сван.  $\gamma\text{ved-}$  'ремень' (<пракартв. \* $\gamma\text{wed-}$  'ремень, привязь') или груз.  $\gamma\text{ven}\check{\text{c-}}$  'сустав', мегр.  $\gamma\text{van}\check{\text{q-}}$  'сгибать(ся)' (<пракартв. \* $\gamma\text{wen}\check{\text{q-}}$  'сгибать, -ся, извиваться'), в каком-то приближении указываю-

щими на конкретные антропофонические характеристики их предполагаемых индоевропейских antecedентов (необходимо заметить, впрочем, что, хотя в исконно картвельских корнях развития спиранта перед начальным *w* не происходит, для заимствованного материала такую возможность в настоящее время трудно исключить).

В принципе аналогичным оказывается *modus operandi* и глоттальной теории в трактовке праиндоевропейской консонантной системы, как она была сформулирована в недавних работах Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова. Если бы авторы ограничивались операциями, производимыми исключительно над ранее построенными архетипами, то о выходе в их исследованиях за пределы диахронической интерпретации не приходилось бы говорить. Однако, поскольку последняя теория также обнаруживает отчетливую тенденцию к поискам реальных точек опоры в материале конкретных языков (в частности, в глоттальной серии согласных, представленной в некоторых армянских диалектах, и в предполагаемых рефлексах смычногортанных в виде определенных просодических признаков германских языков [ср. Гамкрелидзе, Иванов, 1984, 12—17]), нельзя не увидеть, что и здесь налицо обращение к элементам собственно реконструкции. Это обстоятельство, по всей вероятности, и служит одним из факторов, внушающих к этой теории симпатии со стороны целого ряда крупных индоевропейцев уже в настоящее время.

Еще одним примером органического сочетания обеих разновидностей реконструкции в компаративистике может служить практика разработки в современной американистике алгонкино-рингванской гипотезы, основанной на сопоставлении реконструированных праалгонкинских архетипов с фактическим материалом языков виют и юрок. Именно такой характер сравнения обусловлен тем неоднократно подчеркивавшимся М. Хаас обстоятельством, что оба последних достаточно далеки друг от друга, вследствие чего взаимное родство обонх более отчетливо прослеживается на фоне их односторонних генетических связей с алгонкинскими языками [ср. Haas, 1969].

Продолжая обсуждение общей проблематики реконструкции в компаративистике, остановимся коротко на некорректности двух довольно распространенных в отраслевой науке еще недавнего прошлого крайних точек зрения на сущность архетипа (праформы). Это с одной стороны, наименее понимание построенного архетипа как воспроизведения тех или иных языковых фактов в некотором буквальном смысле слова, а с другой — его позитивистская трактовка как условного обозначения особого ряда соответствий в сравниваемом языковом материале.

Первое представление, выходящее, как известно, еще к основоположникам сравнительно-генетического языкознания, в течение длительного времени господствовало в науке и разделялось даже виднейшими исследователями (ср., в частности, соответствующие высказывания в работах таких выдающихся компаративистов, как Ф.Ф. Фортунатов и В. Поржезинский). В отдельных частных отраслях компаративистики оно устойчиво держалось еще в относительно недавнее время. Пожалуй, одной из наиболее консервативных в этом отно-

шении отраслей оказалась одна из школ кавказоведения, представители которой, исходя из подобной презумпции, всерьез адресовали Н.Я. Марру упреки в том, что предлагавшиеся им архетипы являются "предположениями под астериском", а не реальными языковыми фактами (!?), и отказывались на этом основании снабжать строившиеся ими праформы знаком звездочки (так, например, в публикациях А.С. Чикобава отношения диахронической зависимости форм, как правило, обозначались стрелкой [ср. Чикобава, 1938; 1942; 1948, 259]). Необходимо учитывать вместе с тем, что в некоторых случаях такие встречающиеся в работах современных компаративистов выражения, как "восстановление фактов", "восстановление былых явлений", "восстановление праязыка" и т.п., обязаны по существу только нечеткости в словоупотреблении.

С другой стороны, нет каких-либо оснований рассматривать лингвистическую реконструкцию и в качестве лишь символизации самой процедуры сравнения некоторых языковых данностей. Нетрудно увидеть, что принятие последнего представления было бы равносильным отказу реконструктивной процедуре в способности служить инструментом приобретения некоторого нового знания. Согласно такому взгляду, например, общекартвельский архетип \*с<sub>1</sub>хга- 'девять' является лишь обозначением соответствия ряда "положительных фактов", представленного груз. с<sub>1</sub>хга- ~ мегр. с<sub>1</sub>хого- ~ лаз. п<sub>1</sub>с<sub>1</sub>хого-, с<sub>1</sub>хонго- ~ сван. с<sub>1</sub>хага- 'девять', а общеабхазоадыгская праформа \*(t)х<sub>1</sub>ва- 'зола, серый' оказывается не более чем шнфром соответствия, образуемого абх. а-х<sub>1</sub>ва 'зола, серый' ~ убых. тх<sub>1</sub>ва 'зола' ~ адыгейск., каб. тх<sub>1</sub>ва 'зола, серый'. Уместно заметить, что на определенном этапе своего научного творчества к подобной точке зрения был близок такой выдающийся компаративист, как А. Мейе, неоднократно высказывавшийся в том духе, что "восстановления", предпринимаемые в сравнительно-грамматических исследованиях, сводятся лишь к символам, с помощью которых сокращенно выражаются межъязыковые соответствия, и что, в частности, в результате семантической реконструкции лексемы остается одна абстракция, которая предоставляет средства для оправдания сопоставления, но не для определения первоначального значения слова [Мейе, 1938, 74 и 385; Pisani, 1958, 347—348] (следует, впрочем, подчеркнуть, что в дальнейшем А. Мейе отказался от такого взгляда, дав тем самым основания Дж. Бонфанте отметить у него редкую способность "к постоянному совершенствованию метода и усвоению новых теорий и идей" [Bonfante, 1945, 83]).

В отличие от ныне по существу преодоленного в сравнительно-генетическом языкознании наивного взгляда на архетип как на восстановленный факт, последняя точка зрения, характерная в прошлом для целого ряда представителей младограмматической и так называемой социологической школ в лингвистике, еще и в настоящее время имеет определенное распространение и в той или иной форме принимается позитивистски настроенными исследователями. Она, в частности, защищается отдельными представителями алгебраического направления индоевропейской ларингалистики и еще относительно недавно пропагандировалась в так называемой трансфор-

мационной этимологии Я. ван Бакеля. Последний писал, что его "этимология" не стремится к объяснению "одной формы посредством другой: ее задача выполнена, если формы выражены одна через другую. Она является трансформационной, поскольку, используя формулы, она преобразует (или делает переводимой) форму одного языка в форму другого" [van Bakel, 1968, 445]. Нетрудно видеть, что подобные процедуры трансформационной этимологии не поднимаются над уровнем адекватности наблюдения и по своему существу отказывают методике реконструкции в компаративистике в возможности служить инструментом познания языковой реальности прошлого, лишая ее тем самым своего объективного назначения.

Если оставить в стороне определенные философские концепции, которых иногда явно придерживаются представители обеих охарактеризованных выше трактовок архетипа, то их возникновение оказывалось в значительной степени обусловленным нерасчлененным представлением о самой процедуре лингвистической реконструкции и тем вспомогательным аппаратом, который она использует. Между тем, принципиально существенно проводить разграничение формулы архетипа, т.е. так называемой формы под знаком астериска, с одной стороны, и собственно архетипа, с другой. Если форма под астериском вместе с самими формулами межъязыковых корреспонденций относится к символическому аппарату сравнительно-генетического языкознания и, следовательно, способна выступать в качестве лишь краткой обобщенной нотации соответствий, существующих между фактами сравниваемых языков [ср. Нерманн, 1907, 62; Delbrück, 1919, 161—162; также Тронский, 1952, 17—20; Макаев, 1960, 148—149], то архетип всегда предполагает ее некоторую содержательную интерпретацию и, таким образом, представляет собой более или менее приближенное отражение стоящей за этой формулой языковой реальности прошлого.

Исходя из сказанного выше, естественно придти к выводу, что на современном этапе разработки методики сравнительно-исторических исследований едва ли возможно принять известную формулировку Б. Дельбрюка, согласно которой реконструируемые компаративистами праформы с их варьирующим в истории науки обликом не сообщают нашему знанию никакого нового материала, свидетельствуя лишь о результатах производимого нами анализа того, что содержится в отдельных языках [Дельбрюк, 1904, 57] (представляется поэтому оправданным, что автор настоящей работы, следуя уже существовавшей в отечественной компаративистике традиции, определял этот взгляд в одной из своих предшествующих публикаций как агностический по существу [см. Климов, 1969, 81—82]).

Необходимо учитывать, что операционный и интерпретационный аспекты реконструкции протекают, как правило, параллельно, составляя два неотъемлемых компонента ее процедуры. Если один из них результирует в разграничении всех специфических соотношений в сравниваемом материале и в их фиксации в виде соответствующих формул архетипов, то другой приводит компаративиста к наполнению получаемых формул некоторой субстанцией. Касаясь так называемого алгебраического подхода в трактовке праиндоевропейских

ларингальных, не идущего далее условного обозначения получаемых фонемных архетипов, Т.В. Гамкрелидзе пишет, что «"алгебраические" построения, отражающие лингвистические структуры, представляют собой лишь первый шаг в реконструкции определенной языковой системы. Подобные "алгебраические" конструкции являются некоторой абстрактной системой, в которой определяются лишь отношения между элементами, без спецификации самих элементов. Из абстрактного "алгебраического" построения лингвистическая система может быть дедуцирована лишь при определении природы объектов, введенных в качестве функциональных элементов постулируемой системы. В случае "ларингальных" следует охарактеризовать элементы реконструируемой системы с постулированием типологически вероятных пучков дифференциальных признаков путем компонентного анализа рефлексов, оставленных в исторических языках исчезнувшими фонемами» [Гамкрелидзе, 1964, 46—47]. Исследовательская практика неопровержимо свидетельствует вместе с тем, что, отмечая особые ряды соответствий между сравниваемыми языковыми фактами, мы одновременно в большей или меньшей степени подготавливаем и их содержательное истолкование. Оба этих аспекта реконструктивной процедуры с необходимостью предполагаются даже в тех затруднительных случаях, когда при существующем уровне разработки сравнительной грамматики не видно возможности интерпретировать получаемую формулу сколько-нибудь однозначным образом. Так, в частности, обстоит дело с соответствиями типа груз. *saxl- ~ мегр., лазск. охог-* 'дом' или абх. *x<sup>w</sup>э ~ адыг. tx<sup>w</sup>э* 'пять' с неясным историческим качеством анлаута обеих основ, получившими на современном этапе развития картвельского и абхазско-адыгского языкознания различные фонетические истолкования. Нельзя не вспомнить в этой связи справедливое предупреждение Э. Бенвениста, подчеркивавшего, что прогресс фонологической реконструкции не должен сдерживаться отставанием в области фонетической интерпретации архетипов, остающейся в той или иной мере гадательной [ср. Benveniste, 1962, 10]. Поэтому представляется излишним известное предложение Э. Германа, рекомендовавшего ввести в используемую сравнительно-генетическими исследованиями символку особое обозначение формул, будто бы не претендующих на отражение реальных фонетических характеристик архетипа [Hermann, 1907, 62].

Менее целесообразно специально останавливаться на совершенно аналогичном по существу взаимоотношению операционного и интерпретационного аспектов реконструкции содержательной (семантической) стороны архетипа, поскольку общепринятый неформульный характер записи здесь очевиден и не нуждается в комментариях. Одновременное протекание обоих аспектов процедуры с достаточной яркостью выступает в случае внутренней реконструкции, когда компаративист имеет дело не с рядом межъязыковых соответствий, а с единообразно интерпретируемым фактическим материалом единой языковой системы. Специфическая ситуация может, по-видимому, иметь место лишь в условиях обращения к древнеписьменной фиксации языка-предшественника, в тех случаях, когда в ходе применения филологического метода

оказывается правомерным говорить не столько об операционном и интерпретационном аспектах производимой реконструкции, сколько о соответствующих этапах процедуры.

Степень достоверности архетипа в компаративистике объективно зависит от общего объема информации, предоставляемой в распоряжение лингвиста привлеченным к сравнению материалом, и субъективно — от меры осознания лингвистом сущности используемой реконструктивной процедуры. Естественно, что чем более исчерпывающим окажется объем учтенной фактической информации, тем надежнее будут восстановлены праформы. Если принять условное по необходимости различие между относительной и "абсолютной" достоверностью реконструкции, то нетрудно увидеть, что архетипы (в отличие от продуктов диахронической интерпретации) должны отвечать требованию их относительной достоверности, а иногда способны удовлетворять и более строгому требованию их "абсолютной" достоверности.

Относительно достоверными целесообразно называть архетипы, адекватно построенные в соответствии с исчерпывающей наличной базой сравнения (ср. герм. \**kuningaz* 'старейшина рода, король'). Относительность их достоверности вытекает уже из того обстоятельства, что, как правило, компаративисту неизвестна степень полноты доступного ему фактического материала. Последнее обстоятельство не должно, однако, вести и к безосновательной недооценке объективной значимости подобных архетипов, составляющих подавляющее большинство всех продуктов реконструкции, как это встречалось, например, в одном из направлений романистики (ср. термин *Phantasielatein*, соотносившийся скептически настроенными исследователями с первыми итогами опытов реконструкции позднелатинского состояния, давшего начало современным романским языкам, на основе сравнения соответствующих форм исторически засвидетельствованных романских языков; аналогичная тенденция заявляла о себе и в программной для итальянской неолингвистики статье Дж. Бонфанте [Бонфанте, 1956, 316—317]). Неслучайно поэтому, что уже Ф. де Соссюру приходилось отстаивать определенную объективную значимость таких архетипов [де Соссюр, 1977, 257; Hall, 1960, 203—206].

"Абсолютно" достоверным целесообразно называть такой архетип, который может быть так или иначе верифицирован в языковой действительности посредством обнаружения его фактического аналога в каком-то диалекте сравниваемых языков, в древнеписьменных памятниках или в неродственных языках на правах заимствования (так, "абсолютная" достоверность герм. \**kuningaz* контролируется наличием соответствующего заимствования в форме *kuningas* в прибалтийско-финских языках). Вполне очевидно, однако, что и в этом случае сохраняется определенная степень относительности достоверности архетипа, поскольку в языковой действительности всегда могут встретиться и отличные от него реальные формы (несколько иным образом проводит разграничение двух степеней достоверности праформ У. Леман [Lehmann, 1962, 103—104 и 255].

В ряде случаев в распоряжении компаративиста оказываются оп-

ределенные возможности верификации продуктов реконструкции и в плане их "абсолютной" достоверности. Исследовательский опыт позволяет надеяться на несколько различных источников обнаружения реальных соответствий построенным архетипам. Одним из них оказываются древние тексты. Так, исследователи индийских и иранских языков часто прибегают для подтверждения своих реконструкций к древнеиндийским, древнеперсидским и авестийским, а также к некоторым более поздним текстам. Как отмечает И.М. Тронский, дешифровка крито-микенского письма типа В.М. Вентрисом и Дж. Чедвиком стала блестящим подтверждением продуктивности научных методов, выработанных историческим языкознанием, так как греческий язык XV—XIII вв. до н.э., на 700—500 лет предшествующий древнейшим известным до того времени письменным памятникам, оказался во всех основных чертах таким, как это и предполагалось [Тронский, 1964, 66]. Во всех подобных случаях приходится, впрочем, считаться с тем обстоятельством, что соответствующие древнеписьменные тексты могут отражать не одиолинейную языковую традицию (именно таково в частности, диахроническое соотношение языка древнеперсидских клинописных надписей и среднеперсидского языка).

Нередко определенную степень адекватности реконструируемых праформ удается подтвердить на материале древних заимствований в ареально смежных языках. Естественно, однако, что характерные отличия фонологических систем последних иногда сказываются на облике подобных заимствований. Так, немало форм, практически совпадающих с постулированными ранее прагерманскими архетипами, было обнаружено в составе древнейших германизмов таких прибалтийско-финских языков, как финский и саамский (тогда как немногочисленные и очень фрагментарные рунические надписи дают в этом отношении весьма немного): ср. прагерм. \*armaz 'бедный', \*hringaz 'кольцо', \*kuningaz 'король, старейшина рода' при соответствующих им фин. armas, tengas, kuningas. Последние открытия в этой области вообще существенно продвинули представления индоевропеистики о ранних ступенях развития германских языков. Некоторые чрезвычайно архаические индоевропейские праформы находят свое подтверждение в древнейших индоевропеизмах картвельских языков. Одно из них представляет собой, например, картв. \*eks<sub>1</sub>w- 'шесть', по-видимому, подкрепляющее известную точку зрения о вторичности индоевропейских обозначений шести с начальным s [Szemerényi, 1960, 78; Nehring, 1962]. Другим таким примером может послужить картв. (занск.) žvabu- 'жаба', восходящее, согласно закономерностям фонетической истории занских языков, к \*gwebu- и отражающее таким образом наиболее архаичный прототип соответствующих индоевропейских лексем типа \*gweb(h)u-. Третьей иллюстрацией подобного рода может быть картв. \*usx(o)- 'бык (жертвенный)', удостоверяющее адекватность реконструкции н.-е. \*ukso в иногда предполагаемом для него древнейшем значении быка, предназначенного для заклания (см. ниже главу V). Наконец такие гипотетические протоармянские архетипы, как \*rap̄t 'широкий' (>др. арм. hart) и \*rop̄t 'брод' (>др. арм. hun), были за-



фиксированы Х. Фогтом в грузинских parto- и pop- аналогичной семантики [Vogt, 1939, 331; ср. Гигинейшвили, 1985].

Не исключена и возможность обнаружения реального соответствия построенного архетипа в каком-либо из диалектов рассматриваемых языков.

Возможности контроля за адекватностью продуктов реконструкции в области фонологии и грамматики заметно возросли в связи с очевидными успехами языкознания в сфере выявления ряда общих закономерностей языковых структур (на наш взгляд, недостаточно четко квалифицируемых во многих работах в качестве типологических). Закономерности структурной взаимобусловленности фактов языковой системы, устанавливаемые в форме универсальных импликаций, обычно содержат серьезные указания на возможность принятия или непринятия того или иного архетипа. «Противоречие между реконструированным состоянием какого-либо языка и общими законами, которые устанавливает типология, — пишет в этой связи Р. Якобсон, — делает реконструкцию сомнительной. В Лингвистическом кружке Нью-Йорка в 1949 году я обратил внимание Дж. Бонфанте и других индоевропейцев на ряд таких спорных случаев. Представление о протоиндоевропейском языке, как языке, обладавшем лишь одним гласным, не находит подтверждения в засвидетельствованных языках земного шара. Насколько мне известно, нет ни одного языка, где бы пара /t/ — /d/ добавлялся звонкий придыхательный /d<sup>h</sup>/, но отсутствовало бы его глухое соответствие /t<sup>h</sup>/, в то время как /t/, /d/ и /t<sup>h</sup>/ часто встречаются без сравнительно редкого /d<sup>h</sup>/, и такая стратификация легко объяснима...; следовательно, теории, оперирующие тремя фонемами /t/ — /d/ — /d<sup>h</sup>/ в протоиндоевропейском языке, должны пересмотреть вопрос об их фонематической сущности. Предполагаемое сосуществование фонемы "придыхательный взрывной" и группы из двух фонем — "взрывной" + /h/ или другой "ларингальный согласный" также оказываются весьма сомнительными в сфере фонологической типологии. С другой стороны, мнения, предшествовавшие ларингальной теории или враждебные ей, не признающие никакого /h/ в индоевропейском языке, противоречат данным типологии: как правило, языки, различающие пары звонких — глухих, придыхательных — непридыхательных фонем, имеют также и фонему /h/ ... Аналогичную помощь (компаративистике — Г. К.) можно ожидать от типологического изучения грамматических процессов и понятий» [Якобсон, 1963, 102—103] (квалификацию сопоставления реальных языковых величин с реконструируемыми архетипами как смешения онтологического уровня исследования с гносеологическим [ср. Макаев, 1977, 182], затруднительно принять, поскольку она лишает компаративиста возможности сверять строящиеся им конструкты с языковой действительностью).

Конечно, факт типологической допустимости некоторого архетипа не приходится переоценивать, поскольку сам по себе он еще далеко недостаточен для того, чтобы служить свидетельством реализма выполненной реконструкции. Однако его типологическая невозможность, как правило, оказывается достаточно весомым аргументом для его отклонения. Учет степень структурной вероятности построенных

праформ становится особенно существенным тогда, когда возникает возможность выбора среди нескольких реконструктивных решений для одного и того же сопоставленного фактического материала [Гухман, 1957, 54; Успенский, 1965, 28].

В специальной литературе справедливо подчеркивается, что типология ни при каких условиях не может выступать в сравнительно-генетическом исследовании в роли самой основы для реконструкций, предпринимаемых компаративистами [ср., напр., Гамкрелидзе, Иванов, 1984, 1320]. Как свидетельствует исследовательская практика структурные ("типологические") соображения скорее способны играть роль определенных эмпирических ориентиров для предпочтения какого-либо одного архетипа из их совокупности, полученной посредством того или иного приема реконструкции в рамках собственно генетического исследования (что касается типологической реконструкции как таковой, то это всецело прерогатива типологического исследования, характеризующаяся своей отчетливой спецификой; о типологической реконструкции см., например, [Klimov, 1977, 493—496]).

Наряду с критерием "типологической" непротиворечивости архетипов в компаративистике целесообразно руководствоваться и другим важным признаком достоверности реконструкции — ее соответствием реально наблюдаемым в языках мира закономерностям диахронического порядка, т.е. ее соответствиям правилам структурной трансформации, под которыми понимаются модели языковых преобразований, свойственные исторически засвидетельствованным языкам. В частности, в условиях фонологической реконструкции определенным показателем достоверности получаемого архетипа служит возможность трактовки его, как результата действия некоторых типовых закономерностей фонетического изменения.

Определенная степень достоверности реконструкции подтверждается, наконец, и в тех случаях, когда вовлечение в орбиту сравнения нового языкового материала не только не отрицает ранее принявшихся праформ, а, напротив, — сводясь к различного рода мелким коррективам — по существу способствует их уточнению. Об этом довольно красноречиво свидетельствует, в частности, постепенное преобразование формулы праиндоевропейского обозначения лошади, отражавшее собой целый ряд последовательных открытий в области сравнительно-исторической фонетики индоевропейских языков: ср. \*akvas, \*ak<sub>1</sub>vas, \*ek<sub>1</sub>vos, \*ek<sub>1</sub>wos, а с учетом ларингальной теории и \*Hek<sub>1</sub>wos (не исключено, что внешним подтверждением адекватности последней праформы может послужить удинское название лошади *ek* (при форме мн. числа — *ekurux*) с фарингальным гласным в анлауте, стоящее изолированно в материале нахско-дагестанских языков и рассматривавшееся А. Нерингом даже в качестве вероятного источника индоевропейского слова [Nehring, 1936, 107—108]).

При наличии совокупности благоприятных условий (полнота сравниваемого материала, ограниченная временная глубина реконструкции, наличие подтверждающих фактов в древнеписьменных или иноязычных источниках и т.п.) можно не сомневаться в высокой степени

адекватности строящихся архетипов фактам языкового прошлого. В целом необходимо признать, что отражательная функция в той или иной степени сохраняется у продуктов любой реконструкции. Поэтому, в частности, едва ли имеются основания для обобщения на все конкретные случаи утверждения, что праязыковая модель имеет абсолютно вневременной и фонетически неопределенный характер. Если учесть несомненно неодинаковые для разных языковых семей перспективы реконструкции праязыковых состояний, то будет нетрудно увидеть, что встречающаяся в современной компаративистике абстрактная — вне конкретной пространственно-временной обусловленности — постановка вопроса об адекватности праязыковой модели реальному языковому состоянию прошлого недостаточно корректна (так, нетрудно заметить, что картина неглубокого праязыкового состояния во всех этих отношениях обычно выглядит более или менее конкретной). Сказанное означает, что точку зрения, согласно которой в итоге праязыковой реконструкции "мы абсолютно ничего не можем сказать о реальном (стоявшем за праязыковой моделью — Г.К.) языке, кроме того, что он существовал" [Antonsen, 1965, 20], следует считать некоторым приближением к методологии агностицизма.

В свете подчеркнутого нами разграничения собственно реконструкции и диахронической интерпретации имеются все основания утверждать, что степень достоверности продуктов последней значительно ниже, чем у реконструируемых архетипов. О ней достаточно трудно судить даже в тех случаях, когда они достраиваются за архетипами, воссоздаваемыми с относительно высокой мерой надежности. Тем более рискованным было бы оценивать степень достоверности таких конъектур, которые параллельно достраиваются за несколькими конкурирующими друг с другом архетипами. Вполне естественно поэтому, что именно в сфере диахронической интерпретации явлений расхождения между компаративистами оказываются особенно существенными (ср., в частности, далеко не совпадающую картину развития праиндоевропейского состояния, рисуемую в работах таких выдающихся лингвистов современности, как Э. Бенвенист и Е. Курилович).

В качестве одной из иллюстраций характерных трудностей верификации конъектур диахронической интерпретации в оптимальных, казалось бы, условиях можно привести известное истолкование и.-е. \*oktōc 'восемь' в роли исторической формы двойственного числа самостоятельно незасвидетельствованного числительного \*okto- 'четыре' [ср. Henning, 1949, 69], по-видимому, получающего себе внешнюю поддержку в его картвельских аналогиях типа лазского otxo- 'четыре' (в картвельской этимологии предложена квалификация этой лексемы в качестве древнейшего индоевропеизма, восходящего к пракартвельской эпохе [ср. Климов, 1977]). Уже не говоря о заметном расхождении формального облика обеих единиц сравнения, позволяющего некоторым авторам весьма сдержано смотреть на их сопоставление, оно ставит перед компаративистом несколько новых вопросов вплоть до далеко идущего предположения о возможном исчезновении целой ветви индоевропейских языков, характеризовавшейся обозначе-

нием четырех, отличным от реконструируемых для их разных ареалов \*k<sup>h</sup>etur и \*meu.

Среди наиболее важных предметов дискуссии в теоретической компаративистике следует упомянуть вопросы методики схематического моделирования конкретных отношений родства между ингредиентами макросемьи. Длительная эмпирическая разработка соответствующей проблематики на индоевропейском языковом материале вызвала к жизни две глубоко различные схемы этих отношений. С одной стороны, А. Шлейхер предложил в 1860 году свою модель дифференциации индоевропейских языков, известную под названием модели "родословного древа" [Schleicher 1860; Schleicher, 1861—1862, 4 и след.]. Согласно последней, отношения родства между отдельными группами этих языков схематически выглядели следующим образом (рис. 2);

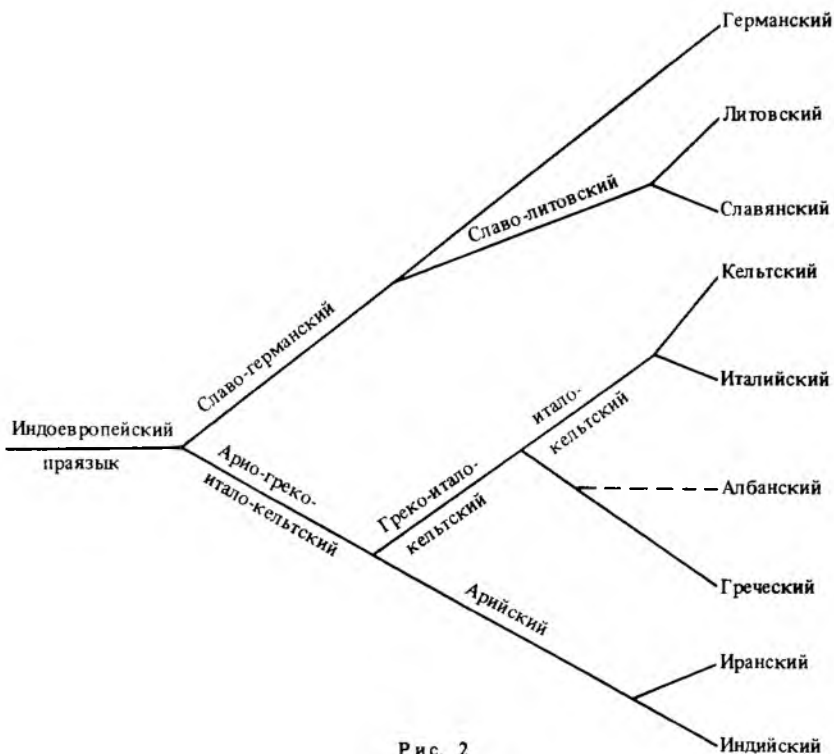


Рис. 2

Другая модель генетических взаимоотношений индоевропейских языков, выдвинутая первоначально в противовес первой и известная в компаративистике под названием "волновой", была в 1872 году предложена Й. Шмидтом [Schmidt, 1872]. Представления первой в ней были заменены, как об этом свидетельствует ее известное схематическое изображение (см. рис. 3), идеей о постепенности переходов от одной языковой группы к другим и о принципиальной многосторонности их

взаимосвязей (позднее А. Мейе и некоторыми другими авторами были предложены несколько иные варианты этой схемы).

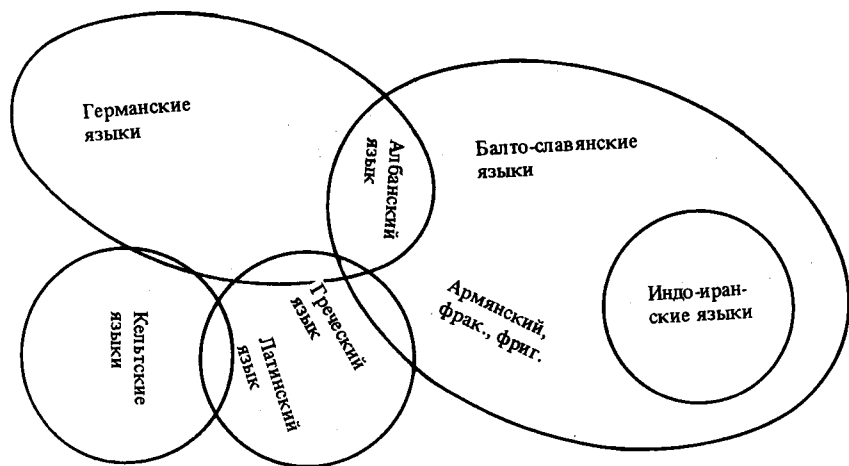


Рис. 3

Чаще всего обе эти модели рассматривались в компаративистике как конкурирующие друг с другом и даже представлялись, по-видимому, их создателям не моделями, а единственно адекватными отображениями исторической реальности языкового прошлого (о затянувшейся полемике между представителями обеих точек зрения см. [Десницкая, 1955, 153—165]). Однако довольно скоро было замечено, что обе они по-своему упрощают подлинную картину конкретных языковых взаимоотношений. Так, например, если первая из них явно сводится к квантованию непрерывного по своему характеру процесса языковой эволюции (и нередко представляла филиацию праязыкового состояния в виде некоторого единовременного акта), то вторая вообще не дает представления о динамике развития языковой семьи. Еще более существенным явился последовавший позднее вывод, согласно которому обе модели не только не противоречат друг другу, но и находятся в отношении взаимной дополительности.

Первые опыты совмещения обеих в рамках некоторой интегрирующей концепции исходили из мысли, что они могут отражать два хронологически различных этапа истории языковой семьи [ср. Leskien, 1876; также Meillet, 1908]. Позднее стало ясным, что их фактическое различие заключается не в разной хронологической соотношенности и, конечно, не в простой констатации стоящих за ними методик исследования, как полагал одно время Л. Блумфилд (ср. в этой связи [Pulgram, 1953]), а в принципиально различной целеустановке. В соответствии с последним обстоятельством первая из них должна быть охарактеризована как динамическая модель языковой дивергенции, а вторая — как статическая модель, которая иллюстрирует синхронные генетические взаимоотношения языков на определенном этапе их истории. Об этом ярче всего свидетельствует, на наш взгляд, существующий в компаративистике опыт совмещения схематических вы-

ражений обеих моделей в рамках некоторой единой синтезирующей их диаграммы [ср. Southworth, 1964]. Поскольку они моделируют разноплановые по своему существу отношения, не видно каких-либо оснований усматривать то или иное преимущество одной из них перед другой. В частности, не наделяет каким-либо преимуществом динамическую модель факт ее большей популярности в более молодых отраслях компаративистики.

Едва ли не центральным методическим понятием, призванным моделировать взаимоотношения ингредиентов языковой семьи, в сравнительно-историческом языкознании остается понятие праязыка или языка-основы, только с течением времени выкристаллизовавшееся из первоначального синкретического представления компаративистов о некотором реальном предшественнике группы родственных языков и о совокупности его реконструированных фрагментов. Уже в 1870 г. И.А. Бодуэн де Куртене четко формулировал мысль, что "первобытные и основные языки (переводные соответствия терминов *Ursprachen* и *Grundsprachen* — Г.К.) в том виде, как они воссоздаются наукою, представляют собой не комплексы действительных явлений, а только комплексы научных фактов, добытых дедуктивным путем" [Бодуэн де Куртене, 1963, 70], т.е. являются конструктами. В настоящее время методическое понимание праязыка (// праязыкового состояния) как некоторого теоретического множества исследуемых родственных языков играет в генетическом языкознании роль необходимого построения, по существу направляющего благодаря своей объяснительной способности все сравнительно-историческое исследование, независимо от того, какое конкретное соответствие находит это понятие в объективной реальности прошлого [Pulgram, 1961; Michelena, 1963; Knobloch, 1965] (ср. аналогичный статус абстрактного понятия языкового типа в лингвистической типологии, через посредство которого строится описание конкретных языков, принадлежащих тому или иному типологическому классу).

Следует подчеркнуть, что целесообразность построения праязыковой модели для познания истории генетически родственных языков признается не только компаративистами, преуменьшающими степень адекватности праязыковых реконструкций реальному состоянию прошлого, но и теми, кто склонен вообще отрицать некоторую онтологическую реальность, стоящую за понятием праязыкового состояния (например, представителями итальянской неолингвистики, В. Пизани и некоторыми другими). Так, уже Й. Шмидт считал, что праязык — научная фикция, существенно облегчающая исследование [Schmidt, 1872, 28 и след.; ср. также Пизани, 1966, 8].

Различные аспекты понятия праязыка и в настоящее время порождают разнообразие точек зрения. Не следует, впрочем, преувеличивать расхождения во взглядах в этом плане, поскольку по крайней мере в нескольких весьма существенных отношениях здесь можно констатировать и их определенное единство.

Так, у компаративистов никогда не было сомнений в огромной, организующей любые сравнительно-исторические штудии роли понятия праязыка, служащего необходимой точкой отсчета в изучении генети-

ческих взаимоотношений родственных языков (ср. аналогичное место понятий языкового типа в типологических исследованиях и совокупности ареально соотнесенных признаков в работах по ареальной лингвистике). Не приходится сомневаться и в типичном модельном характере этого понятия, призванного быть орудием объяснения истории языковых семей. В частности, уже давно стала очевидной образность самого термина "лингвистическая реконструкция", поскольку сущность соответствующих процедур сводится, конечно, не к восстановлению праязыковых состояний, а к построению о них некоторого научного знания. Так, уже Й. Шмидт отчетливо осознавал, что "конструируемые праязыки" — *die construierte Grundsprachen* — не обладают статусом исторического языкового индивидуума [Schmidt, 1872, 31; ср. Бодуэн де Куртене, 1963, 374]. Не остается вместе с тем каких-либо сомнений и в том, что строящиеся компаративистами праязыковые модели так или иначе отражают собой некоторые языковые реальности прошлого (можно заметить, что фактически вопрос о такой реальности не снимался и иногда неадекватно толкуемым высказыванием Б. Дельбрюка, согласно которому "построенный тип праязыка есть не что иное, как формула, служащая для выражения меняющихся воззрений исследователей на объем и характер материала, унаследованного родственными языками из праязыка" [Delbrück, 1880, 52—53]). Подчеркивая необходимость разработки праязыковой схемы в компаративистическом исследовании, Б.А. Серебренников отмечает, что "гипотетически восстанавливаемый праязык играет роль очень удобной точки отсчета при изучении языков. Прежде чем выяснить, в каком направлении развивалось то или иное слово, или та или иная форма, необходимо знать их древнее состояние. Точнее говоря, без праязыковой схемы не может быть исторической перспективы... По своей сущности праязыковые схемы являются типичной моделью" [Серебренников, 1976, 68—69].

Вместе с тем, несколько аспектов проблематики праязыка и поныне не получают у лингвистов сколько-нибудь однозначной трактовки. Среди них можно назвать и весьма существенный вопрос о характере языковой реальности прошлого, стоящей за понятием праязыка, поскольку признание модельного характера праязыкового представления не только не снимает с повестки дня компаративистики вопроса об этой реальности, а скорее, напротив, с необходимостью предполагает его постановку. Он по существу представляет собой некоторую дальнейшую конкретизацию решительно господствующего в современной исследовательской практике реалистического подхода к реконструкции. Поскольку реализм праязыковой реконструкции тесно связан с признанием реальности самого праязыкового состояния [Nehring, 1961, 358], с этим вопросом сталкиваются едва ли не все компаративисты, работающие в более или менее продвинутых отраслях генетического языкознания.

Можно констатировать, что компаративисту приходится считаться по крайней мере с тремя конкурирующими в современном языкознании точками зрения о реальном соответствии понятию праязыка (согласно терминологии некоторых авторов, речь при этом идет о соот-

ношении "реконструируемого праязыка" и "реального праязыка" [ср. Дюен, 1969, 510]), линии взаимного разграничения которых выступают в отраслевых сравнительно-исторических исследованиях не всегда достаточно отчетливо. Нетрудно увидеть, что все три точки зрения исходят из разных объективных возможностей отношения обычно более или менее унифицированной в своей основе праязыковой модели и стоящей за ней языковой реальности. По наиболее традиционному в истории лингвистики представлению, сам факт столь обычного для исследовательской практики единообразия праязыковой модели приводит в конечном счете исследование к некоторому языковому "индивидууму", характеризующемуся минимальной диалектной расщепленностью. В соответствии со вторым взглядом речь идет опять-таки о некотором языковом единстве, обнаруживающем, однако, более или менее далеко зашедший процесс дифференциации диалектов. Наконец, согласно третьей точке зрения, за строящейся компаративистом праязыковой моделью стоит по существу некоторая группа родственных языков, представляющая собой определенную конфигурацию языковой семьи в прошлом.

Первая из перечисленных точек зрения в какой-то степени навязывается исследователю уже самим содержанием унифицирующей по своему характеру процедуры метода сравнительной реконструкции, ориентированной на выявление некоторого общего знаменателя для фактов, представленных в исторически засвидетельствованных языках дифференцированными рефлексамии. Даже в тех случаях, когда реальные языковые соответствия заставляют реконструировать параллельные архетипы, нередко возникает соблазн попытки их исторического совмещения в некотором более раннем состоянии. Еще Л. Блумфилд отмечал в этой связи, что сравнительный метод не допускает возможности существования диалектных различий в праязыке, хотя и отдавал себе отчет в том, что такое представление не очень согласуется с действительностью доступных наблюдению сообществ [Блумфилд, 1968, 346; ср. Hockett, 1964, 486]. Идеей о значительной монолитности праязыковых состояний проникнуты работы таких авторов, как К. Бругманн, А. Мейе, Р. Кент, Дж. Марчанд, В.И. Георгиев и др. В частности, согласно В.И. Георгиеву, "как бы глубоко мы не проникали в прошлое индоевропейских языков, мы не можем обнаружить полной идентичности в слове и грамматической структуре. По этой причине общий язык, который может быть реконструирован, представляет собой единство очень тесно родственных, но не полностью тождественных племенных диалектов" [Georgiev, 1981, 320; также Георгиев, 1958, 241].

Существенно отличная точка зрения, сводящаяся к признанию сильно пересеченного диалектного ландшафта в праязыке, разделяется в работах таких лингвистов, как И.А. Бодуэн де Куртенэ, Э. Герман, Ф. Тводделл, Т. Барроу и др. "Не следует думать, — пишет последний, — что эволюция индоевропейского языка протекала точно так же, как развитие романских языков из латыни, когда различные языки произошли из единого языка, сложившегося в одном городе. В случае же индоевропейского можно утверждать, что такого еди-



ного языка, который можно было бы реконструировать путем сравнения известных языков, не существовало. Можно очень легко, более или менее ad infinitum, приводить ряды слов вроде санскр. pābhi, греч. ὄμφαλός 'пуп', которые хотя и идут непосредственно из доисторического индоевропейского периода и родственны по корню, все же не сводятся к одному оригиналу. Действительно, детальное сравнение показывает, что индоевропейский праязык, который мы можем таким путем восстановить, был уже глубоко расщеплен на ряд отличающихся друг от друга диалектов" [Барроу, 1976, 16].

Наконец, среди представителей третьей точки зрения, сложившейся в языкознании позднее обеих других, можно назвать Н.С. Трубецкого, В. Пизани, Э. Косериу, А.В. Десницкую, Р. Катичича и некоторых других лингвистов. Бросающейся в глаза особенностью последней является учет ею некоторых наблюдений ряда смежных наук гуманитарного цикла (прежде всего — история общества и этнографии), касающихся структур древнего общества. В частности, Р. Катичич полагает, что "единообразие праязыка, против которого приводились археологические, палеоэтнологические, социологические и другие исторические аргументы, вовсе не ингерентно для понятия праязыка. Праязык реализуется исторически в виде множества языков, имеющих некоторые общности и соответствия. Ничто в понятии праязыка не говорит нам о путях возникновения такого множества" [Katičić, 1966, 65]. В подкрепление своего взгляда он приводит следующее рассуждение. "Все современные славянские языки, — отмечает автор, — знают противопоставление одушевленных и неодушевленных субстантивов мужского рода. У первых совпадают формы аккузатива и генитива, у вторых — аккузатива и номинатива. Поскольку соответствующие окончания отвечают друг другу и фонетически, эту флективную модель можно было бы рассматривать как принадлежность общеславянскому праязыку, если бы не имелось свидетельства старославянского языка, где такое различие отсутствует и где все аккузативы совпадают с номинативом. Отсюда устанавливается, что эта модель — параллельное новообразование всех славянских языков. Означает ли это, что славянский праязык был бы ошибочно охарактеризован, если бы не знали старославянского? Безусловно, нет. Поскольку все славянские языки имеют общую ступень развития, которая может быть описана однозначным фрагментом модели флексий. То, что эта модель описывает не один язык, а множество славянских языков, ничего не меняет в том, что она может быть обозначена как славянский праязык" [Ibidem, 66]. Ср. в этой связи также определение подлежащего реконструкции "индоевропейского языка" у В. Пизани как стадии, которую должны были пройти все индоевропейские языки, когда они находились в состоянии взаимодействия друг с другом [Пизани, 1956, 166; ср. Пизани, 1956, 36] (в последней формулировке отражается, впрочем, склонность автора усматривать большую роль в истории языков фактора контактов).

Нельзя не упомянуть некоторую синтезирующую по своему характеру точку зрения В.М. Жирмунского, стремившегося поставить решение этого вопроса на конкретно-историческую почву. Она отражена

в одном из его высказываний, согласно которому наличие для группы родственных идиомов "общей прафазы (или языка-основы) представляет собой вопрос не догмата, а подлежащего историческому решению факта. Иными словами, нам надлежит еще установить, имеем ли мы дело в данном социально-историческом случае с языком-основой или с союзом родственных языков" [Жирмунский, 1971, 3].

Если сопоставить две первых из бегло охарактеризованных выше точек зрения, то будет, очевидно, нетрудно увидеть, что при историческом взгляде на язык они в принципе сводимы к единому представлению, согласно которому за понятием праязыка усматриваются расхождения лишь диалектного масштаба. Так, было бы довольно естественным предполагать, что "первоначально" слабо расчлененный в диалектном отношении язык-основа в более позднюю эпоху, нередко определяемую компаративистами как период "накануне распада" на "языки-потомки", должен был характеризоваться уже далеко зашедшей дифференциацией, что совершенно отчетливо понимал еще К. Бругманн [Brugmann, Delbrück, 1897, 24] (как, однако, справедливо замечает Ч. Хоккет, нет оснований всегда выводить глубокую диалектную расщепленность языка из менее глубокой [ср. Hockett, 1958, 485]). Таким образом, при отсутствии принципиального различия между обеими охарактеризованными точками зрения способ решения поставленного вопроса упирается, казалось бы, в квалификацию степени структурных и материальных расхождений в праязыковом состоянии как диалектных или языковых.

Однако, если стремиться к построению таких праязыковых моделей, которым соответствовала бы некоторая реальность, то приходится признать бесперспективность поисков решения проблемы, исходящих из степени их унифицированности.

Хотя длительную дискуссию о степени единообразия реальных праязыковых состояний трудно считать завершенной, многое из известного в настоящее время о формах существования языка определенно указывает на факт их территориальной и социальной (по крайней мере, начиная с определенной исторической эпохи) дифференцированности. Исторический подход в понимании наиболее общих закономерностей эволюции языка дает основание полагать, что чем глубже лингвистическое исследование проикает в его прошлое, тем более естественным оказывается господство дивергентных процессов над конвергентными, обусловленное первоначально чрезвычайно низким уровнем концентрации общественной жизни (ср. в этой связи получающую в последнее время точку зрения об относительно позднем становлении языковых союзов). Говоря словами В. Пизани, начало диалектной дифференциации праязыка "является нереалистичной грезой исследователей, которые никогда не окидывали взором лингвистический атлас или никогда нисколько не изучали конкретной истории романских языков и диалектов. Мы уже намекали на невозможность того, чтобы в доисторическое время племена, рассеянные по широкой территории..., не имея сколько-нибудь тесных политических, экономических и культурных связей, могли иметь прочное языковое единство" [Pisani, 1949, 259].

Уже в силу общих соображений исторического порядка можно усомниться в правдоподобии того единообразного облика праязыкового состояния, к достижению которого неизменно стремилась компаративистика на ранних этапах использования реконструктивных процедур, и постулировавшегося еще в относительно недавнее время такими крупными исследователями, как Дж. Марчанд, Р. Кент, У. Тводделл и некоторыми другими [ср. Marchand, 1955, 428—433].

Неудовлетворенность такими представлениями и, в частности, их довольно очевидной внутренней связью с концепцией родословного древа уже длительное время ощущалась в лингвистике. На этой почве — иногда даже впечатление об определенной ущербности самого приема сравнительной реконструкции. Так, Л. Блумфилд писал в этой связи следующее: "сравнительный метод — единственный имеющийся у нас метод реконструкции доисторического языка — давал бы точные результаты, если бы речь шла о совершенно однородных языковых коллективах и внезапном, резком их распадении. Но поскольку эти условия никогда полностью не реализуются, нельзя сказать, что сравнительный метод абсолютно правильно отображает процесс исторического развития. В тех случаях, когда реконструкция осуществляется легко..., или при наблюдениях, не столь широких по своему диапазону (как, скажем, при реконструкции романского или германского праязыков), мы имеем точное представление о структурных особенностях языковой праформы. В тех же случаях, когда сравнение преследует весьма широкие цели, охватывая либо значительный промежуток времени, либо обширную территорию, неизбежно обнаруживаются несопоставимые формы или частные схождения, которые никак не согласуются со схемой родословного древа. Сравнительный метод можно было бы применять с полным успехом только при условии монолитности и однородности праязыка..." [Блумфилд, 1968, 350].

Если не отождествлять схемы и формулы, иллюстрирующие процедуру сравнительной реконструкции, с самим методом, то едва ли будет возможным преувеличивать его слабости. Одним из общих мест науки стало признание дифференцированного облика праязыкового состояния, которое подводится под понятие диасистемы [ср. Nehring, 1961; Pulgram, 1964; Adrados, 1968; Dyen, 1969]. Следствие трезвого взгляда на проблему — встречающаяся в наиболее продвинутых отраслях науки практика построения многочисленных архетипов в виде совокупностей параллельных праформ (например, для многих лексем в этимологическом словаре Ю. Покорного).

Неоднократно отмечалось, что иллюзия унифицированного облика праязыковых моделей основана на ограничении исследователя тем материалом, который допускает сведение к общему историческому знаменателю, и при пренебрежении к огромному по своему удельному весу "индетерминированному остатку", не сводящемуся к единым праформам, но способному претендовать если не на исконность, то во всяком случае на глубокую древность (отсюда, между прочим, следует предпочтительность терминов "праиндоевропейский", "прауральский", "пракартвельский" по сравнению с терминами "общеевропейский", "общееуральский", "общекартвельский").

Сказанное должно всецело распространяться и на встречающееся в практике сравнительно-исторических исследований разнообразие продуктов грамматической реконструкции. Так, например, обобщая опыт сравнительного изучения семитских языков, Б.М. Гранде подчеркивал в последней связи, что иногда здесь "исходной оказывается какая-либо одна форма, из которой развились сходные грамматические явления в разных языках, чаще же исходными формами оказывается группа близких между собой форм, сосуществовавших в разных диалектах, или же несколько форм в одном и том же диалекте" [Гранде, 1972, 13].

Иллюзия значительного единообразия праязыковых архетипов сохраняется, как прачило, лишь до тех пор, пока компаративист не задается задачей выявления хронологической стратификации фактов, притягиваемых на раннем этапе сравнительно-исторического исследования языковой семьи к некоторой единой временной плоскости. Нельзя не обратить внимания в этой связи на обычное отсутствие в сравнительных грамматиках стремления к синхронизации продуктов фонологической и лексической реконструкций, на первый взгляд, тесно связанных рамками словесных знаков (действительно, возможность записать ту или иную лексическую единицу праязыка в виде цепочки фонемных сегментов еще очень немного говорит о реальных характеристиках фонем, способных неоднократно изменять свое содержание за весь период функционирования лексемы). Как свидетельствует практика отраслевых компаративистических исследований, по-видимому, не следует преувеличивать в этом плане возможного единообразия и в пределах какой-либо одной из реконструируемых подсистем (фонологической, морфологической и т.д.). Так, например, при всей вероятности более или менее единой эпохи становления в картвельских языках генитива и датива нет уверенности в их одновременном возникновении во всем картвельском ареале. И.А. Бодуэн де Куртенэ четко выражал исследовательскую практику своего времени, когда писал, что "теоретически сконструированные праязыки не могут претендовать на тождество с действительно некогда существовавшими языковыми состояниями: это попросту комплексы общих стадий исторического развития разных сторон языка, которые хронологически могли существовать в разное время. Принятые в сравнительной грамматике общие стадии развития являются как бы проекцией неравномерно движущихся общих особенностей на одну временную плоскость" [Бодуэн де Куртенэ, 1963<sub>1</sub>, 374; 1963<sub>2</sub>, 113]. Весь опыт последующего развития науки продемонстрировал необходимость отказа компаративистики от статического представления праязыка и принятия на вооружение его динамической трактовки. В современной компаративистике все более укрепляет свои позиции точка зрения, согласно которой праязык не может являться чем-либо другим, как некоторой последовательностью языковых состояний в пространственно-временном континууме [ср. Watkins, 1969, 17]. Естественно поэтому, что все более широко распространяется понимание образности понятия праязыкового "состояния", предстающего в разные исторические эпохи в неодинаковом облике. Полемизируя с Р. Холлом, Э. Косериу пишет

следующее: «Упрямо не желая понять, что реконструируются формы, которые могут быть исторически реальными, и идеальные системы, а не исторически реальные языки, то есть неполные системы, которые целиком могут быть отнесены к определенному историческому моменту и к определенному языковому коллективу, Р. Холл [Hall, 1951, 291] называет „упрямцами“ тех, кто, напротив, понимает это. В действительности нет никакой гарантии того, что реконструированные формы существовали исторически одновременно. Кроме того, „реконструировать“ можно только то, что сохраняется в рассматриваемых языках, но не то, что исчезло полностью. Так, не обращаясь далеко за примерами, напомним, что романские языки лишь в минимальной степени позволяют реконструировать латинское склонение и совсем не позволяют реконструировать латинское пассивное спряжение. Точно так же в случае индоевропейского языка реконструируется в действительности не фонетика „общеиндоевропейского“, а „общая фонетика“ индоевропейского, и именно того индоевропейского, который соответствует языкам, привлеченным для реконструкции. Это еще более очевидно по отношению к другим аспектам языка, которые системны в меньшей степени, чем фонетика (например, по отношению к лексике). „Упрямы“ отрицают не возможность реконструкции и не ее методологическое значение в качестве приема исследования, а тот абсурдный смысл, который нередко пытаются приписать ей. Так, они отрицают, что хеттский может быть противопоставлен индоевропейскому, реконструированному без учета тех новых данных, которые дал сам хеттский» [Косериу, 1963, 211; также Тронский, 1953, 34—35].

Не менее острая критика представления о праязыковой реальности как о языковом „индивидууме“ разворачивается в современной компаративистике и по двум другим пунктам. С одной стороны, исследователи задаются вопросом, насколько реалистично допущение, согласно которому генетически изолированный язык, хотя бы и расчлененный на диалекты, может оказаться в истоках языковой семьи. С другой стороны, высказываются самые серьезные сомнения в возможности вообще провести сколько-нибудь строгую демаркационную линию между языком и диалектом для праязыковых эпох.

По-видимому, имеются достаточно объективные факторы, способствующие адекватному ответу на первый вопрос и сводящиеся к некоторым известным закономерностям существования языков, к которым при рассмотрении их „доистории“ рекомендовал обращаться еще И.А. Бодуэн де Куртенэ. При этом прежде всего необходимо напомнить наблюдение Н.С. Трубецкого об обычной групповой представленности родственных языков на лингвистической карте мира. „В настоящее время, — писал он в этой связи еще в 1937 году, — существует много индоевропейских языков и народов (здесь, конечно, несущественно, что понятие „индоевропейский“ автор распространял и на народы — Г.К.). Оглядываясь назад в историческое прошлое, мы замечаем, что так было и раньше, насколько наш взор проникает вглубь веков. Кроме предков современных индоевропейских языков, в древности существовал еще целый ряд других индоевропейских языков, которые вымерли, не оставив потомства. Предполагают, что в

какие-то чрезвычайно отдаленные времена существовал один-единственный индоевропейский язык, так называемый индоевропейский праязык, из которого будто бы развились все исторически засвидетельствованные индоевропейские языки. Предположение это противоречит тому факту, что насколько мы можем проникнуть вглубь веков, мы всегда находим в древности множество индоевропейских языков. Правда, предположение о едином индоевропейском праязыке нельзя признать совсем невозможным" [Трубецкой, 1958, 65] (трудно, однако, согласиться с соображениями автора о возможности конвергентного пути формирования языковой семьи). Нетрудно заметить, что последнее высказывание отражало собой подлинную революцию в теории классической компаративистики, обусловленную последовательным открытием в начале XX в. письменных памятников древних индоевропейских языков, о существовании которых невозможно было догадаться.

В соответствии с воззрениями традиционной компаративистики, в течение длительного времени испытывавшей давление шлейхеровской концепции родословного древа, ожидалось, что с углублением в историю этих языков диалектные различия должны были становиться все менее заметными. Однако дешифровка древнейших хеттских, лувийских, тохарских и греческих текстов поставила исследователей перед неожиданной ситуацией — наряду с выявлением ряда древних индоевропейских языков, характеризовавшихся большей взаимной близостью, чем их современные продолжения, стали известны и не менее древние их представители, отмеченные, напротив, более глубокими взаимными расхождениями и обнаруживавшие к тому же очевидные диалектные различия. В частности, прочтение памятников микенского греческого подтвердило справедливость мнения П. Кречмера о существовании глубоких расхождений между "доисторическими" греческими диалектами, испытывавшими с течением времени все большее нивелирующее воздействие со стороны аттического (значительно позднее В. Винтер высказал предположение, согласно которому классический армянский язык мог быть своего рода койне, сложившимся на базе ранее существовавшей глубокой диалектной вариабельности [Winter, 1966]). Известный индоевропеистике материал итальянских языков не позволяет утверждать, что расхождения между ними были менее существенными, чем между современными романскими. Так, согласно Р. Джефферсу, латинский и оскско-умбрская группа обнаруживают не меньше существенных фонетических и морфологических общностей, чем их имеется между отдельными ингредиентами таких языковых групп как германская, славянская или даже индоиранская [Jeffers, 1973]. "Если мы бросим взгляд на этнографическую и лингвистическую карту Италии около 400 года до н.э., незадолго перед тем, как началась экспансия Рима, покорившая ему все итальянские племена, — отмечал И. М. Тронский, — представится весьма пестрая картина разнообразнейших языков и народностей, стоявших в различной степени языковой близости к римлянам" [Тронский, 1953, 51]. Вместе с тем, нет каких-либо оснований полагать, что сравнительно близкими друг к другу древнеперсидским, авестийским и ведическим языками, оказавшимися благодаря стечению исторических обстоя-

тельств документированными соответствующими памятниками, исчерпывалось все разнообразие состава древних индоиранских языков (ср. в этой связи практику обращения иранистов к фактам современных иранских языков для реконструкции общеиранского состояния [Эдельман, 1982]).

С прогрессом исследования стало несомненным, что в ходе истории оказались утраченными не только отдельные древние индоевропейские языки, но и их целые ветви — например, анатолийская и тохарская, не говоря уже о целом ряде промежуточных звеньев, которые не могли не заполнять вакуума между четко обособленными друг от друга историческими ветвями (бросается в глаза, конечно, и то обстоятельство, что уже для рубежа III и II тысячелетий до н.э. приходится говорить не об общеанатолийском состоянии, а о группе весьма существенно расходившихся друг с другом анатолийских языков, сводимость которых к единому историческому знаменателю и поныне трудно считать общепризнанной [Иванов, 1982, 31]). Резкое расширение эмпирической базы индоевропеистики в XX веке сделало довольно очевидным, что древняя конфигурация языковой семьи могла быть более сложной, и в частности, характеризоваться более отдаленной степенью родства ее ингредиентов, чем ее современное состояние, отражением чего явилась, как известно, "индохеттская" концепция Э. Стертеванта. Впрочем, открытия древних индоевропейских языков, очевидно, и не потребовалось, если бы в компаративистике было учтено давно известное положение исторической диалектологии, согласно которому современный диалектный ландшафт языка нередко бывает (например, в силу действия нивелирующих тенденций развития) менее пересеченным, чем некоторый более ранний.

Необязательность широко распространенного постулата, согласно которому, чем далее углубляется исследование в историю языковой семьи, тем ближе друг к другу должны быть ее ингредиенты, нетрудно продемонстрировать и теоретически. Так, если согласиться с действием именно такой исторической закономерности в развитии каждой группы некоторой языковой семьи, то это, естественно, предполагает элиминацию в реконструируемом для группы состоянии всего того, что связывает ее отдельные ингредиенты скорее с представителями других групп этой семьи, и исследование окажется перед фактом того парадоксального обстоятельства, будто в прошлом между этими группами родственных языков не существовало каких-либо переходных звеньев (ср. высказывание К. Уоткинса, согласно которому общебалтославянское состояние окажется невозможным, если общепольский и общеславянский будут определяться как то, что обособляет балтийские языки от славянских и наоборот [Watkins, 1966, 49]). Должно быть очевидным, однако, что такое положение не согласовалось бы с идеей формирования языковой семьи прежде всего в ходе дивергентного процесса.

Вместе с тем, из реальности лингвистических ландшафтов вытекает и другой, несомненно, не менее существенный вывод, дополняющий отмеченное выше наблюдение. Он заключается в том, что существование генетически изолированных языков, например, баскского, бу-

рушаски, кусунда, юкагирского, нивхского, айну (здесь оставлены в стороне не получившие сколько-нибудь широкого признания гипотезы, увязывающие названные языки с другими языковыми семьями) и других составляет на общем фоне очевидную аномалию. Крайняя немногочисленность подобных языков подчеркивается тем обстоятельством, что в американистической традиции термином *language-isolate* обычно обозначаются языки, образующие самостоятельную подгруппу внутри группы родственных. Поэтому невозможно отказать в адекватности по существу общепринятой в современной лингвистике исторической интерпретации таких фактов, как отражений процесса свертывания, а не развертывания соответствующих языковых семей. Ср., в частности, мнение Э. Сэпира, согласно которому, языки типа баскского, "по всей вероятности, следует считать остатками некогда шире распространенных языковых групп" [Сэпир, 1934, 121; Hubschmid, 1955, 224].

Если оба последних наблюдения адекватны закономерностям глоттогонического процесса, то было бы парадоксальным предположение, будто каждая языковая семья из представленной на современной лингвистической карте мира их совокупности восходит к генетически изолированному языку прошлого, молчаливо ориентирующееся на концепцию родословного древа. По всей вероятности, напротив, генетически изолированные источники языковых семей уже в силу того, что они иллюстрируют собой процесс свертывания последних, могли иметь место лишь в исключительных случаях. В качестве одного из редчайших прецедентов именно такого развития можно упомянуть историю латинского языка, распространившегося первоначально за счет свертывания остальных италийских, а затем и ряда других индоевропейских и неиндоевропейских языков. Необходимо подчеркнуть, вместе с тем, чрезвычайно необычный для сколько-нибудь отдаленного прошлого социолингвистический контекст, обусловивший процесс его филиации, который протекал уже в условиях существования государства: даже об отдаленном подобии этому не приходится говорить при характеристике социально-исторической перспективы подавляющего большинства остальных постулируемых компаративистикой праязыковых состояний (ср. в последней связи известный факт значительно меньшей плотности человеческих популяций прошлого, особенно типичный для ранней истории сапиентного человека и несомненно способствовавший реализации различного рода центробежных тенденций в истории общества).

С другой стороны, становится очевидной неприменимость к праязыковой модели и единственно релевантных в рассматриваемом отношении социолингвистических критериев квантования языкового ландшафта — наличие единого для сопоставленных идиомов литературного языка, коммуникативного взаимопонимания, общего этнического самосознания, действенность которых для позднейших исторических эпох была в свое время доказана Фр. Энгельсом [см. Климов, 1974] (как известно, неизбежная произвольность критериев, основанных на каких-либо собственно лингвистических параметрах, не позволяет однозначно решать проблему "язык или диалект" даже в оптимальных условиях синхронно наблюдаемого континуума родст-



венных идиомов [ср. Naugen, 1964; Леч, 1972; Калнынь, 1976; Эдельман, 1980]).

В соответствии с таким положением вещей Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров справедливо констатировали, что одной из причин «по которой представляется неправомерной постановка вопроса о том, был или не был балтославянский праязык, является неприменимость понятия "язык" по отношению к той эпохе, которую называют балто-славянской. Дело в том, что вопрос о единстве языка не может быть решен без учета внелингвистических факторов, указания на которые в данном случае отсутствуют (наличие полнтических объединений, лингвистическое самосознание говорящих и т.д.)» [Иванов, Топоров, 1958, 5].

Нетрудно заметить, вместе с тем, что с позиций историзма в лингвистике весьма условным становится для столь же отдаленных эпох и понятие диалекта, соотносительное по своей природе с понятием языка, и в определении которого, как показывает практика диалектологических исследований, структурные характеристики также нередко не играют решающей роли (в отечественной традиции неприменимость понятия диалекта к современным идиомам, иллюстрирующим состояние "первобытной лингвистической непрерывности", видел, как известно, еще С. П. Толстов, что побуждало его возвращаться в их обозначении опять-таки к термину "язык". "Перед нами, — писал он, — ... отнюдь не диалекты в современном понимании этого слова, а самостоятельные языки, ибо кроме них никаких других языков не существует, и каждый из них является орудием общения экономически самодовлеющего коллектива" [Толстов, 1950, 18]). Как справедливо подчеркивает в этой связи А. В. Десницкая, хотя Г. Морган и проводил для определенных условий различие между диалектом (применительно к племени) и языком (применительно к союзу племен), вряд ли следует придавать этому терминологическому различию абсолютное значение, поскольку оба понятия не могут быть четко разграничены в подобных условиях [Десницкая, 1972, 168]. Таким образом, для подавляющего большинства праязыковых состояний, в частности, для состояний, проецируемых в эпохи функционирования племенных и родовых языков, естественно говорить исключительно о языках-диалектах (для обозначения последнего понятия М. Алинеи предлагает термин "лингвема" [Alinei, 1978, 27—28]).

Метафоричность широко распространенного в практике компаративистических исследований термина "праязыковый диалект" (ср. словупотребление, характерное для работ по индоевропейской "диалектологии") станет, по-видимому, достаточно очевидной в свете того обстоятельства, что все еще нередко встречается иллюзия о необычайно продолжительных — охватывающих иногда эпохи в два—три и более тысячелетий — периодах в истории праязыкового единства, дальнейшая бурная филиация которых, невообразимая в условиях крепнущего со времен процесса концентрации общественной жизни будто бы приводит за несколько последних тысячелетий к становлению всего совокупного множества языков, образующих языковые семьи современности (так, например, согласно Г. Шевелеву, общеславянское язы-

ковое единство должно было сохраняться в течение почти трех тысячелетий — примерно, с 2000 г. до н.э. до конца I тысячелетия н.э. — прежде чем дать начало исторически засвидетельствованным славянским языкам [Shevelov, 1965; ср. также Martinet, 1975, 113]). В аналогичном контексте И.М. Дьяконов не без оснований подчеркивает невероятность того, чтобы общесемитское состояние просуществовало как единый и нераздельный диалект в продолжении почти четырех тысяч лет с VIII по IV тысячелетие до н.э., к которому обычно приурочивают завершающую стадию общесемитского [Дьяконов, 1975, 128]. Действительно трудно сомневаться в том, что известное положение традиционной лингвистики о перманентном характере дивергентных процессов в истории языковых общностей должно было получать свое оптимальное подтверждение именно на древнейших этапах эволюции человеческого общества. Следует отметить и то, что непонятным образом возникшее убеждение о реальности длительных стационарных состояний праязыков нередко имело своим следствием другую иллюзию — побуждало допускать возможность становления последних на базе различных конвергентных процессов [ср. Трубецкой, 1958, 66—69; Pisani, 1959; Горнунг, 1964; Пизани, 1966], сколько-нибудь существенную роль которых для отдаленного прошлого очень трудно предположить.

Если согласиться с изложенными выше соображениями, то сколько-нибудь далеко отстоящее от современности праязыковое состояние, независимо от степени унифицированности построенной его модели, должно рисоваться в наиболее общем случае в виде некоторого континуума родственных языков-диалектов, характеризующегося как неограниченно расходящимися полярными, так и промежуточными звеньями. При таком представлении этого состояния некоторая часть изоглосс окажется, очевидно, общей для всех звеньев данного континуума, в то время как их другая часть будет соотноситься преимущественно с его маргинальными зонами. Тем самым станут легко объяснимыми источники традиционно постулируемых сравнительными грамматиками разных семей праязыковых "диалектизмов", например, прагерманских или праславянских в рамках индоевропейского [ср. Мейе, 1952, 27] (отсюда, естественно, вытекает и предпочтительность термина "праиндоевропейский" по сравнению с термином "общиндоевропейский").

"То, что мы называем индоевропейским языком, — не без оснований писал в этой связи В. Пизани, — с одной стороны, могло существовать как множество территориальных диалектов, весьма отличных друг от друга, а с другой стороны, должно было существовать в таком виде очень длительный период, в течение которого происходили значительные изменения в языке, охватывавшие то одну, то другую часть диалектов; кроме того, каждое из этих изменений требовало определенного промежутка времени для своего распространения из того пункта, где оно возникло, на более обширную территорию, которая все-таки могла быть лишь частью всей территории индоевропейской языковой общности..." [Пизани, 1966, 165].

Подобная картина праязыковой реальности, по-видимому, согласуется и с действительным распределением изоглосс в тех из совре-

менных областей глоттогонии, где практикуемые обычно диагностические критерии разграничения языка и диалекта оказываются неэффективными (ср., в частности, ситуацию, характерную для папуасоязычного ареала Новой Гвинеи, общее число "языков" которого оценивается разными авторами в промежутке от двухсот до семисот [Wurth, 1976, 168], при отсутствии полной уверенности в их принадлежности к единой семье). Думается поэтому, что известная концепция "первобытной лингвистической непрерывности", сформулированная во второй половине 40-ых годов С. П. Толстовым, не утратила своего значения для современной компаративистики в том смысле, что она строилась с учетом реального исторического контекста функционирования языков прошлого (трудно, однако, последовать за автором в его мнении о том, что такая непрерывность возникает на путях взаимообмена и взаимопроникновения идиомов [ср. Толстов, 1950]).

Учет сказанного, по-видимому, способствовал бы снятию остроты характерных для некоторых отраслей компаративистики дискуссий о путях становления языковых семей, стимулирующих различную оценкой удельного веса дивергентных и конвергентных процессов. Едва ли не классическим примером подобной контраверзы может служить по сей день продолжающаяся в индоевропеистике дискуссия о путях формирования структурных и материальных параллелизмов балтославянских языков, в которой восходящей еще к А. Шлейхеру точке зрения о существовании в прошлом единого балтославянского праязыкового состояния противостоит взгляд, согласно которому эксклюзивные праславянско-прабалтийские связи обусловлены длительными контактами праславян и прабалтов, с самого начала представлявших собой две разных ветви индоевропейских языков (в настоящее время преобладает мнение о том, что факты сходства балтийских и славянских языков не требуют объяснения в духе постулата о едином балтославянском праязыке). Между тем, если исходить из предположения, что исторически балтославянский ареал представлял собой некоторый пространственный континуум языков-диалектов, располагавший как переходной зоной, характеризовавшейся максимумом общностей, так и полярными регионами, обладавшими максимумом несводимых к общему знаменателю расхождений (например, исторически соединявших этот континуум с германским, с одной стороны, с фракийским или каким-либо иным, с другой), то оно удовлетворительно объясняло бы как древнейшие общности, так и древнейшие расхождения балтийских и славянских языков.

Аналогичные представления естественно принять и о характере других состояний, которые А. Мейе называл "промежуточными общими языками". Так, ныне не только по существу оставлен тезис о существовании некогда особого италийско-кельтского единства, но и высказаны самые серьезные сомнения в возможности постуляции даже единого протоиталийского языка-основы. Нечто подобное можно было бы, вероятно, сказать имея в виду яркое высказывание О. Н. Трубачева, согласно которому "первоначальная Славия была не языковым монолитом, а его противоположностью" [Трубачев, 1976, 66; ср. Krahe,

1951, 26]. Ср. также мнение А.В. Десницкой о том, что "различия, составлявшие уже в древности наряду со сходством своеобразие отношений между языками внутри индоевропейской группы, заставляет нас исходить в качестве отправной точки в изучении проблемы индоевропейского лингвистического единства на основе конкретных языковых фактов, от предположения о существовании группы очень близко родственных, но тем не менее самостоятельных языков" [Десницкая, 1955, 309]. Сходные формулировки можно иногда встретить и в работах компаративистов по некоторым неиндоевропейским языкам [ср. Вийтсо, 1982, 4].

По-видимому, в еще большей степени сказанное должно относиться к решению проблемы поэтического или сакрального стиля в праязыковом состоянии. К этому располагает и практика индоевропейистики, где его наиболее отчетливые проявления реконструируются преимущественно по параллелизмам, наблюдаемым между древнегреческой и древнеиндийской традициями, как известно, засвидетельствованными и близкими по своей генетической позиции языками (ср. греч. μέγα κλέος ~ др. инд. máhi śrávaḥ 'великая слава', греч. κλέος ἄφθιτον ~ др.-инд. śtávaḥ áksitam 'слова неувядаемая', греч. ἡλίου κύκλος ~ др.-инд. sūryasya sakráḥ 'солнца колесо'), что еще не составляет безоговорочной аргументации в пользу их праиндоевропейской древности. Если учитывать, что подобные образы встречаются и в некоторых неиндоевропейских культурных традициях (ср., например, груз. mzis tval-i 'солнца колесо'), то их распространение могло быть обязанным и фактору диффузии. Поэтому представляется, что восстановление поэтического стиля в праязыковом состоянии является еще более сложной задачей, чем реконструкция функционально не специализированного праязыкового состояния. Отсюда должны быть понятными самые серьезные сомнения в возможности синхронизации подобных фрагментов в рамках некоторой реально существовавшей системы (особенно — уже на праиндоевропейском уровне), неоднократно высказывавшиеся в литературе. Так в одной из статей, опубликованных по следам известной монографии Р. Шмитта "Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit" (Wiesbaden, 1967), подчеркивалось, что «понятия, представленные в примерах (автора — Г.К.), очень общи и не обладают такими характеристиками, согласно которым их можно было бы с уверенностью отнести к той, а не другой культуре, к той, а не другой этнической среде; лексика и этимология в лучшем случае указывают лишь на очень общее Verwandtschaft, существование которого нельзя отрицать, но которое представляет собой нечто иное, чем "общий поэтический язык"» [Albano-Leoni, 1968, 126—127]. Аналогичной точки зрения придерживаются и такие видные индоевропейцы, как А. Шерер, В. Майд, В. Пизани и другие, подчеркивающие, что поэтический стиль, атрибутируемый праиндоевропейскому состоянию, едва ли возможно реконструировать в виде некоторой единой системы, поскольку он скорее должен был постоянно варьировать во времени и пространстве (и даже мог не исключать случаев его негенетической передачи) [ср. Scherer, 1968; Meid, 1977]. Приведем в этой связи соображения И.М. Тронского. "Еще в 1853 г., —

писал он, — А. Кун сопоставил гомеровское κλέος ἀφθίτον 'непреходящая (дословно: 'негибнущая') слава' с ведийским сочетанием ákṣiti śrávaḥ. Действительно, слова друг другу этимологически соответствуют, значение формул одинаковое. Вместе с тем, при наличии слов 'слава' и 'негибнущее' в обоих языках сочетание их могло возникнуть самостоятельно в каждом языке, и мы не имеем основания постулировать соответствующую формулу на общиндоевропейском уровне, тем более что в других ветвях рефлексы этой предполагаемой формулы не засвидетельствованы. Самое понятие непреходящей славы деяний и деятелей возникает, вероятно, на сравнительно поздней ступени родового общества, так что проецирование в общиндоевропейскую эпоху сопряжено с опасностью модернизации. Верное наблюдение Дармстедера, что греческое τέκτων 'плотник, строитель' так же служит метафорой поэта (Pindar. Pyth. 3, 200), как и индоиранский корень takṣ-, тоже не дает возможности восстановить индоевропейскую формулу для τέκτορες ἑλέων уже по одному тому, что такого сочетания в указанном тексте Пиндара нет. Вообще, — продолжает И.М. Тронский, — ареальная близость греческого и индоиранским, а также к армянскому делает всякие сближения Гомера с Ведами или Авестой в лучшем случае документами не общиндоевропейского, а гораздо более позднего ареального единства. С этой точки зрения, исследования М. Дуранте по истории греческого поэтического языка сравнительно с ведийским заслуживают полного внимания. Но они обнаруживают только некое общее сходства поэтики, не достигающее до формального тождества" [Тронский, 1973, 153].

Следует думать, что в конечном счете именно с перманентным характером процессов языковой дивергенции связано то обстоятельство, что хронологические параметры праязыкового состояния для представителей одной и той же языковой семьи определяются компаративистами далеко не однозначным образом даже в рамках наиболее удовлетворительно разработанных отраслей сравнительной грамматики. Ярким свидетельством такого положения вещей служат, например, резкие расхождения соответствующих датировок, предлагающихся в современной индоевропеистике (здесь мы, естественно, отвлекаемся от большой доли условности любого принципа квантования непрерывного по своему существу процесса языкового развития).

Так, если, согласно точке зрения Б.В. Горнунга, индоевропейская языковая общность еще только складывалась в V—IV тысячелетиях до н.э. [Горнунг, 1964, 41], то, по мнению Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, последняя эпоха соотносится уже с наиболее поздним праиндоевропейским состоянием [Гамкрелидзе, Иванов, 1980]. Значительно глубже в историю проецирует это состояние В. Георгиев, полагающий, что к VII—IV тысячелетиям до н.э. были уже взаимно дифференцированными шесть выделяемых им основных ветвей индоевропейских языков — северная (германо-балто-славяно-тохарская), западная (кельтский, итальянский и ряд более мелких единиц), центральная (греческий, македонский, фригийский, армянский), восточная (дако-мизийский, индоиранский), южная (фракийский и пеласгский) и юго-восточная (хетто-лувийский) [Georgiev, 1981, 358].

Наконец, по стратификации, предложенной Н.Д. Андреевым, раннеиндоевропейский период соотносится с эпохой не позднее XV тысячелетия до н.э. [Андреев, 1978, 39]. Примеры не менее резких расхождений в оценке хронологии праязыковой эпохи нетрудно привести и из некоторых других конкретных отраслей компаративистики. В частности, если, согласно Х. Фогту, вероятная эпоха взаимной дифференциации картвельских языков соотносится с промежутком между VII—IV вв. до н.э. [Vogt, 1961, 10], то автор настоящей работы относит пракартвельское состояние к эпохе не позднее 2-ой половины III тысячелетия до н.э. (ср. ниже главы V и VI); в то же время, по мнению Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванова, общекартвельский язык-основу следует датировать периодом IV—III тысячелетий до н.э. [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, 880].

Целесообразно упомянуть, что совокупный опыт сравнительно-грамматических построений демонстрирует отчетливую тенденцию к последовательному удревнению соответствующих абсолютных датировок с прогрессом исследований. Можно предвидеть, что эта тенденция будет неуклонно продолжаться и с дальнейшим ходом развития компаративистики.

Из изложенных выше соображений относительно характера праязыковой реальности напрашивается и одна рекомендация терминологического порядка: если воздержаться от введения нового для компаративистики термина *лингвема*, то более целесообразно говорить о языках-диалектах (или даже о языках), а не диалектах, стоящих в наиболее общем случае за понятием праязыкового состояния. В противном случае слишком велика опасность оказаться в плену словоупотребления и автоматически возвратиться к представлениям о развитии языковых семей в духе концепции родословного древа.

Завоевывающий себе все большее признание динамический взгляд на праязыковое состояние делает все более популярным в компаративистике различение праязыковых моделей разных порядков. "Одна из наиболее серьезных ошибок, — пишет Х. Бирнбаум, — которую совершают при историко-генетическом изучении языков и, в частности, при реконструкции утраченных праязыков, состоит в том, что язык-основу рассматривают как нечто чисто абстрактное; статичное, не подверженное изменению. Конечно, полезно и даже желательно в первом приближении построить теоретическую систему путем ее проекции, так сказать, на одну временную плоскость, пользуясь имеющимися данными... Такая абстрактная синхронная модель может быть использована в качестве отправной точки при изучении зафиксированного письменностью развития в рамках определенной языковой семьи. Но было бы серьезной ошибкой не сознавать, что самая ранняя теоретически реконструируемая фаза развития определенного языка-предка сама по себе не могла бы являться результатом более или менее длительного развития того же самого праязыка. Другими словами, реконструированный праязык восходит вместе с другими родственными ему ("сестринскими") языками (которые сами могут быть праязыками, лежащими в основе какой-либо другой семьи

близкородственных языков) к определенному "предпраязыку" [Бирнбаум, 1985, 33].

Практика наиболее продвинутых в своей разработке конкретных отраслей сравнительной грамматики уже располагает определенным опытом расслоения понятия праязыка макросемь на отдельные состояния, соотносимые с разными хронологическими плоскостями. Наибольшей популярностью при этом пользуется расщепление единого понятия праязыкового состояния на два, одно из которых соотносится с "наиболее поздним" периодом его бытия (с так называемым периодом накануне распада на самостоятельные языки), а другое — с некоторым значительно более глубоким, а по своему существу с предельно достижимым методами сравнительно-генетического исследования. Оба они определяются таким образом не какими-либо существенными вехами в развитии праязыка, а двумя наиболее доступными исследовательскому контролю состояниями.

Полностью солидаризуясь с правомерностью углубления исследовательской перспективы в историю языковой семьи, согласующегося с упрочением в современной компаративистике динамического взгляда на праязык (ср., в частности, трактовку Э. Бенвенистом праиндоевропейского как хотя и реконструированного состояния, но допускающего дальнейший генетический анализ [Бенвенист, 1955, 26]), необходимо подчеркнуть серьезное различие в степени достоверности обоих соответствующих построений. Если первое из них — традиционно принимавшееся — может быть представлено в виде некоторой совокупности архетипов, полученных посредством реконструктивной процедуры, то второе достигается, как правило, только посредством диахронической интерпретации уже самих архетипов (и лишь в крайне ограниченных случаях — посредством внутренней реконструкции отдельных сохранившихся по языкам следов архаических явлений). Вместе с тем, на значительно более существенные трудности наталкиваются иногда предпринимающиеся опыты более дробной стратификации праязыкового состояния, обусловленные сложностью синхронизации совокупностей реконструированных архетипов.

Должна быть очевидной сугубая условность термина "наиболее позднее праязыковое состояние" или "праязыковое состояние накануне распада", вошедшего в словоупотребление компаративистов еще в период безраздельного господства в науке концепции родословного древа и нередко предполагавшего уже в силу некоторой цепной реакции постановку вопроса и о формировании соответствующей праязыковой общности (нетрудно заметить, что решение последнего вопроса, если оставить в стороне маловероятные конвергентные гипотезы, опять-таки приходится искать в процессах языковой дивергенции).

Несмотря на безусловную справедливость тезиса А. Мейе о том, что реконструкция таких промежуточных состояний разного порядка существенно облегчила бы объяснение истории языковых семей [Мейе, 1954, 22—23], а также на популярность в современной компаративистике точки зрения о возможности доказательства отношений отдаленного родства языков именно через их последовательное вос-

становление, понятие промежуточного праязыка остается теоретически неразработанным и, более того, весьма призрачным. Вследствие этого даже в индоевропеистике нет недостатка в скептических оценках представлений науки о промежуточных этапах развития, предполагающихся между исторически засвидетельствованными языками и праиндоевропейским состоянием. Так, например, В. Мерлингген, говоря об известных конкретных закономерностях в истории индоевропейских языков, сходящихся в праиндоевропейском состоянии, подчеркивает (вероятно, с некоторым преувеличением), что хотя между древнейшими известными состояниями отдельных языков и этим праиндоевропейским лежат иногда тысячелетия, однако нашим представлениям этот промежуток почти ничего не сообщает, и, в частности, мы не видим последовательности этапов языковой истории [Merlinggen, 1959, 143].

Причины такого положения вещей можно увидеть в больших трудностях воссоздания сколько-нибудь целостных исторических этапов языковых изменений. "Без всякого сомнения, это один из самых трудных моментов диахронического исследования, и не случайно, что предлагаемые здесь решения часто вызывают споры. Ведь если сами результаты исторических преобразований, с анализа и сопоставления которых реконструкция начинается, представляют собой наблюдаемые факты, то реконструкция их промежуточных этапов относится к числу чисто гипотетических построений, при создании которых нередко руководствуются логикой, интуицией, а то и просто фантазией" [Чекман, 1979, 200].

Как свидетельствует практика, в настоящее время сравнительно-генетическое исследование уже никоим образом не может довольствоваться постулатией праязыковых состояний, какими они рисовались в соответствии со схемой родословного древа. В виду утверждающегося осознания невозможности сведения фактического многообразия представителей языковой семьи к сколько-нибудь единому историческому знаменателю в современной компаративистике очень четко обозначилась тенденция к элиминации целого ряда ранее предполагавшихся промежуточных праязыковых состояний. Весьма показательно, что эта тенденция прежде всего заявила о себе в индоевропеистике, где вслед за широко распространившимся отказом от признания реальности итало-кельтского языкового единства под серьезными сомнениями оказался балто-славянское, собственно италийское и другие, вплоть до еще недавно представлявшимся незабываемым индоиранского. Формулируя в последней связи методический "принцип минимизации" праязыков, Вяч. Вс. Иванов подчеркивает, в частности: "При очень большой близости каждого из индоевропейских диалектов, входивших в предполагаемые промежуточные образования (соответственно, балтийского праязыка и общеславянского, кельтского, латино-фалисского и оскско-умбрского, месопотамско-арийского, индоарийского, кафирского и общеиранского), представляется чрезвычайно трудным доказать наличие реальных праязыков (а не индоевропейских "диалектных групп", характеризовавшихся определенными пучками нзоглоссы), соответствующих этим классификационным по-



нятиям". [Иванов, 1980, 200]. Ярким выражением этой же тенденции следует считать отказ большинства индоевропейцев от принятия индохеттской концепции Э. Стертеванта, постулирующего "первоначальное разделение" праиндоевропейского состояния на два промежуточных праязыка — общеанатолийское единство и праязык остальных индоевропейских подразделений, аналогию чему не без основания усматривают и в отказе современного афразийского языкознания от устойчиво державшегося в прошлом противопоставления общесемитского состояния всем остальным — так наз. хамитским. Отметим, наконец, в этой связи высокую степень условности самого понятия промежуточного праязыка, поскольку любое праязыковое состояние, в том числе — и "первоначальное", несомненно, имеет своих исторических предшественников.

В силу отмеченных обстоятельств нельзя не согласиться с Э. Пулгрэмом, подчеркивающим, что "протоиндоевропейский, хотя он и стоит в вершине индоевропейского генеалогического древа, фактически является не более начальным (beginning), чем латинский, который оказывается в вершине романского генеалогического древа — поскольку подлинные истоки в языковой истории имеют смысл лишь по отношению к совершенно недостижимому глоттогоническому периоду... Протоиндоевропейский является только точкой или состоянием, в непрерывности, в которую мы помещаем по причинам удобства и определенности произвольные рубежи" [Pulgram, 1959, 425; ср. также Nehring, 1961, 361—362; Otrębski, 1963, 9]. Должно быть очевидным, что приведенная цитата по существу представляет собой конкретизацию более общего высказывания Ф. де Соссюра, согласно которому, "достаточно самого простого рассуждения, чтобы убедиться в том, что нет языка, которому можно было бы приписать возраст, ибо любой момент является не более как продолжением состояния, существовавшего до него" [де Соссюр, 1977, 252]. Таким образом, скорее следует признать адекватность точки зрения компаративистов, относящих истоки ныне существующих языковых семей еще к эпохе возникновения сапиентного человека. Ср., в частности, допущение Б.В. Горнунга и некоторых других индоевропейцев, согласно которому какая-то "основа" индоевропейского языкового строя (скорее, вероятно, следовало сказать — языкового материала — Г.К.) могла существовать уже у самых ранних представителей Homo sapiens [Горнунг, 1964, 7; ср. Georgiev, 1965, 216]. Если подтвердится мнение Д. Дэчи, полагающего, что начало формирования языковых семей должно относиться все же к несколько более позднему времени [Děcsy, 1977, 11] (последний взгляд оказывается как будто в соответствии с известным тезисом современной этнографии о длительности так называемого доэтнического этапа развития человечества), то эта точка зрения потребует некоторой коррекции.

Нередко временной разрыв, существующий между "исходным" праязыковым состоянием, с одной стороны, и исторически засвидетельствованными представителями языковой семьи, с другой, удастся сократить за счет обращения к понятию промежуточных праязыков. Число последних определяется реальными возможностями контро-

ля за некоторыми этапами истории языковой семьи, и прежде всего — особенностями ее внутреннего членения в зависимости от степени родства входящих в нее языков (ср. предложенное, по-видимому, еще П.В. Шмидтом разграничение так называемых примарных, секундарных, тернарных и др. праязыков [Schmidt, 1924, 50]). Например, при сравнительно-историческом изучении картвельских языков, на которых удобно — в силу их немногочисленности и достаточно очевидной степени взаимной генетической близости — моделировать подобные диахронические отношения, напрашивается разграничение праязыковых моделей двух основных хронологических уровней: на уровне некоторого более глубокого порядка постулируется пракартвельское состояние, а на уровне более близкого порядка общее грузинско-занское состояние (занская ветвь этих языков нередко рассматривается в специальной литературе в качестве единого языка и в плане синхронии) должно быть противопоставлено сванскому, или точнее прасванскому состоянию. Именно такое понимание истории картвельских языков и отражается известной схемой их дифференциации, выдвинутой еще в 1930 году немецким кавказоведом Г. Деетерсом и завоевавшей к настоящему времени широкое мировое признание [Deeters, 1930, 2; Гамкрелидзе, Мачавариани, 1965, 6 и 16—17; Климов, 1986, 57]. (см. рис. 4)

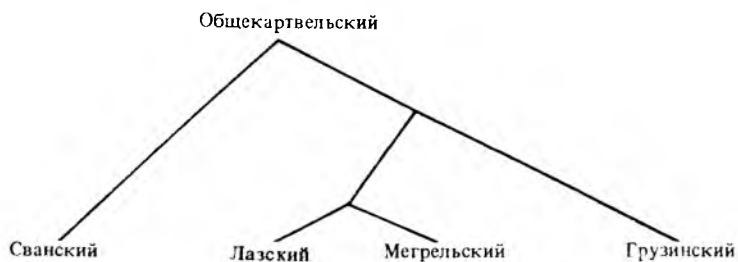


Рис. 4

Нельзя не признать, однако, что при всей своей правдоподобности, поддерживаемой широким набором разноуровневых диагностических признаков (ср. ниже главу VI), эта схема — как, впрочем, и любая другая — несколько огрубляет реальную историческую картину, поскольку логическая стройность грузинско-занского состояния нарушается теми явлениями, которые оказываются общими у сванского языка только с одним из занских или с грузинским.

## МЕТОДЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

В практике современной компартивистики в зависимости от характера анализируемого материала обычно принято различать три метода лингвистической реконструкции — внешнюю или "сравнительную" реконструкцию, внутреннюю реконструкцию и так называемый филологический метод, — к которым без труда сводится все констатируемое отдельными исследователями более широкое разнообразие методов [ср., например, Vonfante, 1945<sub>1</sub>; 1945<sub>2</sub>, 144]. Первый из них основывается на сравнении фактической данности нескольких языковых или диалектных систем (как известно, различие диалектных систем в некотором абсолютном измерении может превышать расхождение языковых), второй базируется на сравнении фактов некоторой единой языковой или диалектной системы, а третий опирается на показания письменных памятников языка или диалекта. В работах эмпирического плана во многих случаях руководствуются менее строгим пониманием обоих первых методов как операций, соответственно выходящей и не выходящей за пределы материала одного языка.

Все названные методы обнаруживают значительное внутреннее единство. В принципе все они должны быть охарактеризованы как сравнительные, поскольку для получения выводов диахронического порядка они неизменно обращаются к сравнению генетически сопоставимых в плане выражения и плане содержания явлений. Несмотря на принимавшиеся в прошлом ограничения в сфере применения метода внутренней реконструкции (поскольку ранее он связывался преимущественно с изучением морфофонологических закономерностей, наблюдавшихся в родственных морфах, А.И. Смирницкий и некоторые другие исследователи квалифицировали этот метод как "фономорфологический анализ"), все они в равной степени применимы к элементам всех уровней языковой структуры [ср., например, Boretzky, 1975]. Наконец, в силу своей ретроспективной обращенности все они могут быть охарактеризованы как "прямые" (в противоположность методу "обратной" реконструкции, о котором см. ниже).

Значительно более далеко заходит параллелизм методов внешней и внутренней реконструкций, поскольку в отличие от филологического метода, строящего свои архетипы посредством некоторой интерпретации элементов письменного текста, они имеют очевидные дистрибутивные основания. Надо учесть в целом чрезвычайно ограниченный удельный вес использования филологического метода реконструкции, а также то обстоятельство, что онтологические характеристики стоящих за письменными текстами языковых явлений в подавляющем большинстве случаев нуждаются в истолковании путем привлечения опять-таки данных современного языкового состояния; его относительно скромное место в сравнительно-генетических исследованиях достаточно очевидно.

Наиболее существенное различие между методами внешней ("срав-

нительной") и внутренней реконструкции, по-видимому, заключается в их обращении к контрастно различным элементам языковой структуры. Если первый опирается исключительно на системные свойства и тенденции последней, то второй — преимущественно на асистемные ("аномальные") явления [ср. Chafe, 1959; Michelena, 1963, 39—41; Anttila, 1968]. В то же время специфика "филологического" метода состоит не только в характере анализируемого материала, но и в отношении к рассматриваемым компаративистом языковым системам. В одних случаях его применение ограничено рамками линейно единой языковой традиции, в другом — если письменные памятники отражают непрямого предшественника современной системы (ср., например, именно такое отношение языка Авесты к современным ингредиентам восточноиранской языковой ветви или элементы вообще генетически иной традиции) — объектом его применения оказывается некоторая иная система.

Методика внешней ("сравнительной") реконструкции, пользовавшаяся в истории компаративистики наиболее широкой популярностью, сводится к поуровневому сопоставлению генетически тождественного материала родственных языков с целью выведения на основе постулируемых закономерностей развития некоторого архетипа [Ноепигсвальд, 1960, 119—143; Lehmann, 1962, 63—106].

В отличие от весьма разнотипной суммы приемов внутренней реконструкции она характеризуется значительным единообразием. В своей типовой схеме процедура внешней реконструкции предусматривает следующие шаги: а) сопоставление сходных (или совпадающих) по материалу и семантике единиц, б) определение системных корреспонденций в их материале, в) установление хронологического соотношения в форме и семантике сопоставляемых единиц и г) выведение исходного архетипа.

Например, в процессе реконструкции архетипа таких материально и семантически близких лексем как груз. *m̄c̄eg-i* 'насекомое', мегр. *ṣ̄apz-i*, лаз. *m̄ṣ̄az̄-i* 'муха', сван. *m̄ḡ-* 'насекомое' отмечаются системные фонологические корреспонденции груз. *ṣ̄* ~ мегр., лаз. *ṣ̄* ~ сван. ноль звука (в позиции не перед историческим сонантом); груз. *e* ~ мегр., лаз. *a* ~ сван. *e*; груз. *g* ~ мегр., лаз. *ḡ* (в положении перед *i*) ~ сван. *g*. Вместе с тем, диахроническая фонология картвельских языков устанавливает процессы выпадения *m* в начальном консонатном комплексе в мегрельском, компенсаторного удлинения гласного в сванском при утрате соседнего согласного, перехода *g* > *ḡ* в позиции перед *i* в обоих заисских языках, развитие "неорганического" *n* перед *ḡ* в мегрельском, а также факт хронологического предшествования *ṣ̄* для соответствия груз. *ṣ̄* ~ мегр., лаз. *ṣ̄* и предшествования *e* для соответствия груз., сван. *e* ~ мегр., лаз. *a*. На конец, если принять во внимание большую взаимную близость грузинского и обоих заисских языков, то семантический прототип должен здесь скорее реконструироваться как 'насекомое'. В конечном итоге пракартвельский архетип сопоставленных слов приобретает вид \**m̄c̄eg-* 'насекомое'.

При нередкой на практике невозможности привлечения к конкретной реконструктивной процедуре материала всех ингредиентов языко-

вой семьи существенно опереться на данные членов ее разных групп. В противном случае не будет гарантии в сколько-нибудь значительной хронологической перспективе строящегося архетипа. Напомним, что именно поэтому неоднократно объектом критики служило признание А. Мейе в том, что в разработке сравнительной грамматики индоевропейских языков он принимал во внимание "только типы, установленные согласным свидетельством по крайней мере двух языков" [Мейе, 1938, 263]. Если учесть вместе с тем, что такими языками очень часто были греческий и древнеиндийский, т.е., как это отчетливо видел и сам А. Мейе, представители одной и той же так называемой греко-арийской ветви индоевропейских языков, то станет очевидным, что хронологическая перспектива подобных реконструкций может оказаться относительно неглубокой.

В качестве особой разновидности внешней реконструкции иногда рассматривается так называемая обратная реконструкция (*inverted reconstruction*). Сущность ее заключается в том, что для построения архетипов единиц той или иной подгруппы родственных языков привлекаются "свидетельства" праязыковых архетипов некоторого более глубокого порядка, представляющих более раннее состояние. Процедура находит свое применение почти исключительно в индоевропеистике, отличающейся широким набором построенных праязыковых архетипов. Так, реконструкция протогерманских или протоиранских архетипов нередко выполняется не только на материале соответствующих исторически засвидетельствованных языков, но и на базе уже сложившихся в науке представлений о наиболее позднем праиндоевропейском состоянии (в частности, отмечают, что в традициях иранистики метод обратной реконструкции играет столь же существенную роль, как и метод внешней реконструкции [Эдельман, 1986, 12]). Нетрудно убедиться, что ввиду чисто ретроспективной направленности сравнительно-генетического исследования едва ли не во всех частных отраслях компаративистики его более широкое применение может оказаться лишь некоторой программой на будущее. Следует учитывать, впрочем, и то обстоятельство, что в целом ряде случаев обратная реконструкция способна играть только временную роль, пока на ее смену не приходят разновидности прямой.

Исходной предпосылкой обращения к методу внутренней реконструкции служит факт обычного сосуществования в синхронно засвидетельствованной языковой системе, например, в составе единой словоизменительной парадигмы, некоторых несистемных явлений, отражающих прошедшие этапы ее истории. Поскольку первоначально метод внутренней реконструкции связывался обычно лишь с анализом морфонологических закономерностей, наблюдаемых в родственных морфах, то он иногда квалифицировался как "фономорфологический анализ" [Смирницкий, 1952, 13—14]. Однако, как это убедительно продемонстрировала исследовательская практика последующих лет, он в принципе столь же применим к фактам любого уровня языковой структуры (так, согласно обобщенной формулировке Н. Борецки, в ходе процедуры внутренней реконструкции на основе сравнения некоторых аллоформ исследователь приходит — в соответствии

с законами фонетической вероятности — к непосредственно предшествовавшей им единой праформе [Boretzky, 1975, 56—57]).

Строго говоря, этот метод не сводим к единой технике, подобной механизму внешней реконструкции, и охватывает по существу некоторую совокупность различных по своему характеру методик, группирующихся вокруг двух основных — методики системного восстановления отсутствующих, но ожидавшихся бы по тем или иным соображениям звеньев языковой структуры (впрочем, часть компаративистов не принимает ее, утверждая, в частности, что в данном случае в распоряжении исследователя нет необходимого для реконструкции материального субстрата [ср. Boretzky, 1975, 50]), а также методики анализа пережитков. Наконец, в случае если некоторые из родственных языков являются прямыми продолжениями системы, зафиксированной ранней письменной традицией, сюда может быть отнесена в некотором смысле и соответствующая разновидность филологического метода реконструкции.

Так, наличие в фонологической системе современного грузинского языка дефектной, по сравнению с остальными сериями смычных согласных, их увулярной серии (в отличие от других серий консонантов, представленных звонким, глухим придыхательным и смычногортанным членами оппозиции, она включает в настоящее время только смычногортанный  $q$ ), равно как и историческая засвидетельствованность фонетического процесса спирализации ее придыхательного члена  $q > x$ , приводят к реконструкции для некоторого праязыкового состояния полной тернарной серии увулярных смычных в составе  $g \sim q \sim q$ . На то же указывает и аналогичная дефектная серия  $q \sim q$  в сванском языке (сведения о пережиточном функционировании здесь и соответствующего звонкого коррелята не подтвердились).

Как показывает приведенный пример, хронологическая приуроченность восстанавливаемых посредством внутренней реконструкции явлений остается неизвестной и может оказаться реально ощутимой величиной лишь в свете данных, полученных на базе обращения к другим методам реконструкции. Вообще, по-видимому, можно согласиться с мнением, что результаты сравнительной реконструкции менее абстрактны и больше говорят о поверхностной структуре реконструируемого праязыка, чем результаты внутренней реконструкции, а также занимают более определенное положение на временной шкале языкового развития [Korhonen, 1974, 121] (в последнем обстоятельстве кроются вместе с тем возможности выполнения посредством метода внутренней реконструкции чрезвычайно глубоких во временном отношении восстановлений).

Так как с возрастанием времени, отделяющего засвидетельствованные языки от праязыкового состояния, множество исконных единиц, сохраняющихся лишь в отдельных из них, удельный вес использования метода внутренней реконструкции увеличивается с углублением реальной хронологической перспективы исследования. Наиболее достоверные результаты приносит компаративистике его применение к известным исчерпывающим образом языкам (о методе внутренней реконструкции см. [Hoenigswald, 1943—1944, 76—87; Marchand, 1956,

Соотносительное место методов внешней и внутренней реконструкции может быть обобщено в виде следующих, предложенных Г. Фогтом, формул, которые выражают совокупность взаимоотношений материала некоторого праязыка  $L$  и его наследия в двух его языках-потомках  $l_1$  и  $l_2$ :

$$L = A + V' + V'' + C$$

$$l_1 = a_1 + b_1 + \dots + d_1$$

$$l_2 = a_2 - b_2 + \dots + d_2$$

Здесь  $A$  есть отображение множества  $a_1$  единиц языка  $l_1$  и множества  $a_2$  генетически тождественных единиц языка  $l_2$ ,  $V'$  — отображение множества  $b_1$  исконных единиц языка  $l_1$ , не имеющих соответствий в языке  $l_2$ ,  $V''$  — отображение множества  $b_2$  исконных единиц языка  $l_2$ , не находящихся соответствий в языке  $l_1$ , а  $C$  — остающееся без определения множества единиц, не засвидетельствованных в языках  $l_1$  и  $l_2$ ; вместе с тем  $d_1$  и  $d_2$  суть множества новообразований и заимствований, специфических соответственно для языков  $l_1$  и  $l_2$ . Множество  $A$  строится посредством внешней реконструкции элементов  $a_1$  и  $a_2$ . Множества  $V'$  и  $V''$  выводятся на базе внутренней реконструкции фактов  $b_1$  и  $b_2$  (обычно по крайней мере часть единиц из числа  $a_1$  и  $a_2$  может быть спроецирована в праязык и на основе внутренней реконструкции). При вовлечении в сравнение третьего языка  $l_3$  естественно ожидать наличия в нем аналогичных имеющихся в названных языках множеств  $a_3$ ,  $b_3$  (таким образом, в ряду  $L$  за счет сокращения объема  $C$  появляется множество  $V'''$ ) и  $d_3$ , а также какой-то части элементов, повторяющихся в  $b_1$  и  $b_2$  и расширяющих место внешней реконструкции [Vogt, 1955, 127; Иванов, 1958, 67—68].

Новая разновидность методики внутренней реконструкции может быть, по-видимому, построена на базе генеративного подхода к языку. В основе такой возможности лежит наблюдение, согласно которому некоторые правила порождающей модели языка отражают имевшие место в его прошлом процессы (в частности, морфофонемные "правила переписывания", посредством которых получаемые в итоге предшествующих этапов процедуры морфемные цепочки преобразуются в последовательности фонем, способны отражать конкретные фонологические процессы прошлого). Т.В. Гамкрелидзе отмечает в этой связи, что "описание диахронических процессов языка с помощью правил переписывания значимо не только как пример, иллюстрирующий переход с одного метаязыка... на другой...: такое описание имеет особое значение для установления и уточнения самой природы излагаемых закономерностей" [Гамкрелидзе, 1968, 29].

Наиболее ограниченными оказываются перспективы применения так называемого филологического метода реконструкции, сводящегося к анализу письменных текстов на языках данной семьи с целью обнаружения прототипов позднейших языковых форм. Он позволяет либо в целом находить эти прототипы, либо выявлять их материальную или семантическую сторону (о филологическом методе см. [Мейе,

1954, 15—18]). Практически его использование исключено для огромного большинства языковых семей мира, и даже там, где этот метод находит себе применение, ввиду обычно ограниченной хронологической глубины памятников он чаще служит историку языка, а не компаративисту. Если этот прием не выходит за рамки генетически единой линии языкового развития (как это, например, имеет место при сравнении современного итальянского языка с латинским), то, по-видимому, имеются некоторые основания рассматривать его как разновидность методики внутренней реконструкции.

И все же, в тех случаях, когда филологический метод может быть использован, особенно — при наличии разновременных и, в том числе, достаточно древних письменных памятников, он способен самым существенным образом обогащать перспективы сравнительно-генетического исследования, позволяя, в частности, довольно определенно хронологизовать и локализовать находимые архетипы. Так, хорошо известно, что если бы разновременные памятники латинского языка не были обнаружены, романстика никогда не была бы в состоянии реконструировать с такой исчерпывающей полнотой язык-основу романских языков (как это видел уже А. Мейе, сравнение только исторически засвидетельствованных романских языков приводит к реконструкции очень позднего латинского состояния, в значительной степени уже лишённого первоначального богатства морфологической системы латыни). Для разных групп индоиранских языков в этом плане очень много даёт анализ текстов, записанных на санскрите, древнеперсидском и авестийском языках.

В гораздо более общем случае филологический анализ текстов позволяет не столько реконструировать, сколько контролировать тенденции языкового развития и расширять объём материала, вовлекаемого в дальнейшем в сферу внешней или внутренней реконструкции. В частности, изучение памятников грузинской письменности даёт возможность последовательно проследить историю грузинского языка, начиная с V в. н.э., и зафиксировать целый ряд явлений (более строгая система морфонологических чередований в глагольном корне, тмезис, следы различения категории инклюзива ~ эксклюзива и архаический облик некоторых личных показателей в глаголе и т.п.), не известных из современных грузинских диалектов, но большая ценность которых для сравнительной грамматики картвельских языков была уже неоднократно продемонстрирована в специальной литературе. Если учесть, что первая фрагментарная документация нахско-дагестанских языков восходит в большинстве случаев к позднему средневековью, то нетрудно увидеть, какое значение имела бы для нахско-дагестанского языкознания дешифровка памятников агванского ("кавказско-албанского") письма, относящихся к VI—VIII столетиям и отражающих, как принято считать, древнее состояние удинского языка.

Как известно, существовал ряд языков, особенно — среди древневосточных, засвидетельствованных исключительно письменными памятниками. При вовлечении их материала в сравнительно-генетические исследования необходимо учитывать то подчеркнутое ещё И.А. Бодуэном де Куртэне обстоятельство, что содержащиеся в них



тексты еще не являются готовым к анализу корпусом высказываний, а представляют собой, скорее, символизацию этих высказываний, закодированных в терминах некоторой системы письма, составляя, таким образом, последовательность формул, нуждающихся в предварительной лингвистической интерпретации. О трудностях на этом пути, даже, казалось бы, в оптимальных условиях алфавитной системы записи, отчетливо свидетельствуют многочисленные дискусионные вопросы орфографии старописьменных памятников, адекватное решение которых требует не только глубокого знания лежащей в ее основе графической системы, но нередко и обращения к данным современной диалектологии. Согласно справедливой оценке А. Мейе, "при условии критического истолкования, эти памятники дают немало, что нередко позволяет получить точную картину состояния древних языков на определенных этапах их развития. Однако такое изучение дает возможность определить состояние языка лишь в известный момент и в известных условиях. Исследование текстов — это суррогат непосредственного наблюдения, которым приходится пользоваться, когда последнее невозможно" [Мейе, 1954, 15]. (Ср., например, довольно многочисленные особенности графики греческой крито-микенской письменности, нивелирующие конец слова и затемняющие особенности морфологии языка памятников).

Не приходится сомневаться, вместе с тем, что и в подобных условиях работы компаративиста успехи сравнительно-генетического исследования оказываются так или иначе связанными с приемами внешней и внутренней реконструкции. Подтверждением этому может служить возникновение таких отраслей индоевропеистики как анатолийское (хетто-лувийское) и тохарское языкознание. Интересны в этом плане и существующие опыты реконструкции в области сравнительной грамматики хурритско-урартских языков [ср. Diakonoff, 1971], где лишь в очень редких случаях имеется возможность трактовки хурритских форм в качестве прототипа соответствующих урартских [ср. Дьяконов, 1967, 124—157].

Целесообразно упомянуть, наконец, еще одну разновидность реконструкции, довольно давно используемую компаративистами и заключающуюся в экстраполяции результатов изучения одной или нескольких языковых систем для приобретения знаний о некоторой другой, не обязательно родственной (и, таким образом, способную выходить за рамки сравнительно-генетического исследования). При этом практикуемая процедура обычно направляется на реконструкцию элементов какого-либо малоизвестного языка, сводясь к фиксации его вероятных вкраплений в другие языковые системы. Естественно, подобная процедура имеет большие перспективы в случае наличия письменной традиции у последних, т.е. в случае возможности обращения к филологическому методу. Действие этого приема может быть проиллюстрировано опытом реконструкции отдельных лексических элементов урартского языка по их предполагаемым историческим отражениям в армянском и картвельских языках. Так, например, при наличии пракартвельских \*š(i)wid- 'семь' и \*arwa- (в нотации Г.В. Гамкрелидзе и Г.И. Мачавариани — \*gwa-) 'восемь', корреспондирующих

с северносемитскими *šibitu* 'семь' и *arba'u* 'четыре', естественно предположить существование аналогичных форм этих числительных и в некоторых из исторически смежных азианических языков ареала, и, в частности, в хурритско-урартских, игравших в древности роль некоторого связующего звена между семитскими и картвельскими языками (действительно, во всяком случае в хурритской письменной традиции засвидетельствованы формы *šitta*, *šinda* 'семь').

В индоевропейской компаративистике уже получили определенное распространение опыты реконструкции элементов ряда фактически исчезнувших звеньев индоевропейской языковой области по их спорадическим вкраплениям в материале контактировавших с ними исторически засвидетельствованных языков [Georgiev, 1941; Merlingen, 1955; Neubeck, 1961; Reichenkron, 1966]. В своем этимологическом аспекте такие исследования сводятся к поискам в словаре того или иного индоевропейского языка вероятных отложений родственной языковой системы по нехарактерной для этого языка рефлексации праиндоевропейских фонем (иногда поддерживаемым данными собраний глосс). В плане отражения результатов подобного исследования можно указать на успехи, достигнутые в установлении индоевропейской принадлежности так называемого пеласгского языка древних Балкан [Гиндин, 1971].

История языкознания продемонстрировала ущербность попыток строить сравнительно-генетическое исследование за счет применения какого-либо одного из этих приемов. Тем не менее, едва ли можно сомневаться в том, что центральную роль при разработке сравнительной грамматики группы родственных языков играет метод внешней реконструкции, в то время как оба других метода имеют по преимуществу вспомогательное значение. Необходимо подчеркнуть, однако, что соотношение удельного веса внешней и внутренней реконструкции обнаруживает несомненную тенденцию к некоторому изменению. Последнее проявляется в существенном повышении роли внутренней реконструкции, связанной с успехами, достигнутыми в изучении истории отдельных языков, вследствие чего в настоящее время именно ее свидетельства все чаще оказываются для компаративиста решающими.

Так, пракартвельский архетип \**çiqrta*- 'локоть', выведенный первоначально на основе сопоставления груз. *çqrta*-, мегр. *çqirta*- и сван *çitx*-, пришлось заменить праформой \**çiqtxa*- после того, как было установлено, что анлаутный согласный сванского продолжения слова не подвергался спирализации только в позиции перед историческим сонантом [Гамкрелидзе, 1968, 10]; в то же время другое внутриязыковое свидетельство в пользу последней было обнаружено в виде производного от соответствующей праформы груз. *çitxl*- 'косяк (окна, двери)'. В индоевропейистике в этом отношении особенно показательна практика реконструкции серии ларингальных согласных на базе изучения их предполагаемых рефлексов в отдельных исторически засвидетельствованных языках [ср. Winter (ed.), 1965]. Остающаяся сравнительно ограниченной сфера применения филологического метода реконструкции уже была отмечена выше.

В целом наиболее исчерпывающее представление исторической картины развития родственных языков возникает в условиях органического взаимодействия всех трех основных методов реконструкции. Так, например, опирающаяся на определенные структурные соображения внутренняя реконструкция увулярного согласного *q*, отсутствующего в современном грузинском литературном языке (ср. отмечавшуюся выше дефектность обычной для грузинских смычных консонантов системы противопоставлений в увулярной серии, где ныне налицо лишь абруптивный член *q*), получает себе очевидную поддержку не только в языке древнегрузинских письменных памятников V—XI вв. и в отдельных грузинских диалектах, где он сохраняется. Она подтверждается также фактами других картвельских языков: ср. наличие согласной фонемы *q* в сванском, где последняя сохраняется как в исконном материале, так и в старых лексических заимствованиях из ныне утратившего эту фонему мегрельского (ср. сван. *oqwate* 'церковь' при совр. мегр. *oxwate*). Наконец, нелишне заметить, что этот согласный засвидетельствован и в целом ряде грузинизмов бацбийского языка (ср. *wepaq* 'виноградник', *qetq* 'уловка', *qoqob* 'фазаи и др.).

В компаративистике нередко высказывается точка зрения о необходимости придерживаться определенной последовательности в применении охарактеризованных методов, предполагающей завершение ступени внутренней реконструкции до обращения к внешней [ср. Chafe, 1959, 495; также Семереньи, 1980, 21—22]. При этом, в частности, указывается на лучшую сопоставимость более ранних форм языка с их соответствиями в других родственных языках. Однако, в исследовательской практике сплошь и рядом встречается параллельное обращение к обоим методам. Необходимо иметь в виду также, что иногда архетипы, достижимые посредством метода внутренней реконструкции — особенно в случае рассмотрения данных какого-либо архаического представителя языковой семьи — оказываются более архаичными, чем архетипы, выводимые на базе процедуры внешней реконструкции.

Возможность реконструкции отдельных элементов того или иного языкового уровня создает предпосылки для реконструкции всех подсистем языка: фонологической, грамматической, лексической (в той мере, в какой это возможно). Перспективы соответствующей реконструкции варьируют от уровня к уровню, с одной стороны, и в зависимости от того, является ли ее объектом парадигматический или синтагматический аспект подсистемы, — с другой. Как свидетельствует исследовательская практика, эти перспективы наиболее широки в области фонологии и морфологии, характеризующихся, как известно, более или менее ограниченными наборами единиц, вступающих, к тому же, в тесные взаимосвязи. Парадигматический аспект морфологической подсистемы сложнее реконструировать, чем тот же аспект фонологической вследствие несколько менее очевидных системных соотношений, наблюдаемых в самой эмпирической базе реконструкции. Несмотря на принципиальное единообразие процедуры, реконструкция внутриуровневых синтагматических отношений всегда оказывается сложнее реконструкции парадигматики, поскольку к трудностям по-

следней здесь присоединяется фактор "изнашивания" текста в процессе языковой эволюции. Вследствие этого реконструкции в сфере синтагматики до последнего времени фактически не только не предусматривались в программе сравнительно-генетического исследования, но иногда — особенно по отношению к лексическому уровню — даже ставились под сомнение. Относительно менее сложна синтагматическая реконструкция в области фонологии и морфологии. Так, в сфере фонологии в качестве некоторых минимальных текстов выступают уже фонемные последовательности в составе морфов: на анализе фонологической структуры последних основывается установление так называемого канонического типа морфемы в языках той или иной семьи. Значительно менее определенными представляются перспективы синтагматической реконструкции в области синтаксиса и лексики, что объясняется отсутствием в достаточном объеме — особенно при сравнении неблизкородственных языков — связных текстов идентичного материального наполнения.

Отправной точкой в реконструкции праязыковой фонологической системы служит фиксация межъязыковых звукосоответствий. Предположительное для нее множество исходных фонем определяется на первом этапе по числу формул выявленных фонологических корреспонденций. В дальнейшем это множество подлежит сокращению за счет установления позиционных условий возникновения некоторых из них. Например, такие два ряда звукосоответствий, засвидетельствованные в исходе общекартвельских именных основ, как груз.  $l \sim$  мегр., лазск.  $g \sim$  сван.  $\xi$ ; груз.  $l \sim$  мегр., лазск.  $(V)g \sim$  сван.  $w$ ; сводимы к единой сонантической фонеме праязыка \* $l$ , позиционно выступающей в виде неслогового и слогового аллофонов. К неслоговому аллофону этой же фонемы восходит и третий ряд фонологических корреспонденций, образуемый груз.  $l \sim$  мегр., лазск.  $l \sim$  сван.  $l$ , фиксируемый для позиции начала и середины слова [см. Гамкрелидзе, Мачавариани, 1965, 74—83]. "В работе компаративиста, — пишет Г. Хёнигсвальд, — совокупность (фонологических — Г.К.) соответствий играет роль позиционно обусловленных аллофонов. Коротко говоря, когда мы используем реконструктивный метод, мы на деле описываем фонемную систему праязыка — на базе, конечно, не протокольно точной фонетической записи, а результатов фонетических изменений, происшедших в дочерних языках" [Hoenigswald, 1950, 363—364].

Фонетическая реконструкция приводит к построению фонетической структуры архетипов (праформ) и в конечном счете к построению фонологической системы праязыка. Еще в недавнем прошлом в компаративистике было довольно широко распространено мнение, что используемая при этом процедура в принципе не содержит никакой информации об акустической стороне реконструированных единиц, а лишь устанавливает их общее число и тождество фонем в реконструированных архетипах как тождество повторяющихся единиц. Хотя тезис о нефонематическом характере архетипов не означает неправомерности предположений об их фонетическом субстрате, нередко высказывалась точка зрения о нецелесообразности фонетической интерпретации архетипов. "Чтобы познать звуковые единицы языка, —

подчеркивал в этой связи Ф. де Соссюр, — нет необходимости характеризовать их положительные качества, достаточно рассмотреть их как дифференциальные величины, сущность которых состоит в том, чтобы не смешиваться друг с другом... Это до такой степени существенно, что звуковые элементы восстанавливаемого языка можно было бы обозначить при помощи цифр или каких-либо других условных значков. В \* $\check{e}k_1w\check{o}s$  бесполезно определять абсолютное качество звука  $\check{e}$  и выяснять, был ли он открытым или закрытым, более продвинутым вперед или нет и т.п.; поскольку не установлено наличие нескольких разновидностей  $e$ , все эти тонкости не имеют значения; важно только одно — не смешивать этого звука ни с одним из прочих различаемых в этом языке элементов... Иначе говоря, дело сводится к тому, чтобы первая фонема слова \* $\check{e}k_1w\check{o}s$  не отличалась от второй фонемы в \* $m\check{e}d\check{h}j\check{a}s$ , от третьей фонемы в \* $\check{a}g\check{e}$  и т.д. и чтобы можно было, не уточняя ее звуковых свойств, поместить ее под определенным номером в таблице индоевропейских фонем. Таким образом, реконструкция \* $\check{e}k_1w\check{o}s$  означает только то, что индоевропейское соответствие лат. equos, скр. а $\check{c}$ va-s и т.д. состояло из пяти определенных фонем, взятых из фонологической гаммы праязыка” [де Соссюр, 1977, 258].

Между тем, нетрудно увидеть, что антропофонические характеристики вовлеченного в сравнение материала, как правило, содержат в себе некоторые указания на вероятные фонетические черты исходных прафонем (последнее обстоятельство четко продемонстрировано в одной из статей И. М. Тронского [см. Тронский, 1952, 17—19; ср. также Nehring, 1961, 365]). Такие указания особенно однозначны в случаях так называемых соответствий идентичности. Довольно определенны они и в большинстве остальных случаев. Так, например, естественно предполагать, что серия пракартвельских согласных, состоящая из \* $s_1$ , \* $z_1$ , \* $c_1$ , \* $\check{c}_1$  и \* $ʒ_1$ , реконструируемая на базе закономерного соотношения грузинских свистящих  $s, z, c, \check{c}$  и  $ʒ$  мегрельским, лазским и сванским  $\check{s}, \check{z}, \check{c}, \check{\check{c}}$  и  $\check{ʒ}$ , в соответствии с реально допустимыми фонетическими процессами должна была быть свистяще-шипящей или палатализованной, подобно существующим в абхазско-адыгских языках и в настоящее время. Развитие индоевропейстики показывает важность интерпретационного компонента в трактовке фонетических законов (нередко тесно связанных с функционированием в языках и супraseгметных явлений).

При всем сказанном гипотетичность любой реконструкции неизменно оставляет за архетипом и долю недостоверного. В целом, в плане оценки возможностей современной фонологической реконструкции следует, вероятно, согласиться с Р. Якобсоном, согласно которому в настоящее время “мы одинаково далеки от наивного эмпиризма, мечтавшего о фонографической фиксации индоевропейских звуков, и от его противоположности — агностического отказа от изучения системы индоевропейских фонем и робкого сведения этой системы к простому каталогу цифр” [Якобсон, 1963, 103].

Фонологическая реконструкция становится более убедительной при условии учета объективных процессов, имевших место в фонети-

ческой субстанции языка и формулируемых в компаративистике в форме так называемых фонетических законов. Без внимания к этим закономерностям диахронического порядка, всегда приуроченных к определенным пространственно-временным координатам, строящиеся архетипы нередко приобретают произвольный характер. Именно таково качество предложенной Ф. Борком "общекавказской" праформы \*vsikvaRt 'шесть', суммирующей едва ли не всю совокупность наиболее характерных для привлеченных к реконструкции слов звукотипов [см. Bork, 1907, 26], или построенного Н.С. Трубетским "северокавказского" архетипа \*w-ə(r)dI 'семь', представляющего собой по существу некоторое среднее фонетическое лежащих в основании сравнения форм абхазско-адыгских и нахско-дагестанских языков (начальное w- является предполагавшимся классным экспонентом) [см. Trubetzkoy, 1930, 81]. Поэтому возможность учета характерных для конкретного языкового материала фонетических закономерностей создает благоприятные условия фонологической реконструкции, которым руководствуются в своей исследовательской практике компаративисты разной методологической ориентации. И, конечно, не вина лингвиста, когда в силу тех или иных обстоятельств ему не удастся подкрепить реконструируемые фонологические архетипы ссылкой на подобные закономерности.

Огромные успехи, достигнутые на этом пути сравнительно-генетическим языкознанием, обязаны провозглашенному в среде младogramматиков принципу безисключительности фонетических законов, согласно которому, его реализации в соответствующих условиях подчиняется фонетическая субстанция всех слов данного языка, а видимые исключения сводятся к проявлениям других закономерностей фонетического изменения. Однако невозможность индуктивного обоснования этого принципа была достаточно очевидной уже для Б. Дельбрюка, подчеркивавшего, в частности, глубокое отличие устанавливаемых компаративистами фонетических законов от естественных [Дельбрюк, 1904, 122—136].

Различного рода нарушения ожидаемой фонетической закономерности, если они не обусловлены противодействием какой-либо иной, заставляют обычно предполагать участие фактора аналогии или допускать дескриптивный характер самого материала. Действие фактора аналогии особенно отчетливым образом заявляет о себе в числительных первого десятка в силу их нередкой встречаемости в единой последовательности при счете. Например, то обстоятельство, что числительное 'семь' в картвельских языках — ср. груз. švid-, мегр., лаз. šk(v)it-, сван. išgwid- — не обнаруживает закономерного ожидавшегося соответствия груз. šv ~ мегр., лаз. skv ~ сван. sgv, свидетельствует или о том, что в позиции перед *i* исторический шипящий комплекса \*šw не сдвигался в свистящий (об этом, в частности, как будто говорят сванские факты), или о том, что слово подверглось аналогическому воздействию со стороны предшествующего по порядку числительного 'шесть' (в пользу последнего допущения может говорить занский материал: ср. мегр. amšv-, лаз. anš- 'шесть'). Приведем еще два примера аналогического воздействия в сфере сванских числительных, демонстрирующих соответственно так называемые ретардацию и анти-

ципацию: ср. сван. *woxuṣd-* 'пять' (при закономерно ожидавшемся *xuṣd-*) — по аналогии с предшествующим по порядку *woṣdxw* 'четыре' (ретардация) и сван. *aga* 'восемь' (при закономерно ожидавшемся *agwa*) — по аналогии с последующим *ṣхага-* 'девять' (антиципация).

В целом, по справедливому замечанию В.И. Абаева, исследование, основанное на рабской вере в непогрешимость звуковых законов, обесценивается наполовину, а исследование, полностью игнорирующее эти законы, вообще лишено какой-либо ценности [Абаев, 1933, 8].

Необходимо, конечно, иметь в виду, что сам традиционный термин "фонетический закон", первоначально связанный, по-видимому, с представлением о языке как о некотором организме (и, отсюда, ассоциировавшийся с понятием естественных законов) едва ли можно признать удачным, поскольку он закреплен в компаративистике лишь за констатацией фонологического перехода, свершившегося в прошлом при определенных условиях и в определенных пространственно-временных рамках (обзор совокупности фонетических закономерностей, выявленных в индоевропейских языках выполнен Н. Коллинджем [Collinge, 1985]). Этим обстоятельством продиктовано, в частности, предложение заменить его термином "сдвиг" (*shift*) [ср. Pulgram, 1955, 61—65; Hockett, 1957, 59—61].

В практике фонологической реконструкции накоплено огромное число конкретных наблюдений, способствующих адекватной оценке происходивших фонологических изменений. Установлено, например, что проще фиксировать совпадение исторически различных фонем в единой, чем бифуркацию былой единой. Спонтанные передвижения фонем выявляются легче, чем комбинаторные, поскольку позиционные условия последних нередко бывают весьма затруднительно определить [Hoeningwald, 1944]. Необходимо к тому же учитывать, что передвижения, квалифицируемые на начальном этапе исследования в качестве спонтанных, в дальнейшем иногда удается объяснить как комбинаторные (поэтому остается в силе рекомендация Ф. де Соссюра, согласно которой для разграничения спонтанных и комбинаторных фонологических изменений следует проанализировать отдельные фазы наблюдающихся трансформаций и не принимать их опосредствованные результаты за непосредственные [де Соссюр, 1977, 178]). Так, например, составляющие существо так называемого занского передвижения гласных в картвельских языках фонологические корреспонденции груз. *a* ~ мегр., лазск. *o* и груз. *e* ~ мегр., лазск. *a*, представлявшиеся на раннем этапе исследования результатом спонтанного сдвига фонем (картв. \**a* > *o* и \**e* > *a*) в дальнейшем — по обнаружении их позиционной обусловленности — были отнесены к числу комбинаторных [ср. Климов, Мачавариани, 1966].

Особенно сложным по-прежнему представляется нахождение причин фронтальных спонтанных сдвигов фонем. На смену различного рода физиологическим, психологическим и даже географическим способам их объяснения, безраздельно господствовавшим в языкознании XIX столетия, ныне пришла тенденция к поиску их прежде всего собственно языкового истолкования, которая достаточно отчетливо отражается, в частности, в соответствующей контроверзе вокруг герман-

ского передвижения согласных в индоевропеистике (обзор выдвигающихся точек зрения см. [Прокош, 1954, 43—49; Сравнительная грамматика, II, 1962]). В силу целого ряда эмпирических данных (например, случаев стоящего за конкретными сдвигами фонем общего сдвига речевого уклада) было бы, однако, опрометчивым полностью отказаться от объяснений, апеллирующих к гипотезе о субстратном факторе. На этом фоне крайностью представляется следующее высказывание Е. Куриловича: "языковые явления нужно объяснять другими языковыми же, а не какими-либо инородными явлениями; их следует сводить к элементарным или по крайней мере более простым языковым явлениям. Объяснение с привлечением инородных социальных явлений — методическая ошибка. Аналогично объяснение передвижения произношением... — объяснение физиологическое; теория субстрата, связанная с этим объяснением, для лингвиста не имеет значения" [Курилович, 1962, 343].

В большом числе случаев уже универсальные или квазиуниверсальные тенденции фонологических изменений подсказывают, хотя и, конечно, не всегда гарантируют адекватное решение конкретной проблемы. Так, если на месте сванских простых смычных *g* и *k* выступают аффрикатные грузинские *č* и *s* и занские *č* и *š* соответственно (ср. сван. *libərg-iel* 'бороться' при груз. *brɔ-ol-a* и мегр. *burč-ar-a* или сван. *kim* 'слеза' при груз. *steml-* и мегр. *čilamur-*), то, имея в виду типичные процессы аффрикатизации смычных через ступень палатализации, нетрудно предположить большую древность сванских рефлексов. Во множестве случаев внешней реконструкции существует возможность опереться на действующие в сравниваемых языках закономерности фонемной дистрибуции. Например, при сопоставлении адыг. *təžəp* // каб. *dəžəp* 'серебро' с абх. *a-гаžəp* той же семантики, принимая во внимание наличие в обоих адыгских языках запрета на анлаутное *g* корня наряду с допустимостью *t* и *d* аналогичного статуса в абхазском, следует констатировать большую давность формы с *g* (в пользу такого решения говорит и существующее предположение, согласно которому абхазско-адыгское слово восходит на правах заимствования к индоевропейскому обозначению серебра). При тех же условиях аналогичное решение предполагает и фонологическая корреспонденция нахск. *d* ~ авар.-анд.-цезск. *g* в начале слова (ср. бацб. *doč* 'сердце', *doš* 'слово', *dix* 'мясо' при соответствующих анд. *gočwo*, *gošo* и *git'i*).

Особенно часто направленность фонологического изменения контролируется историей лексических заимствований. Так, несколькими примерами подобного рода можно, в частности, показать вторичность во всяком случае занских и сванских шипящих рефлексов пракартвельских спирантов и аффрикат. Поскольку пракартв. *\*eks<sub>1</sub>w-* 'шесть' обнаруживает зависимость от и.-е. *\*ueks* 'шесть', напрашивается вывод о вторичности закономерного занского продолжения этого архетипа с шипящим рефлексом (мегр. *amšv-*, лаз. *anš-*; ср. также сван. *usgwa//usčwa* < *usgwa* [ср. Гамкрелидзе, 1959, 26 и след.]). О том же фонетическом процессе, свершившемся в отдаленном прошлом картвельских языков, свидетельствует занское отражение груз.-зан. *\*plenz<sub>1</sub>-* 'медь' (мегр. *linč<sub>1</sub>-*, *lanč<sub>1</sub>-* при др.-груз. *plenz<sub>1</sub>-* 'то же'), восходящего



вместе со сходимым армянским словом к точнее неидентифицируемому в настоящее время азианическому источнику (ср. заимствованное из этого же источника араб. *filiz* 'металл', предполагающее более древнее \**piliz*). Еще одну иллюстрацию подобного рода составляет занское продолжение груз.-зан. \**werz*₁- 'самец, баран' (мерг. *erz*- при груз. *verz*-), зависящего, по всей вероятности, от и.-е. \**uers*[e]- 'самец'. Такие лексемы как чеч.-инг. *xingal* 'галушки' при бацб. *xin̄kal* (< груз. *xin̄kal*- 'то же'), чеч.-инг. *ṭod* 'лапа' при бацб. *ṭot* 'рука, лапа' (> груз. *ṭot* 'лапа, ветвь'), чеч. *ṣad*, инг. *ṣod* 'хлыст' при бацб. *ṣold* (< груз. *sol̄t*- то же), иллюстрируют процесс озвончения древних абруптивов в неначальной позиции, имевший место в истории чеченского и нinguшского языков (ближайше родственный обоим бацбийский язык сохраняет исходное состояние).

Реалистичность праязыкового фонологического инвентаря — важное требование, предъявляемое к фонологической реконструкции. "Реконструированные схемы или системы гласных и согласных постулируемого праязыка, — пишет в этой связи Б.А. Серебrenников, — не должны представлять собой бессистемные наборы звуков. В том случае, если они правильно реконструированы, они будут напоминать естественные системы гласных и согласных, которые мы можем непосредственно наблюдать в живых языках" [Серебrenников, 1982, 9].

Важнейшее значение приобретает в этой связи структурная (типологическая) верификация реконструируемых фонологических систем посредством сопоставления их с наиболее характерными закономерностями организации фонемной парадигматики, засвидетельствованными в языках мира.

Яркой иллюстрацией именно такого подхода может служить предложенная Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Ивановым реинтерпретация кодифицированной в науке праиндоевропейской системы смычных согласных, включавшей звонкую (I), звонкую придыхательную (II) и глухую (III) серию фонем, представление о которой может дать нижеследующая таблица:

Традиционная система			Реинтерпретированная система		
I	II	III	I	II	III
(b)	bh	p	(p)	bh//b	ph//p
d	dh	t	t̄	dh//d	th//t
g	gh	k	k̄	gh//g	kh//k
ḡ	ḡh	k̄	k̄	ḡh//ḡ	kh̄//k̄
g <sup>w</sup>	gh <sup>w</sup>	k <sup>w</sup>	k̄ <sup>w</sup>	gh <sup>w</sup> //g <sup>w</sup>	kh <sup>w</sup> //k <sup>w</sup>

Очевидные преимущества реинтерпретированной системы заключаются в том, что в отличие от традиционной она учитывает наиболее характерные закономерности строения фонемной парадигматики в языках мира и тем самым устраняет целую совокупность черт праиндоевропейской фонологической системы, оказывавшихся в явном противоречии с этими закономерностями. Так, одним из бросающихся в глаза несоответствий последним в традиционной реконструкции консонантизма было подчеркнутое Р.О. Якобсоном

отсутствие в ней серии глухих придыхательных, поскольку не встречаются языки, располагающие серией звонких придыхательных согласных при одновременном отсутствии серии глухих придыхательных. Другой обращавшей на себя внимание чертой, связанной с традиционной схемой, впервые отмеченной, по-видимому, еще Х. Педерсеном, являлось количественное несоответствие общеиндоевропейских форм, содержащих фонему \*b, по сравнению с формами с другими звонкими согласными, возникавшее вследствие чрезвычайно низкого числа сколько-нибудь достоверно восстановленных основ, содержащих этот звонкий. Еще одной неоднократно отмечавшейся особенностью традиционно принимавшейся системы праиндоевропейского консонантизма являлось то, что было трудно найти рациональное оправдание вытекавшей из ее принятия несовместимости в пределах индоевропейского корня двух звонких смычных и, следовательно, отсутствия в праиндоевропейском состоянии корней типа \*ged или \*deg (при характерной фонологической модели корня CVC). Все отмеченные здесь несоответствия преодолеваются при реинтерпретации I-ой серии смычных как глоттализованной, II-ой — как звонкой (с придыхательными аллофонами) и III-ей — как глухой (с придыхательными аллофонами). В этом случае соблюдается закономерность наличия звонких придыхательных при параллельном наличии аналогичных глухих, объясняется факт ущербного функционирования губной фонемы в I-ой серии (именно таково положение губного p в языках мира в серии смычногортанных) и, наконец, становятся понятными комбинаторные ограничения, накладываемые на структуру корня в праиндоевропейском (ср. примеры несовместимости в корне двух глоттализованных, известные из многих языков) [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, сс. 5—24].

Тем не менее, одной из типичных — особенно для начальных этапов разработки конкретной отрасли сравнительно-генетического языкознания — ситуаций, возникающей при реконструкции фонологической, а в отдельных случаях и морфологической, системы, оказывается противоречие между постулируемым для праязыкового состояния богатейшим инвентарем соответствующих единиц и их более ограниченным репертуаром в восходящих к нему исторически засвидетельствованных языках (ср., сложившееся еще у Б. Дельбрюка впечатление, согласно которому фонетический состав праязыка разнообразнее инвентаря синхронно представленных его продолжений). По замечанию Е. А. Бокарева, реконструировавшего фонологическую систему общедагестанского праязыка, последняя является "...гораздо более сложной, чем система каждого из отдельных дагестанских языков. При этом в системе праязыка находят себе место не только те звуки, которые встречаются в отдельных современных дагестанских языках..., но и звуки, которые в настоящее время не представлены ни в одном из них..." [Бокарев, 1961, 13—14]. Аналогичным образом, пракартвельский консонантизм по крайней мере пятью единицами богаче инвентаря согласных, засвидетельствованного в современных картвельских языках за счет восстанавливаемой для него серии пред-

положительно свистяще-шипящих спирантов и аффрикат [Гамкрелидзе, Мачавариани, 1965, 413—415] (в настоящее время не видно, как можно сократить общее число пракартвельских фонем и следует ли вообще к этому стремиться).

Касааясь дальнейших перспектив реконструкции фонологической системы праавстронезийского состояния, Ю.Х. Сирк указывает, что "наиболее серьезный недостаток, свойственный реконструкции Демпвольфа, — отсутствие историзма — до сих пор не преодолен. В большинстве работ современных исследователей термин "праавстронезийский" ("прамалайско-полинезийский") применяется, по сути дела, к формулам соответствий. Вследствие этого вошло в практику реконструирование чисто формульных прафонем, которые признаются таковыми самими авторами... Это привело к кажущемуся разрастанию праавстронезийского консонантизма, который теперь уже насчитывает больше 60 фонем (среди них, как кажется, по меньшей мере 6—7 сибиллянтов) ...Однако, несомненно, что большинство предложенных консонантных прафонем слабо аргументировано..." [Сирк, 1982, 210]. Подчеркивая живучесть подобного подхода, В.К. Журавлев отмечает: "так, недавно на основании сравнения некоторых диалектов аборигенов Америки (Nez Perce, Sahaptin и др.) У. Якобсен ...реконструирует для вокализма proto-Sahaptin шесть фонем, хотя в сравниваемых языках и диалектах констатируется лишь три-пять гласных. Фонемы \*⟨e, o⟩ попали в праязыковое состояние лишь потому, что они засвидетельствованы в Nez Perce, фонема \*⟨ə⟩ — в его северо-западном диалекте. Это напоминает процедуру "волшебного фонаря", в который вставлены фигуры треугольника, квадрата, окружности, а на экране праязыкового состояния получается своеобразный гибрид с семью углами" [Журавлев, 1986, 194—195].

Таким множеством единиц фонемной парадигматики можно было бы, вероятно, удовлетвориться, если смотреть на реконструкцию только как на символическое обозначение различных рядов межъязыковых корреспонденций. Однако, если не упускать из виду определенное соответствие строящейся модели праязыковой реальности, то не может не возникать сомнений в адекватности такой реконструкции.

Основной предпосылкой подобной избыточности в сфере фонологической реконструкции является отмечавшаяся в предшествующем изложении неоднозначность фонологических корреспонденций, нередко характеризующая родственные языки. Постулируемое на первом этапе исследования предположительное множество фонем праязыкового состояния, отвечающее общему числу наблюдаемых формул межъязыковых соответствий, в дальнейшем обычно удается сократить за счет установления несамостоятельности некоторых из них. При этом необходимо иметь в виду, что "число реконструируемых протоединиц независимо от числа рядов соответствий между привлеченными языками. Решающим вопросом служит число контрастов в рамках этих рядов; иначе говоря — все неконтрастирующие ряды соответствий группируются в единую протоединицу" [Anttila, 1972, 243]. Как известно, наибольший эффект подобная процедура принесла в ходе реконструкции праиндоевропейской фонологической системы; так,

если К. Бругман проецировал в нее семьдесят три элемента, то Э. Стертевант — пятьдесят пять, а У. Леман — всего лишь тридцать два. Аналогичным образом, в уралистике фонологические системы современных финно-угорских языков сводятся всего лишь к шести гласным и восемнадцати согласным фонемам праязыкового состояния [Décsy, 1965, 155—156].

О серьезных трудностях, на которые наталкиваются опыты такой редукции, красноречиво свидетельствует, в частности, следующий пример: в своем опыте реконструкции фонологической системы праязыка семьи кечумара в Южной Америке К. Огг и Р. Лонгэйкр воздерживаются от попытки соотнести десять глоттализированных и придыхательных согласных, имеющих в диалектах как кечуа, так и аймара, предполагая их параллельное развитие в обоих языках на основе сочетаний простых смычных согласных с ларингальными фонемами *T'* и *h* соответственно [Ogg, Longacre, 1968, 530—532]. Между тем, апелляция к первой из них, вообще отсутствующей как в кечуа, так и в аймара, по крайней мере весьма рискованна.

В части известных практике случаев избыточное богатство реконструируемого фонемного, равно как и морфемного, инвентаря обязано механической проекции в некоторое единое состояние элементов, на деле имеющих различную хронологическую соотнесенность.

С более серьезными трудностями связана реконструкция правил фонологической синтагматики на праязыковом уровне. Характерной ошибкой здесь является стремление к излишней генерализации восстанавливаемых закономерностей. Так, например, иногда встречается переоценка степени единообразия фонологической структуры праязыкового корня (ср., в частности, известную тенденцию к сведению огромного большинства праиндоевропейских корней к структуре SVC).

При верификации степени адекватности реконструируемой фонологической системы необходим учет известной из теории фонологии закономерности соотношения между классами консонантных и вокалических фонем в системе, а также реально допустимого при соответствующих параметрах числа фонем в морфеме, не говоря уже о по существу элементарном требовании восстановления сколько-нибудь правдоподобного общего числа фонем. Известно, в частности, что при явном богатстве консонантизма в системе ее вокализм тяготеет к скудости (составляя, как указывают, соответственно от 8% до 40% от общего количества фонем), и наоборот. Установлено также, что языки, характеризующиеся богатейшим фонологическим инвентарем, как правило, располагают высоким удельным весом морфем с небольшим числом фонем [ср. Hockett, 1958, 95; Милевский, 1963, 17—18; Szemerényi, 1967, 86—87]. И поэтому, когда в исследовании встречается проекция в праязыковое состояние, скажем, 120 согласных и 9 гласных фонем при значительном удельном весе двух- и трехконсонантных корней, то уже на чисто теоретических основаниях естественно самым серьезным образом усомниться в корректности приведшей к ней реконструктивной процедуры.

Реконструкция праязыковой морфологической системы сопровождается, как правило, большими трудностями не только ввиду обычно

более широкого репертуара ее элементов, несущих к тому же определенную грамматическую семантику, но и вследствие взаимодействия в ней совокупности факторов, известных под общим названием грамматической аналогии. Вероятно, не будет ошибкой утверждать, что определенное отставание разработки морфологической проблематики от фонологической — характерная черта истории формирования сравнительно-грамматического построения.

Среди немногочисленных специально обсуждавшихся принципов морфологической реконструкции можно упомянуть принцип архаичной гетерогенности (principle of archaic heterogeneity) Р. Хетцрона, основанный на более общем положении компаративистики о рецессивном характере аномальных и нерегулярных фактов языковых систем [ср. Мейе, 1954, 29; Greenberg, 1957, 51]. Согласно этому принципу, "если одна часть родственных языков располагает системой, подобной ее гомологам в другой их части в некотором отношении, но отличной в другом, причем невозможно увидеть определенный фактор такого отличия, то, соответственно, наиболее гетерогенная система может рассматриваться как самая архаичная и наиболее близкая к прототипу, а более гомогенные должны трактоваться как возникшие в результате упрощения" [Hetzron, 1976, 93]. Так, если бы из совокупности абхазско-адыгских языков были известны только абхазский и адыгский языки, в которых формантами каузатива служат соответственно префиксы *г-* и *γ̄а-* (абазинский глагол, с одной стороны, и кабардинский, с другой, не обнаруживают в этом отношении отклонений), то в ходе реконструкции исследование столкнулось бы со следующими тремя более или менее равновероятными возможностями: а) каузатив мог быть древним достоянием абхазско-адыгского глагола, и тогда его исконный признак претерпел в определенном ареале либо эволюцию \**г* > *γ̄* либо, напротив, \**γ̄* > *г* (ср. точку зрения о наличии фонологической корреспонденции абхаз. *г* ~ адыгейск. *γ̄* [Ломтатидзе, 1958]); б) каузатив мог быть параллельным новообразованием обоих языков, а в роли его экспонента оказался использованным генетически тождественный или нетождественный материал; в) каузатив мог быть, наконец, древней чертой абхазско-адыгейского глагола, передававшейся материально различными префиксами (возможно, с дистрибутивно разграниченными сферами употребления). Наиболее вероятное решение поставленной альтернативы подсказывают фактически показания другого абхазско-адыгского языка — убыхского, в котором употребляются оба экспонента рассматриваемой категории, функционирующие на правах алломорф: *d-* (в анлаутной позиции убыхское *d* закономерно соответствует абхазскому *г*: ср. убых. *dəwʃaqa* 'бедный, жалкий' ~ абх. *а-гəсха*, убых. *daʃʷan* 'серебро' ~ абх. *а-газəп* и т.д.) и *γ̄а-*, связанные отношениями дополнительной дистрибуции, что недвусмысленно свидетельствует в пользу выбора последней возможности. Аналогичным образом, генетически не сопоставимая вокализация одного и того же глагольного корня в родственных языках наводит на предположение об имевшихся в их предшествующем состоянии аблаутных чередованиях.

К противоположному результату приводит процедура внутренней

реконструкции. В этом случае, напротив, праязыковое состояние скорее предстает морфологически более стройным ("более агглютинативным"), поскольку уже в силу своей специфики она направлена на устранение вторичных компонентов морфофонемных чередований [см. Chafe, 1959, 495; также Kogonon, 1974, 120—122].

В ходе реконструкции морфологической системы праязыкового состояния неизбежно встает вопрос о восстановлении не только отдельно взятых морфем, но и соответствующих словоизменительных парадигм. Решение этой задачи сложнее парадигматической реконструкции на фонологическом уровне, поскольку важнейшей предпосылкой успеха компаративиста в этом случае является факт сохранения по сопоставляемым языкам генетически тождественного лексического материала, унаследовавшего продолжения соответствующих морфем. В целом в этой сфере можно руководствоваться практикой исследователей, различающих в ходе морфологической реконструкции три последовательных ступени: 1) реконструкцию отдельных морфем (и если возможно, алломорфов), 2) сведение реконструируемых морфем к некоторому минимальному числу парадигм, 3) окончательная "подчистка" парадигм с возможным обращением к процедуре диахронической интерпретации [ср. Schlerath, 1981, 176]. При этом нередко приходится различать уже парадигматизованные элементы от еще не парадигматизованных, индуцирующие — от индуцируемых.

В ситуации сравнения отдаленно родственных языков или языков со слабо развитой морфологией перспективы морфологической реконструкции, естественно, весьма ограничены. С целью некоторой далеко не полноценной компенсации такого положения вещей компаративисту остается сосредоточить свои усилия на восстановлении словообразовательной системы праязыка, присущей в той или иной мере всем языкам мира (поэтому, когда в практике компаративистики встречаются построения, восстанавливающие определенную совокупность морфологических средств праязыка, не сопровождающихся выявлением исконных словообразовательных общностей, то адекватность подобных построений не может не вызывать самых серьезных сомнений).

По общему признанию, наиболее трудным для реконструкции праязыкового состояния предметом является синтаксис. Разделяя в целом подобное впечатление, необходимо все же заметить, что высказанные в прошлом сомнения в существовании в синтаксисе неотъемлемых для сравнительно-генетического исследования условий — наличия межъязыковых соответствий и немотивированности синтаксических структур — несколько преувеличены. Так, второе из этих условий, по-видимому, присутствует во всех случаях, поскольку набор функционирующих в языке синтаксических структур обусловлен прежде всего традицией. Что же касается первого, то оно здесь, как и на остальных уровнях языковой структуры, отчетливо заявляет о себе при сопоставлении близкородственных языков и неотчетливо — при сопоставлении языков с отдаленным родством.

Таким образом, хроническое отставание в разработке синтаксиса, оказывающееся характерной чертой подавляющего большинства срав-

нительно-грамматических построений [ср. Scherer, 1961, 236], в наиболее общем случае обусловлено весьма ограниченными возможностями сопоставления генетически тождественных в формальном и материальном плане межъязыковых соответствий в виде словосочетаний и предложений. Нетрудно заметить, что с сопровождающей возрастные генетического расстояния между языками материальной гетерогенностью соответствующее исследование все более уподобляется типологическому. Так, несмотря на очевидную повторяемость по множеству нахско-дагестанских языков (аварскому, лакскому, даргинскому, удинскому и т.д.) общей конструкции предложения с глаголом обладания при подлежащем в форме генитива и дополнением в форме абсолютного падежа, возможность ее функционирования в праязыковом состоянии вследствие очевидной материальной гетерогенности составляющих вызывает самые серьезные сомнения (последние усугубляются и тем обстоятельством, что в праязыковом состоянии, характеризовавшемся, по всей вероятности, более последовательным соблюдением норм эргативного строя, едва ли мог существовать такой падеж, как родительный).

Обсуждая разносторонние трудности определения места тохарского языка среди индоевропейских, В. Винтер пишет, что "работа в области сравнительного синтаксиса постоянно тормозится тем фактом, что наши собрания (тохарских текстов — Г.К.) за исключением очень немногих и очень простых текстов оказываются переводами с санскрита. Прежде чем мы сможем использовать их свидетельства, мы должны убедиться в том, что они не являются простой проекцией черт переведенного источника. Налицо и другая трудность, которую приходится преодолевать: значительная доля нашего материала имеет метрическую форму, что означает, что, прежде чем делать какие-либо выводы, скажем, о словопорядке, нам следует устранить все отклонения, внесенные в текст с целью приведения его в соответствие с требованиями метра. Достичь этого нелегко, однако мы располагаем достаточным числом контекстов для того, чтобы получить по крайней мере определенное представление о нормальном словопорядке, обычной структуре предложения и т.п. Конечно, некоторые черты синтаксиса слабо затрагиваются обоими отмеченными факторами — например, выбор падежей или числовое согласование выдерживаются последовательно и поэтому могут рассматриваться как собственные характеристики языка" [Winter, 1984, 225].

В специальной литературе до последнего времени не видно единства в решении двух ключевых вопросов сравнительно-исторического синтаксиса — что и как реконструируется. На первый из них отвечают двояко: праязыковая синтаксическая система — в одном случае, и набор предложений и словосочетаний праязыка — в другом. Скорее всего, предметом реконструкции должно быть и то и другое, подобно тому, как на уровне морфологии реконструируется и совокупность праязыковых морфем и, по мере возможности, морфологическая система в целом.

Касаясь методической вооруженности сравнительно-исторического исследования в сфере синтаксиса, Н.З. Гаджиева и Б.А. Серебрен-

ников отмечают, что до последнего времени "в этой области исследования вообще нет определенных и четких методов. Самой трудной проблемой является создание так называемого синтаксического архетипа. При наличии группы материально родственных слов из генетически родственных языков и знания звуковых соответствий создание такого архетипа представляется вполне возможным. Однако трудность реконструкции состоит в том, что модели словосочетаний и предложений не имеют сколько-нибудь постоянного лексического состава. Их состав является переменным" [Гаджиева, Серебренников, 1986, 17]. Поскольку привязанность к языковой субстанции — органическая черта любого сравнительно-генетического анализа материала, существенным условием успеха компаративиста в решении синтаксических проблем те же авторы считают, вслед за Б. Дельбрюком, определение конкретной морфологической опоры синтаксических архетипов, подчеркивая, что без исторической морфологии не может быть исторического синтаксиса группы родственных языков [Гаджиева, Серебренников, 1986, 17—19]. При этом наиболее достоверные выводы могут быть получены на материале таких синтаксических явлений, которые нетривиальны и поэтому отражают характерные линии истории определенных языков [Иванов, 1965, 185—189].

Вместе с тем, нет оснований и преувеличивать трудности разработки сравнительно-исторического синтаксиса в случаях, когда в распоряжении компаративиста оказывается достаточно широкая материальная база исследования. В первую очередь очевидны хорошие перспективы изучения близкородственных языков, нередко обуславливающих возможность едва ли не пословного воспроизведения текста. Поэтому встречающаяся скептическая оценка возможностей реконструкции синтаксической системы праязыка, мотивируемая невозможностью воспроизведения предложений материально тождественного состава [ср. Lightfoot, 1980], справедлива лишь по отношению к рассмотрению истории отдаленно родственных языков. Напротив, о позитивных возможностях построения сравнительно-исторического синтаксиса близкородственных языков свидетельствуют, в частности, недавно опубликованные работы, построенные на тюркском материале [ср. Гаджиева, 1973; Гаджиева, Серебренников, 1986]. Следует учесть и то обстоятельство, что решению подобных проблем способствуют и успехи типологических штудий на протяжении двух последних десятилетий, разработавших новые подходы к их решению посредством анализа морфологической структуры глагола, а также словообразовательной структуры композитов.

Трудности, с которыми сталкиваются компаративисты в ходе реконструкции лексического состава праязыка, хорошо известны. Они объективно определяются и несоизмеримо большим числом подлежащих рассмотрению единиц, и значительно менее прочными системными связями между самими единицами, что, в частности, решающим образом сказывается на степени адекватности семантического компонента лексического архетипа. Семантическое варьирование генетически тождественных лексем родственных языков в условиях почти полного отсутствия сколько-нибудь формализованных



путей соответствующего анализа очень часто ставит перед компаративистом едва ли разрешимые задачи, побуждая ограничиваться по существу некоторыми усредненными значениями лексических архетипов. Уже А. Мейе справедливо констатировал в этой связи, что, "просматривая этимологический словарь, мы получаем такое впечатление, будто индоевропейский язык обладал словами и корнями абстрактного и общего значения, между тем как каждый из индоевропейских говоров надо представлять себе вроде какого-нибудь современного литовского говора, бедного общими понятиями и избыливающего точными названиями конкретных действий и мелочей домашнего обихода" [Мейе, 1938, 74; ср. Benveniste, 1954; Thieme, 1964, 594—596].

Важно подчеркнуть, вместе с тем, что не видно также каких-либо оснований считать праязыковый лексический фонд этимологически более прозрачным, чем его продолжения в дочерних языках. Из того факта, что именно на праязыковом уровне нередко удастся увидеть, например, производный характер ныне неразложимого слова (в частности, как это бывает в довольно общем случае, отглагольный характер субстантива или адъектива), еще никоим образом не вытекает вывод, будто в нем должно было иметься меньше лексем с затемненной формальной и семантической историей (думать таким образом — равносильно солидаризации с позицией ранних компаративистов, предполагавших посредством оказавшегося в их распоряжении сравнительно-исторического метода решать задачи по существу глоттогенетического плана). Между тем, трудно сомневаться в том, что этимологически прозрачный пласт лексем праязыкового уровня следует квалифицировать в качестве новообразований, свойственных любой эпохе в развитии языка.

Избыточное по сравнению с засвидетельствованными языками число иногда реконструируемых для праязыкового состояния корней с примерно совпадающим общим значением (например, в этимологическом словаре индоевропейских языков А. Вальде и Ю. Покорного, по существующим подсчетам, налицо тридцать три корня с семантикой 'вертеть', тридцать — с семантикой 'гнать', двадцать четыре — с семантикой 'пухнуть', восемнадцать — с семантикой 'толкать' и т.п.) во многом обязано несовершенству техники семантической реконструкции, вследствие чего оказывается возможным очертить общий круг значений корня, но не удастся сколько-нибудь конкретным образом определить тенденции его семантической эволюции. Но менее очевидной причиной избыточности корневой омонимии в праязыковом состоянии служит обычная неразработанность для последнего пространственно-временной перспективы [ср. Jucquois, 1976, 82]. Одним из нежелательных следствий этих обстоятельств является, в частности, тот факт, что при попытках внешнего генетического сравнения индоевропейских языков уже в настоящее время за их пределами оказывается нетрудным подыскать немалый объем в той или иной степени сопоставимого материала (этот факт заявляет о себе, в частности, на примере разработки ностратической гипотезы).

В случае сравнения отдаленно родственных языков следует учиты-

вать и то, что здесь нередко бывает ненадежным сопоставление не только семантически далеко отстоящих друг от друга лексем, но и, напротив, совершенно тождественных по своему значению, поскольку вероятность отсутствия семантической эволюции слова с возрастанием периода языковой дивергенции неизбежно сокращается.

Чем ближе родственные языки друг к другу, тем больший процент реконструированных праязыковых архетипов падает на долю цельных лексем, генетически совпадающих как по своему корневому материалу, так и по материалу словообразовательных аффиксов. И, напротив, с возрастанием между ними генетического расстояния компаративисту все чаще приходится ограничиваться рамками так называемой дальней этимологии с характерным для нее уровнем корневого сравнения (продуктом последнего является *Wurzel-Wörterbuch*, как называл этимологический словарь подобного типа еще А. Потт). Это обстоятельство, естественно, несколько снижает гносеологическую ценность самих архетипов, и именно отсюда вытекают общепризнанные трудности этимологических исследований на материале языков изолирующего типа (в то же время разработка этимологического словаря корневого типа, фиксирующего тем не менее элементы флективной морфологии, вызывает серьезные сомнения в корректности самих его методических оснований).

Соотнесение засвидетельствованных по языкам генетически тождественных лексем с разнопорядковыми праязыковыми состояниями по специфике наблюдаемых в них фонологических корреспонденций вызывает относительно меньшие затруднения, чем аналогичная рубрикация представленных по языкам незаимствованных разнокорневых лексем. При рассмотрении последних случаев необходимо иметь в виду, что в небольших по своему составу языковых группировках объем латентного праязыкового материала всегда значительно шире, чем в многочисленных группировках. Так, заранее можно утверждать, что объем исконного лексического наследия в каждом из всего четырех картвельских языков должен быть достаточно обширным [ср. Иллич-Свитыч, 1968, 314]. В этом отношении преимущества приходится нередко отдавать материалу более изолированного от иноязычного воздействия сванского языка: ср. сван. *tučw-* 'рог' при груз. *gka-*, мегр. *ka-*, лазск. *kra-* (заимствование, ср. н.-е. \**kra-* 'рог, голова'), сван. *sičw-* 'кошка' при груз. *қаҭа-*, мегр., лазск. *қату-* (заимствование, ср. арм. *қату*, сир. *қаṭtu* 'кошка'), сван. *šdik* 'зуб' при груз. *қбил-*, мегр., лаз. *қибиг-* (описательное новообразование от основы \**қb-* 'кусать'), сван. *wišқw-* 'лицо' при груз. *pič-*, мегр., лазск. *pič-* (семантическое развитие картв. \**pič-* 'край') и т.п. Напротив, лексика, засвидетельствованная только в одном из примерно тридцати нахско-дагестанских языков, имеет минимальные шансы быть возведенной к праязыковому состоянию.

Новое направление сравнительно-генетических исследований составляет реконструкция текста на лексическом уровне. Его следует отличать от предпринимавшихся в прошлом попыток написания текста на праязыке, исходивших из наивно-реалистического понимания сущности лингвистической реконструкции как восстановления реальных

языковых фактов: ср. известное "воспроизведение" А. Шлейхером басни "Овца и лошади" на праиндоевропейском (принципиально отличной оценки заслуживает, однако, пересмотр этого текста, связанный с именем Г. Хирта, поставившего своей целью иллюстрацию успехов сравнительно-исторической фонетики индоевропейских языков в последующий период [см. Schleicher, 1868, 206; Hirt, 1939, 113—114]). О реконструкции праязыкового текста можно говорить лишь в той мере, в какой компаративисты говорят о реконструкции других единиц праязыка. Вяч. Вс. Иванов справедливо подчеркивает в последней связи, что "невозможность восстановления текста на индоевропейском праязыке любой эпохи его развития... не имеет ничего общего с вопросом о восстановлении системы праязыка. Пользуясь терминологией современной теории информации, можно сказать, что невозможность восстановления сообщения на индоевропейском праязыке не исключает возможности характеристики кода (т.е. системы записи информации), использовавшегося для коммуникации... Реконструкция этого кода-праязыка принципиально существенно отличается от реконструкции текстов-сообщений, являющейся одной из чрезвычайно важных задач филологии" [Иванов, 1960, 140].

Естественно, что при этом на пути исследования возникают все те же трудности, которые сопровождают реконструкцию синтагматического аспекта любой иной языковой подсистемы. Нетрудно, вместе с тем, увидеть существенно различные перспективы такого исследования в условиях сравнения близкородственных языков (особенно — допускающих едва ли не пословный перевод текста), с одной стороны, и при сопоставлении языков, обнаруживающих лишь отдаленное родство, с другой. В последнем случае резко повышается роль выявления определенных фольклорных (или, как принято говорить в индоевропестике, — "поэтических") фрагментов, более высокому уровню материальной общности которых способствует как некоторое единство их соответствующей сюжетной основы, так и возможный параллелизм экстралингвистического фона их бытования [ср. Schmitt, 1967]. В предшествующей главе уже подчеркивалось, на сколь значительные трудности наталкиваются, в частности, усилия исследователей в области реконструкции так называемого индоевропейского поэтического языка (*indogermanische Dichtersprache*).

## ПРИЕМЫ ХРОНОЛОГИЗАЦИИ И ЛОКАЛИЗАЦИИ ЯВЛЕНИЙ

Определение пространственно-временной соотнесенности языковых явлений прошлого представляется одним из существенных аспектов современных сравнительно-генетических исследований. В теоретической компаративистике довольно широко распространен жесткий тезис об отсутствии у постулируемых архетипов каких-либо пространственно-временных характеристик, свойственных исходному для них языковому субстрату [Pulgram, 1959, 422; Schlerath, 1981; 197—200]. Во множестве случаев, прежде всего — в ходе глубоких реконструкций, он действительно оправдывает себя и на практике ввиду значительности соответствующих утрат, сопровождающих построение праформ. Вместе с тем, в случаях ближней реконструкции необходимые потери архетипов в пространственно-временной ориентации не столь велики, чтобы не допускать с большим или меньшим приближением атрибуции им некоторых координат. Поэтому целесообразно, по-видимому, не придавать упомянутому тезису той абсолютной силы, которая ему иногда присваивается. Принимаемый в настоящей работе более гибкий подход к проблеме получает свое отражение и в богатом эмпирическом наследии компаративистики, выявляющем во всяком случае выдающуюся действительную силу приемов релятивной хронологизации и локализации явлений.

Поскольку феномен языка немислим вне пространства и времени, внимание к проблемам хронологизации и локализации архетипов составляет и одно из условий историзма в подходе к генетическому изучению языков. Необходимо сразу же подчеркнуть, что для самой лингвистики преимущественное значение имеет решение вопросов релятивной, а не абсолютной хронологизации и локализации. Давно известная науке неравномерность развития языков, в частности, ингредиентов единой языковой семьи, результирует нередко в том, что живые представители последней выявляют формы более архаичные, чем засвидетельствованные в родственных языках, зафиксированных только в древней письменности. Успешная разработка возникающих при этом задач и позволяет компаративистке строить картину динамики развития языковой семьи или ее фрагмента. Как свидетельствует ее опыт, именно в этой сфере исследования достижимы выводы, отличающиеся высокой степенью достоверности. Так, сравнительная грамматика скорее вырабатывает отчетливые представления об относительной последовательности дивергентного процесса в рамках группы родственных языков, чем сколько-нибудь четкие соображения о соответствующих абсолютных временных характеристиках.

В настоящее время было бы уже излишним специально аргументировать тесную взаимосвязь проблематики хронологизации и локализации явлений. Во многих случаях в ходе решения одной из них в явном или неявном виде присутствует решение другой. Касаясь специфики взаимоотношения обеих процедур в различных диахронических исследованиях, В. Порциг отмечал, в частности, что "любые выводы о хронологии языковых явлений, которые основываются на географи-

ческом положении языков, предполагают знание территориального размещения диалектов. Следовательно, этот путь пригоден для установления хронологии только тех новшеств, которые возникают в исторический период. Что же касается древнейшей эпохи, там положение совершенно иное. Там из установленных связей между языками еще только предстоит извлечь выводы об их территориальном размещении относительно друг друга. Следовательно, само размещение языков нельзя класть в основу хронологических выводов" [Порциг, 1964, 89].

Как показали работы Э. Сэпира и его последователей, а также сосредоточившихся на специальном рассмотрении этого круга вопросов представителей итальянской школы неолингвистики, будучи дополненным некоторыми другими соображениями, выведение относительных временных характеристик явлений, исходя из их пространственной дистрибуции, оказывается возможным [Sapir, 1958]. В частности, М. Бартоли принадлежит опыт формулировки нескольких тезисов, призванных, по его мнению, даже заменить обычно использовавшиеся в компаративистике структурные критерии размежевания архаизмов и инноваций [Bartoli, 1925; Bartoli, Widossi, 1943; Bonfante, 1969; критический анализ соответствующих критериев ср., например, в: Hall, 1963].

Из общей совокупности последних наиболее популярным в практике сравнительно-генетических штудий оказалось положение о фазах консервации старых явлений в латеральных ареалах распространения группы родственных языков. Оно положительно зарекомендовало себя при решении как конкретных, так и более общих вопросов в целом ряде частных отраслей компаративистики [ср., например, Koghonen, 1986]. Так, исходя из него, следует признать очевидным архаизмом лексемы лаз. тарха- 'ведро, ясное небо' и сван. тёрхе- 'ясное небо', сохранившиеся к настоящему времени лишь на двух окраинах картвельской языковой территории. Напротив, морфологическая категория притяжательности, характеризующая небольшую группу имен органической принадлежности в даргинском языке (ср. дарг. w-aḥ 'лицо мужчины', g-aḥ 'лицо женщины', b-aḥ 'морда животного', d-aḥ 'лицо вообще'), занимающем по существу центральный ареал среди дагестанских языков, по-видимому, является инновацией. Необходимо заметить, вместе с тем, что использование последнего критерия нередко будет требовать учета тех или иных приводящих обстоятельств, и, прежде всего, — возможности серьезного изменения в общей пространственной конфигурации некоторой генетической группировки языков в ходе истории (ср., например, глубокие преобразования германоязычного ареала в Европе, происходившие как в "доисторический" период, так и в уже исторически засвидетельствованную эпоху и следы которых так или иначе сохранились на огромной территории, простирающейся от Пиренеев и Гренландии на западе до Малой Азии, Крыма и Северного Кавказа на востоке).

В то же время ряд других приемов разграничения архаизмов и инноваций, также предложенных в прошлом итальянскими неолингвистами, оказался практически неприменимым в сфере сравнительно-

генетического исследования. В частности, уже в силу своей специфики — ориентации на выявление взаимоотношений диалектных подразделений в пределах некоторой единой языковой области — практически ничего не дает компаративисту обращение к нормам "большой области" и "области, удаленной от путей сообщения". То же следует сказать и относительно к тому же несколько тавтологично сформулированной так называемой нормы верхнего слоя, согласно которой, "если из двух состояний языка одно полностью или почти полностью вышло из употребления, а другое пережило первое, то первое оказывается обычно старше второго".

Перспективное направление работ этого плана составляют опыты релятивной хронологизации процессов дивергенции в рамках языковой семьи, основанные на анализе синхронно засвидетельствованного их пространственного размещения и меры их взаимной дифференцированности. Одна из установленных при этом закономерностей сводится к следующему: если в двух смежных областях распространены две группы родственных языков, причем в области с наибольшей территорией дифференциация языков является слабой, а в области с наименьшей территорией наблюдается резкая дифференциация, то можно предположить, что время разделения первой группы языков намного меньше времени разделения второй группы языков (ср. площадь распространения и меру дифференциации языков банту и бантоидных, славянских и балтийских языков, романских и кельтских языков, английских диалектов вне Европы и других западногерманских диалектов и языков) [Иванов 1958, 70].

В целом техника подобной хронологизации требует совершенствования ввиду постоянно присутствующей опасности слишком прямолинейного, т.е. вне учета других сопровождающих факторов, перенесения пространственно-временного соотношения на конкретную языковую почву во всей присущей ей реальной сложности. Необходимо к тому же учитывать, что, поскольку эта техника предполагает наличие достаточно отчетливого представления о территориальном размещении рассматриваемых явлений, практически она оказывается применимой для датировки главным образом относительно поздних явлений. В этом плане поучительна судьба попытки К. Веглина определить релятивную хронологию миграции различных групп индейских языков из Азии в Северную Америку, исходя из конфигурации ареалов их современного распространения [Voegelin, 1945], в которой не принималось во внимание то обстоятельство, что северная часть этого континента заселялась в конечном счете уже не из Азии, а с юга нынешней территории США (что стало возможным только после отступления границ Висконсинского оледенения).

Применением методов лингвистической географии к сравнительно-историческому языкознанию явились опыты восстановления для "доистории" языковой семьи ареалов распространения древнейших диалектных различий и вычленения отдельных диалектов и диалектных групп посредством обращения к методике изоглосс (А. Мейе, итальянские неолингвисты М. Бартоли, Дж. Бонфанте, Дж. Девото, а также В. Пизани, В. Порциг и др.). Последняя методика, получившая в

некоторых исследовательских традициях неудачное, на наш взгляд, обозначение ареальной лингвистики (ср. его синонимичность термину "ареальная лингвистика", за которым стоит лингвистическая дисциплина, занимающаяся изучением процессов ареального контактирования языков безотносительно к их генетическим взаимоотношениям), позволяет внести в традиционную сравнительную грамматику, ориентированную на абстрактную схему родословного древа, существенно важную поправку к представлениям науки о реальных исторических взаимоотношениях племен и народов, создателей и носителей соответствующих языков [Жирмунский, 1976, 256]. И в этом отношении наиболее разработанной отраслью сравнительно-генетических исследований оказывается индоевропеистика [ср. Макаев, 1964].

В конкретных работах немаловажно учитывать диалектический характер соотношения между релятивной и абсолютной хронологией явлений в истории языковой семьи. Факт, безусловно поздний в плане относительной хронологии, может быть чрезвычайно древним с точки зрения абсолютной. Известно, например, что и.-е. \**ru-tro* 'гнилой' трактуется в относительном плане в качестве некоторого позднейшего образования с суффиксом \*-tro по сравнению с лежащим в его основе глагольным корнем \**ru-* 'гнить' (к тому же его продолжения засвидетельствованы ныне только в кельтском и итальянском ареалах). Вместе с тем, с точки зрения абсолютной хронологии это образование чрезвычайно архаично, что, по-видимому, удостоверяется наличием груз.-зан. \**puturo-* 'гнилой (о плоде, дереве)', являющимся древним культурным заимствованием из индоевропейских языков, усвоение которого может относиться только к весьма отдаленной эпохе (менее вероятной по причинам как формального — фонетического — так и неформального порядка представляется возможность зависимости картельского слова непосредственно от лат. *puter*).

Хорошо известно, что современные представители языковой семьи нередко сохраняют более архаичные факты, чем ее исторически засвидетельствованные представители. Полемизируя с невольной модернизующей характеристикой тохарского языка как "средневекового", данной А. Мейе, В. Винтер пишет следующее: "если бы языки действительно изменялись в соответствии с ходом астрономического времени, и если бы эти изменения в равной степени затрагивали все стороны языковой структуры, то термин "средневековый язык" был бы адекватным. Однако простым фактом является то, что языки не ведут себя подобным образом. На деле происходящее заключается в том, что некоторый набор черт в языках X и Y, затрагиваемых изменениями, не идентичен. Язык во все времена составляет совокупность старого и нового, сохраняющихся форм и форм изменяющихся, что означает, что в нашем поиске старого каждый язык служит потенциальным его носителем. Являются ли изучаемые нами тексты недавними или древними, значит относительно немного: старое в плане истории сохранения данных, т.е. в плане письменности, лишь немногим менее позднее, чем записи современной речи в плане общей истории языка и языковой семьи. Сказанное не означает, что в нашем историческом и сравнительном исследовании

мы не опираемся с удовлетворением на древнейшие из доступных нам текстов — оно означает лишь, что мы не можем пренебрегать недавним или относительно не старым материалом. Несмотря на тот факт, что в последнем могло произойти больше изменений, чем в некоторых из изучаемых древних текстов, некоторые глубоко архаические черты могут нам встретиться только в более поздних текстах. Иллюстрацией этого может послужить роль литовского языка в исследовании индоевропейского ударения: никто не помышляет отгородиться от сохранных в этом живом языке свидетельств с поверхностной ссылкой на его позднюю фиксацию” [Winter, 1984, 218].

Минуло уже около двух с половиной десятилетий с того времени, как Е. Курилович сформулировал свое известное положение, согласно которому невозможно реконструировать *ad infinitum* и необходимо довольствоваться восстановлением лишь тех этапов языковой истории, которые непосредственно граничат с самой исторической реальностью [Kuryłowicz, 1962, 469; 1964, 58]. И хотя адекватность этого тезиса по существу уже получила достаточно широкое подтверждение в практике компаративистических исследований, в теории сравнительно-исторического языкознания, если не считать его обычно сочувственные цитации, он все еще не получил сколько-нибудь серьезного отклика. Общепризнанным относительным рубежом реконструктивных процедур оказывается план праязыкового состояния (при очевидной тенденции к расслоению последнего в соответствии с господствующей в настоящее время его динамической концепцией) основного таксона генетической (генеалогической) классификации — языковой макросемьи [ср. Lehmann, 1962, 239]. Из опыта конкретных отраслевых работ известно и стремление к дальнейшему продлению хронологической перспективы исследования посредством внутренней реконструкции самой праязыковой “данности” или же путем сопоставления последней с некоторой иной параллельно полученной праязыковой “данностью”, в надежде достижения доказательства некоторого более широкого родства. Однако, пока такое доказательство отсутствует, исследование не покидает рамок праязыкового построения. Нетрудно убедиться, вместе с тем, что в обоих случаях характер предлагаемой при этом процедуры приходится квалифицировать как диахроническую интерпретацию, поскольку праязыковый архетип, способный к самому серьезному видоизменению с прогрессом сравнительной грамматики, уже невозможно отождествить с какой-либо исторической реальностью (ср. выше с. 46—50).

Именно из такого понимания положения вещей, по всей вероятности, и исходит Г. Хенигсвальд в своем известном замечании, согласно которому процедура “внутренней реконструкции неправомерна с методической точки зрения, когда она направлена на восстановление не праязыкового, а предпраязыкового состояния” [Hoenigswald, 1974, 200, fn. 3]. Как бы ни расценивать последнее утверждение, не разделяемое отдельными теоретиками компаративистики, нельзя не согласиться с тем, что особенно трудно апеллировать к подобной процедуре с целью решения вопросов генезиса праязыковых явлений, исходный материальный субстрат которых становится исчезающе



малой величиной. И. М. Тронский не без оснований писал в этой связи следующее: "Для постановки вопроса о происхождении восстанавливаемых звуковых единиц общиндоевропейского языка они должны быть не алгебранческими знаками, условными обозначениями формул соответствия, а обладать достаточной вероятностью своего исторического бытия. Однако это усложнение задач не сопровождается параллельным увеличением средств для их разрешения. Возможности дальней реконструкции оказываются весьма ограниченными. Вся история ларингальной гипотезы свидетельствует о трудностях ее разработки" [Тронский, 1967, 22; ср. Thieme, 1965, 436]. И поэтому, когда некоторые авторы, солидаризуясь в принципе с упомянутым тезисом Е. Куриловича, высказывают все же надежду на то, что с дальнейшим совершенствованием методов компаративистики удастся несколько раздвинуть горизонты ее реконструкции [Meid, 1975, 218—219], то одним из наиболее обещающих резервов на этом пути способна послужить внутренняя реконструкция в пределах отдельных входящих в конкретную макросемью нигреднентов, сохраняющих те или иные глубоко архаические черты. Что же касается все чаще привлекаемых в этой связи аргументов типологического порядка, то их эффективность, по-видимому, не следует переоценивать. Во-первых, нельзя не видеть, что далеко не все системные соображения, квалифицируемые в эмпирических работах в качестве типологических, действительно оказываются таковыми, поскольку их релевантность по отношению к типологии, как правило, не обосновывается. Во-вторых, даже в случаях бесспорной ориентации восстановления на типологически значимые параметры языковой структуры компаративист предпринимает лишь некоторую диахроническую интерпретацию имеющихся в его распоряжении архетипов (в качестве таковой следует, в частности, признать широко распространенную в современной компаративистике идею о доминативном строе древнейшего праиндоевропейского состояния).

Как известно, в отдельных наиболее развитых отраслях компаративистики (например, в индоевропейском, уральском, афразийском языкознаниях) глубоким "доисторическим" состояниям соответствующих языковых семей приписываются некоторые черты, оказывающиеся уже за пределом относительной стабильности основных структурных характеристик, фигурирующих в их кодифицированных сравнительно-грамматических построениях (при терминологической квалификации подобных состояний обычно прибегают к таким обозначениям, как "доиндоевропейское" или "доуральское"). Эти черты уже не выводятся непосредственно из фактической данности членов языковой семьи, а всецело являются продуктом диахронической интерпретации самой праязыковой модели. Принадлежность таких "реконструкций" к сфере компаративистики вызывает самые серьезные сомнения. Так, касаясь временных и внутрисистемных ограничений, налагаемых на реконструкцию в компаративистике, Э. А. Макаев подчеркивает в последней связи, что "во времени сравнительная и внутренняя реконструкция ограничена определенным порогом, переступить который она не в силах; в противном случае она теряет всякий смысл, ибо определенный

этап развития языка, подлежащий реконструкции, утрачивает свой структурный облик, постепенно трансформируясь в другой языковой тип; ...бессмысленно производить реконструкцию общендоевропейского состояния до такого хронологического среза или временной глубины, когда этому состоянию приписывается наличие не фонем, а силлабем, что ведет к подмене индоевропейского морфологического типа языковой структурой наподобие моносиллабических языков" [Макаев, 1977, 90—91; ср. также Гухман, 1981, 168—169]. Тем более некорректным было отнесение к сфере компаративистики гипотез отдельных авторов о формировании языковых семей на базе языковых союзов.

Если обратиться к абсолютной хронологии сколько-нибудь достоверных реконструкций в компаративистике, то здесь мы столкнемся со множеством существенно варьирующих оценок глубины их эффективности. Так, согласно М. Хаас, наиболее удовлетворительны реконструкции материала бесписьменных языков, праязыковое состояние которых удалено от современности дистанцией не более двух-трех тысячелетий [Haas, 1969, 102]. По мнению Д. Дэчи, классические методы сравнительного языкознания способны лишь весьма ущербно восстанавливать языковые состояния пятитысячелетней давности [Děcsy, 1969, 377—378]. У. Леман считает, что техника компаративистики позволила нам продвинуть представления об индоевропейских языках на глубину трех тысячелетий до н.э. и ранее [Lehmann, 1962, 239]. А. Крёбер полагал, что наши средства обеспечивают удовлетворительные реконструкции для временной глубины до пяти-семи тысячелетий [Kroeger, 1960, 21]. В.Я. Порхомовский отмечает, что наиболее далеко идущий абсолютный хронологический уровень, который может быть с уверенностью достигнут современным историческим языкознанием, соотносим с периодом не позднее IX—VII тысячелетий до н.э., к которому иногда приурочивают "эпоху распада" общепалеоазиатского языкового единства [Порхомовский, 1982, 23]. Как утверждал М. Суодеш, практике современной компаративистики уже известны успешные опыты зондирования временной глубины, значительно превышающие пять тысячелетий и, возможно, достигающие пятнадцати тысяч лет [Swadesh, 1964, 578]. Согласно В. Георгиеву, ларингальная теория предоставляет индоевропеистике возможности продлить предел традиционной "младограмматической реконструкции" еще на 10—15 тысячелетий [Georgiev, 1965, 216]. Нескольким последним оценкам резко противоречит мнение П. Хайду, подчеркивающего, что реконструкция языковых явлений более чем восьми—десятитысячелетней давности методами современной компаративистики заведомо безнадежна и заранее обречена на неудачу [Хайду, 1985, 169].

В целом невозможно отказаться от впечатления, что столь существенно расходящиеся (и не всегда прямо сопоставимые) оценки не дают сколько-нибудь прочной основы для определения действительности реконструктивных процедур современной компаративистики и в лучшем случае отражают более или менее признанную практику соответствующих частных отраслей сравнительно-исторических исследований. Такое впечатление, вероятно, еще более окрепнет, если

учесть остроту контrovers, сопровождающих эволюцию представлений индоевропеистики о тех или иных фрагментах индоевропейской языковой структуры, проецируемых в IV тысячелетие до н.э. и глубже (приступая к рассмотрению развития праиндоевропейского вокализма, Р. Шмитт-Брандт писал, например, в 1967 г., что "о вокализме индоевропейского мы знаем сегодня столь же мало достоверного, как и во времена Бругмана и Соссюра" [Schmitt-Brandt, 1967, 7]). Нарисованной в предшествующем изложении картины, вероятно, достаточно, чтобы признать справедливость неоднократно формулировавшегося в прошлом положения, согласно которому документально засвидетельствованная история языков, даже будучи дополненной "доисторической" реконструкцией посредством сравнительного метода, охватывает только весьма незначительный этап развития языка [Sturtevant, 1947, 40] (последний вывод останется в силе и в том случае, если ограничить всю эпоху существования языковых семей не 40 тысячелетиями, отмеченными существованием сапиентного человека, а всего лишь примерно 20 тысячелетиями, как это принимает, исходя из не вполне ясных соображений, Д. Дэчи [Décsy, 1981, 69]). Нельзя, таким образом, не согласиться с мнением о том, что для палеолита и мезолита нет оснований допускать образования языковых общностей, реальные следы которых сохранились бы до исторических времен [Горнунг, 1964, 16]. Остается заметить в этой связи, что подобному заключению не противоречит хорошо известная каждому компаративисту тенденция постепенного, но неуклонно продолжающегося удревления в сравнительных грамматиках абсолютной хронологии праязыкового состояния, связанная с осознанием большой сложности процессов, равно как и неравномерности темпов исторического развития языковых семей.

О том, каким образом знание абсолютной хронологии фактов может воздействовать на решение генетических проблем, свидетельствует, например, судьба сопоставления тюркских числительных от одного до шести с их аналогиями в южноамериканском языке кечуа, предпринятого Ж. Дюмезилем [Dumézil, 1954; 1955]; ср.:

Чувашск.	Кечуа (Куско)
1. peṛä, peṛ	*phiwi
2. ikē, ik	iskaj (iškaj)
3. višē, viš	kinsa, kimsa
4. tāvat(a)	tawa
5. piḷēk	pisqa (pišqa)
6. ult(ǎ)	sugta

И хотя Ж. Дюмезиль предпринял поиски возможных в свете этого материала фонологических корреспонденций на более широком лексическом материале (впрочем, слабость семантического звена соответствующих сопоставлений при этом довольно очевидна ввиду относительно позднего формирования числительных), он резонно оставляет открытым вопрос, каким образом можно надеяться продемонстрировать родство языков, которые должны были разойтись много тысячелетий тому назад [Dumézil, 1955, 18].

Очень характерная для начального периода развития сравнительно-генетического языкознания практика одноплоскостного соотношения всех или большинства реконструированных архетипов приводила к искажению исторической перспективы исследования и, в частности, поддерживала популярность представления о процессе языковой филиации как акте единовременного "распада" языка основы. Поэтому специальная разработка приемов хронологизации языковых явлений была стимулирована лишь осознанием компаративистами возможности необоснованного совмещения в рамках единой временной плоскости элементов, преимущественно относившихся к разным эпохам прошлого.

Приведем в этой связи следующее предостережение И. Шмидта: "Полученная в результате реконструкции исходная форма слова, основы или суффикса представляет собой не что иное, как последний достигнутый нами результат в исследовании данного языкового элемента и только как таковой имеет значение для языкознания. Однако, как только, складывая вместе большее или меньшее число таких исходных форм, мы начинаем думать, что получили из них какой-то фрагмент праязыка, большой или малый, относящийся к одному времени, мы теряем почву под ногами. Различные исходные формы могли возникнуть в разное время, и у нас нет никакой уверенности в том, что форма А оставалась неизменной в то время, когда появилась форма В, и что возникшие одновременно с ними формы С и D не претерпели изменения за это время. Если же мы захотим написать на таком праязыке связное предложение, может случиться, что оно, даже при условии адекватности реконструкции каждого элемента в отдельности, будет в целом выглядеть не лучше, чем перевод какого-нибудь отрывка из Евангелия, часть слов которого мы возьмем из Вульфила, часть из так называемого Татнана, а часть из переводов Лютера, поскольку в индоевропейском языке отсутствует историческая перспектива" [Schmidt, 1872, 30].

Со временем в технике относительной хронологизации сложилась две основных группы приемов: определение последовательности явлений на временной оси, с одной стороны, и совмещение явлений во времени, т.е. их синхронизация, с другой. Ориентиром, определяющим обычно хронологические рамки функционирования рассматриваемого явления, оказывается установление его нижнего (*ante quem* поп) и верхнего (*post quem* поп) пределов.

Относительно простое решение получают конкретные вопросы хронологий посредством анализа письменных традиций языков, особенно когда непосредственные временные указания представляет компаративисту уже самая приуроченность текстов к определенной эпохе. На этой возможности и основывается известный принцип "хронологии текстов" М. Бартоли [Bartoli 1925; Bonfante, 1969]. Так, например, обнаружение в древнегрузинских письменных памятниках следов различия категории инклюзива ~ эксклюзива в морфологической структуре глагола дает картвелистам основания констатировать архаичность этой морфологической категории для грузинского и вместе с фактом ее отчетливого функционирования в части современных

сванских диалектов — в лашхском и лентехском — предполагать ее исконность для картвельских языков в целом [ср. Климов, 1981].

Необходимо учитывать, конечно, что свидетельства текстов помещают в хронологическую перспективу факты прежде всего того языка, на котором они записаны, хотя по нередко встречающимся в них иноязычным фрагментам они способны служить компаративистике и ценнейшим ориентиром в изучении истории родственных бесписьменных языков (ср. важную роль отдельных мегрелизмов, засвидетельствованных в разновременных памятниках грузинского языка, для датировки, например, фонетических процессов, определивших характерный звукотип занского материала). Не менее существенно, однако, и то обстоятельство, что вследствие неравномерности темпов развития родственных языков памятники письменности одного из них могут отражать более позднее состояние по сравнению с засвидетельствованным в некоторых современных их представителях. В частности, диалекты того же сванского языка и в ряде других отношений еще в настоящее время демонстрируют более архаичное состояние грамматического строя, чем то, которое отражено древнегрузинскими памятниками V—XI вв. Тем не менее, в условиях невозможности соотнесения истории той или иной генетической группировки языков со сколько-нибудь старой письменной традицией задачи исследователя усложняются.

Среди совокупности вопросов, связанных с определением релятивной хронологии явлений, особенно сложной представляется проблема совмещения последних в рамках некоторого единовременного состояния, решение которой невозможно вне разработки методов синхронизации явлений как в пределах одного уровня языковой структуры, так и явлений ее различных уровней. Между тем, в компаративистике, по-видимому, еще встречается некоторая недооценка важности этой проблемы, нерешенность которой чревата нарушением всей исторической перспективы сравнительно-генетического исследования.

Так, в порядке реакции на резонные, на наш взгляд, предостережения об опасности одноплоскостного совположения совокупности реконструируемых для праязыкового состояния архетипов, способных принадлежать разным эпохам, иногда апеллируют к тому по существу нерелевантному факту, что и в исторически засвидетельствованных языках, как правило, налицо разновременные по своему происхождению элементы (в частности, в качестве такового приводят язык Гомера или аттический диалект древнегреческого [ср. Leumann, 1956, 165; Nehring, 1961, 362]). Нетрудно убедиться, однако, что подобные соображения возникают всецело на базе устаревшего статического представления о праязыковом состоянии и не снимают с повестки дня исследование разработки методов синхронизации реконструируемых архетипов.

Естественно ожидать, что в поиске конкретных приемов синхронизации явлений прошлого следует опять-таки исходить из общего принципа системной организации языка. Так, на фонологическом уровне одной из форм применения последнего может служить вре-

менное совмещение серий фонем гомогенного образования (хотя приходится считаться и с возможностью постуляции так называемых дефектных серий фонем, оказывающихся синхронными проекциями языкового изменения). Например, в абхазско-адыгских и нахско-дагестанских языках либо налицо более или менее конгруэнтный всей соответствующей коинсоантиной системе набор латеральных фонем, либо они полностью отсутствуют (при единственном исключении в бацбийском языке, где отмечают очень редко встречающуюся латеральную фонему  $\text{ɬ}$ , часто замещаемую в устах более молодого поколения обычным  $\text{l}$  [ср. Дешериев, 1953, 32]). В сфере грамматики этот же принцип более или менее отчетливо проявляется в наличии определенных корреляций между многими синтаксическими и морфологическими явлениями. В частности, здесь естественно использовать известные закономерности обычной типологической конгруэнтности между такими явлениями, как синтаксический строй предложения и морфологические средства оформления главных его членов (при этом, впрочем, также целесообразно допускать эффект отставания более консервативного на шкале языкового развития морфологического уровня от синтаксического). Наконец, в сфере лексики некоторые ориентиры синхронизации фактов задает практика так называемой групповой реконструкции лексем, позволяющей восстанавливать лексемные совокупности единого семантического круга, особенно в более определенно обозначенных границах терминологии того или иного производства. В ряде случаев здесь оказывается возможным и учет различных экстралингвистических соображений, в частности, свидетельств истории материальной и духовной культуры соответствующего общества.

Трудности соотнесения некоторой совокупности реконструированных явлений с единой хронологической плоскостью обусловлены совершенно недостаточной изученностью закономерностей синхронной мотивации языковых фактов как внутри отдельно взятых уровней языковой системы, так и в их межуровневой обусловленности. В частности, недостаточно эффективным оказывается в этом отношении слишком широкий критерий совместимости конкретных явлений, который применял в свое время А. Мейе. Приведем следующее характерное для него рассуждение: "если в семитском корне, как общее правило, три чередующихся гласных, то в индоевропейском корне только одна гласная, так как в двусложных корнях одна из гласных непременно находится на нулевой ступени. Поэтому корень и чередование в нем гласных в индоевропейском играет меньшую роль, чем в семитском; префиксация затемнила бы, следовательно, индоевропейский корень, тогда как она не препятствует говорящему ясно чувствовать семитский корень; отсюда — использование префиксации в семитском и отсутствие этого грамматического приема в индоевропейском. С другой стороны, индоевропейский, имея в своем корне меньше выразительных средств, чем семитский, прибегает в большей мере к помощи суффиксов и окончаний. Все объясняется структурой каждого данного языка" [Мейе, 1938, 203—204]. Должно быть очевидным, что подобные соображения позволяют синхронизо-

вать, как правило, весьма ограниченные связи языковых явлений прошлого. Тем не менее, в современной компаративистике не приходится игнорировать и столь скромные возможности. На уровнях фонологии и лексики некоторые перспективы синхронизации фактов открывают системные закономерности передачи заимствованного материала. Например, в пользу отнесения заимствования пракартвельских числительных \*š(i)wid- 'семь' и \*aḡwa- 'восемь' примерно к одной и той же эпохе, по-видимому, говорит единообразное в обоих случаях отражение семитского *b* картвельским *w* — ср. аккад. šibitt и aḡba (поскольку на картвельской почве процесс \**b* > *w* не прослеживается, естественно допустить, что спирантный рефлекс исходного смычного имел место уже в том языке, через посредство которого семитизмы проиикали в картвельскую языковую область).

Значительно более ощутимого эффекта можно ожидать в этом плане от обращения к закономерностям, устанавливаемым в сфере типологии и лингвистики универсалий. Так, если для некоторого древнейшего пракартвельского состояния удастся строго обосновать лексемное противопоставление активных глаголов стативным, то с достаточно высокой степенью вероятности для этого состояния сможет быть постулирован и весь остальной набор характерных структурных признаков активного строя, охватывающих синтаксический и морфологический уровни языка. С дальнейшим ростом числа выявленных в лингвистике универсальных импликаций между языковыми явлениями проблема временного совмещения реконструируемых архетипов будет приобретать для своего решения все большее количество точек опоры (вместе с тем, в специальной литературе высказываются самые серьезные сомнения в возможности выведения собственно компаративистических универсалий).

Среди приемов синхронизации архетипов единого уровня необходимо упомянуть так называемую групповую реконструкцию, особенно хорошо зарекомендовавшую себя в сфере сравнительно-исторической лексикологии.

Глоттохронологическая методика (или так называемая лексико-статистическая теория) М. Суодеша претендует на определение временной глубины праязыкового состояния двух или нескольких родственных языков в абсолютном измерении. Она основана на трех посылах: а) наличие в каждом языке узкого "основного" словаря, отражающего общечеловеческие понятия (используются его списки в составе 200 или 100 лексем); б) примерно одинаковый по языкам мира темп его изменения (список из 200 слов эмпирически обнаруживает индекс его сохранения, равный 81% за тысячелетие, список из 100 слов дает индекс, равный 86%); в) приблизительное постоянство процента сохранения основного словаря во времени (величины г). Процедура метода сводится к определению процентного содержания исконных единиц основного словаря сопоставляемых языков, выявляемого с учетом схем фонологических корреспонденций, с одной стороны, и обязательного сохранения идентичной семантики, с другой, и к последующему подсчету соответствующей найденному процентному содержанию временной глубины языковой дивергенции.

Согласно лингвистически реинтерпретированной формуле расчета времени радиоактивного распада, основанной также на постоянстве соотношения между продуктами разложения и исходным количеством вещества за единицу времени, в истории одного языка время  $t$ , за которое в нем сохранился определенный процент первоначального состава основного словаря  $C$ , вычисляется по равенству  $t = \log C \div \log r$ , где  $r$  есть индекс сохранения слов основного словаря за одно тысячелетие; при взаимной дифференциации из общего источника двух языков  $t_1 = t_2$  и, следовательно [Swadesh, 1952; Lees, 1952, 118—119; Swadesh, 1955; Gudschinsky, 1956]:

$$t_1 + t_2 = \log C \div \log r,$$

$$2t = \log C \div \log r,$$

$$t = \log C / 2 \log r.$$

Методику лексико-статистического анализа можно проиллюстрировать на примере датировки общекартвельского состояния периода "накануне распада". При переводе предпочтительного списка М. Суодеша на картвельские языки число совпадений исконных единиц составило: между грузинским и мегрельским языками — 44%, между грузинским и лазским — 42%, между грузинским и сванским — до 27% и между лазским и сванским — 26%.

В соответствии с приводимыми цифрами, незначительно измененными по сравнению с данными, использованными в статье автора, опубликованной в 1961 году, абсолютное время дифференцированного развития картвельских языков составляет соответственно около 2600 и 4200 лет. Иными словами, грузинско-занское состояние должно было начать свой "распад" не позднее VII в. до н.э., в то время как начало дивергенции грузинско-сванского (//занско-сванского) единства должно было восходить еще к XXIII—XXI вв. до н.э. Полученные посредством этой методики датировки процессов дивергенции картвельских языков, по-видимому, не противоречат некоторым другим релевантным для решения вопроса лингвистическим аргументам. Так, например, известно, что сванский разделяет с остальными картвельскими языками скотоводческую терминологию, однако почти не разделяет земледельческой, крайне сомнительна общность сванского обозначения меди с грузинско-занским; в сванском и грузинско-занском не обнаруживается общих обозначений целого комплекса культурных приобретений, соотносящихся с эпохой после XII—XI вв. до н.э. — льна, железа, глиняной маслостойки, лошади и т.п. Конечно, в силу ряда причин и, в частности, ввиду возможности принять несколько иной индекс сохранения исконного лексического фонда за тысячелетие, полученные абсолютные цифры могут оказаться недостаточно достоверными (необходимо подчеркнуть, что в специальной литературе неоднократно обращалось внимание на то обстоятельство, что во многих случаях подсчета в условиях возможности контроля со стороны свидетельств иного порядка такие цифры оказываются существенно заниженными сравнительно с реальным ходом процессов языковой филиации). Однако даже при самой скептической оценке подобных абсолютных



датировок вне сомнения остается достоверность относительной хронологии взаимной дивергенции картвельских языков [ср. Климов 1961; Bergsland, Vogt, 1962; Гамкрелидзе, Мачавариани, 1965, 5—6].

Приемы хронологизации явлений в компаративистике можно разделить — по отношению к определенной языковой системе — на внешние и внутренние. Абсолютная хронологизация явлений возможна преимущественно в тех случаях, когда соответствующие точки опоры лежат за пределами рассматриваемых компаративистом языков (внутриязыковые точки опоры в этом плане налицо прежде всего в имеющихся у данной традиции памятниках письменности, объективно датирующих факты преимущественно с точки зрения *post quem* поп). Иногда, будучи внешними по отношению к данной языковой системе, они остаются все же в языковой сфере, иногда лежат уже за пределами ее, оказываясь по своему существу историческими, археологическими и иными. В высшей степени практичным опорным средством в этом плане давно зарекомендовали себя лексические заимствования, отражающие более или менее заметные вехи в культурном, экономическом или социальном развитии общества.

Так, если учитывать, что христианизация Грузии происходила в основном в IV—V вв., то наличие в сванском языке такого мегрелизма, как *oqwa* 'церковь' (при современном мегр. *oxwa*), должно свидетельствовать о том, что увулярный придыхательный *q* сохранялся в мегрельском еще в похристианскую эпоху. Фонетический облик отдельных лексических заимствований, встречающихся уже в древнегрузинских и древнеармянских письменных памятниках, позволяет утверждать, что основные фонетические преобразования, отличающие мегрельский и лазский языки от грузинского, были в них реализованы еще до V в. н.э. В то же время заметные расхождения, существующие между мегрельским и лазским в структуре предложения, и прежде всего значительно больший удельный вес так называемого прямого строя последнего (за счет более далеко зашедшего процесса распада класса *verba sentiendi* и изменения типа спряжения в результативных временах), должны были сложиться в период после V—VI вв. н.э., к которому обычно приурочивается утрата ареального соприкосновения между обонми. Если учесть, что фонетический процесс передвижения  $\text{ʃ} > \text{y}$  завершается в армянском языке во всяком случае в IX—X вв., то возникает возможность соотнести проникновение в лезгинские языки целого пласта лексических арменизмов с эпохой не позднее этого времени: ср. удин. *qala* 'хромой' < арм. *kał*, удин. *mangal* 'коса (орудие)' < арм. *mangał*, удин. *pilin3* 'медь' < арм. *płin3* и т.п. Характерный для некоторых лезгинских языков переход \**n* > *d* в исходе слова следует, по всей вероятности, датировать эпохой после первых контактов лезгин с тюрками, поскольку он засвидетельствован и в отдельных тюркизмах (ср. лезг. *qelid* 'ятровь, невестка' при тюрк. *kelin* 'невеста, невестка').

Наиболее широкое применение в практике компаративистики находят внутрилингвистические критерии хронологизации (как правило, релятивной), составляющие некоторую единую совокупность приемов. Чаще всего они основаны на установлении отношений логической

зависимости между рассматриваемыми явлениями: если удается вскрыть причины наступившего в части родственных языков изменений, то тем самым определяется и временная последовательность эволюции в сопоставляемых явлениях. Выводы аналогичного порядка инаправляются и в случаях, если одно из сопоставляемых состояний образует предпосылку другого, как это, например, имеет место в отношениях корневого и производного слова [ср. Порциг, 1964, 86].

При характеристике проблем фонологической реконструкции уже упоминались отдельные приемы, фиксирующие зависимость одних процессов от результатов других (см. выше главу IV). Становление автоматических морфофонемных чередований всегда проецируется в более близкую эпоху, чем возникновение неавтоматических. Нельзя не учитывать и наблюдения, сделанного в последние два с половиной десятилетия, согласно которому порядок применения морфофонемных правил в порождающей модели языка нередко отражает собой релятивную хронологию имевших место в истории языковой семьи фонологических процессов [ср. Halle, 1962; Saporta, 1965; Sigurd, 1966; Гамкрелидзе, 1968; King, 1969]. «Можно утверждать, — пишет в последней связи Т.В. Гамкрелидзе, — что существует некое соотношение между порядком (последовательностью) „правил переписывания“, описывающих некоторые фонемные преобразования, и релятивной хронологией соответствующих фонемных изменений, имевших место в фонологической системе рассматриваемого языка (т.е. с порядком следования этих изменений во времени). „Правила переписывания“, расположенные в определенном порядке с учетом простоты и экономности описания рассматриваемых процессов, отражают порядок следования во времени диахронических фонемных преобразований. Устанавливаемый порядок размещения „правил переписывания“ может служить основой для реконструкции порядка следования во времени (релятивной хронологии) описываемых диахронических фонологических процессов» [Гамкрелидзе, 1968, 39].

Относительно недавно сформированные морфологические категории нередко характеризуются множеством формальных средств их выражения. Напротив, давность функционирования морфологической категории удостоверяется обычно ее формально унифицированным обликом. Формально сложные грамматические элементы вторичны по отношению к их более простым составляющим (ср., например, серии падежных показателей, базирующихся на некотором едином для них первичном).

В области лексики более поздними, как правило, оказываются лексемы, строение которых в плане словообразовательной структуры является прозрачным. Эта закономерность особенно очевидна на материале композитов. Например, из двух различных обозначений одной и той же реалии — одного немотивированного, а другого представленного описательным образованием — первое древнее второго. Ср., например, хетт. *ḫartaḡga-*, др.-инд. *īkṣa-*, др.-греч. *ἄρκτος*, арм. *aṙṣ*, др.-ирл. *art*, лат. *ursus* ‘медведь’, с одной стороны, и др.-инд. *madhuv-ad* и др.-слав. *medv-ědi* ‘медведь’ (букв. ‘поедатель меда’), с другой; абх. *a-ža*, убух. *la* ‘заяц’, с одной стороны, и адыг. *thaḳʷəm-čəh*

и каб. *thaḡʷəma-ḡəh* 'заяц' (букв. 'с длинными ушами'), с другой.

Одним из дискуссионных вопросов хронологии в рамках сравнительно-генетической проблематики остается вопрос о возможности периодизации истории праязыка, о чем свидетельствуют контрroversы вокруг соответствующей рубрикации не только глубоко отстоящих праязыковых состояний, но и относительно близких. Исследовательская практика, в частности, в рамках наиболее продвинутых в методическом отношении отраслей компаративистики, в большинстве случаев приводит в соответствии с некоторыми возможностями контроля к целесообразности постуляции двух хронологических срезов в истории праязыкового состояния — его наиболее позднего периода, т.е. так называемого периода "накануне распада", с одной стороны, и некоторого "предельного" периода, с другой (ср. иногда ориентированную на эти срезы практику размежевания ближней и дальней реконструкции).

Необходимо, однако, подчеркнуть в высшей степени условный, сугубо методический по своему существу характер подобного членения. Он обязан тому обстоятельству, что уже в самом подразумеваемом при этом подходе к праязыковому состоянию как к некоторому реальному языку прошлого (а не некоторой совокупности языков-диалектов) можно усмотреть определенный пережиток концепции родословного древа, прямолинейно выводившей то или иное множество родственных языков из определенного языкового индивидуума прошлого. В частности, несомненная условность понятия праязыкового состояния "накануне распада" определяется уже тем, что языковая дивергенция представляет собой перманентный процесс, содержание которого — особенно, для древних эпох — сводит до минимума периоды сколько-нибудь стационарного состояния (ср. выше главу III). «Возникает опасение, — писал в этой связи В.М. Жирмунский, — что рассечение исторического процесса на два синхронных „среза“ создаст слишком „жесткую“ модель, не соответствующую реальной динамике языкового движения. Диахрония не есть последовательность синхронных срезов: это процесс непрерывного движения, в котором разные элементы системы развиваются одновременно и с разной скоростью» [Жирмунский, 1976, 275]. Должно быть естественным, что еще большая степень условности характеризует понятие некоторого предельно достижимого рубежа праязыковой реконструкции, под которое обычно подводится некоторая совокупность разноразличных архетипов, само совмещение которых в некоторой единой хронологической плоскости составляет едва ли выполнимую задачу и на решение которой обычно претендует лишь диахроническая интерпретация реконструированных праязыковых праформ.

В целом наименее разработанной стороной методики сравнительно-генетических исследований остаются проблемы локализации языковых явлений прошлого. Их разрешение практически не облегчается тем обстоятельством, что и в этом плане преимущественным объектом внимания компаративистов является относительная, а не абсолютная соотносительность явлений. О возникающих на этом пути трудностях красноречиво свидетельствуют продолжающиеся в индоевропеистике

дискуссии о локализации таких древних фактов индоевропейской "зональной морфологии", как личные окончания форм среднего и страдательного залога с элементом -г, окончания творительного падежа -bhi и -m, родительного падежа основ на -e//o (-o-sjo и -e-sjo), о распределении отдельных лексических изоглосс и т.д. В методически менее прогрессировавших отраслях генетического языкознания наталкивается на непреодолимые трудности даже сама постановка подобных вопросов. Так, например, при наличии таких гетерогенных признаков творительного падежа, как груз.-занск. -it и сван. -šw в картвелестике, с одной стороны, ставится под сомнение факт сформированности инструменталиса в пракартвельском состоянии, а с другой, допускается, что сванский показатель как-то увязывается с грузинско-занским (-šw < \*-šdw ? при наличии закономерного звукосоответствия груз.-зан. t ~ сван. št). Вследствие нередкой неполноты имеющегося в распоряжении компаративиста материала и, прежде всего, вследствие неизбежных потерь архетипа в степени адекватности его территориальной привязки по сравнению с лежащей в его основе языковой данностью, достаточно сложной бывает и локализация явлений, реконструируемых даже для хронологически не столь отдаленных эпох.

Подобно тому, как различаются задачи релятивной и абсолютной хронологизации архетипов и их совокупностей, естественно говорить о различиях задач их относительной и абсолютной локализации. Должно быть достаточно очевидным, что и в этой сфере с точки зрения компаративистики более существенно решение вопросов относительного плана, поскольку именно относительная локализация явлений способна пролить свет на историю отражающих их распределение изоглосс. Нетрудно заметить, вероятно, что именно решение более широкой задачи релятивной локализации цельных языковых систем приводит в конечном счете к генетической группировке ингредиентов языковой семьи, т.е. к разработке одной из важнейших проблем современного сравнительно-генетического исследования. Операция группировки родственных языков (subgrouping, subclassification) сводится к определению генетического расстояния между ними и построению соответствующей классификации. Схематическим выражением последней, как правило, служит модель родословного дерева [ср. Hoenigswald, 1966], вследствие чего иногда не вполне корректно отмечают, что "процедура построения родословного дерева называется группировкой" [ср. Dyen, 1956, 612]. Решение этой задачи всегда предполагает выполнение специального качественного исследования. Необходимо подчеркнуть, что без последнего не обходятся, в частности, и так называемые статистические методики. Однако известные статистические выкладки, неоднократно производившиеся в этой связи на индоевропейском материале, начиная с 30-х годов текущего столетия, оказались в лучшем случае способными иллюстрировать лишь некоторые стороны близости языков [ср. Kroeber, Chrétien, 1937; 1939; Gudschinsky, 1955] (к критике слабостей статистических подходов см., например, [Safariewicz, 1948]).

В настоящем контексте целесообразно упомянуть предложенное М. Суодешом следующее терминологическое разграничение генети-

ческих общностей, основанное на введенном им в обиход компаративистики статистическом подсчете процента сохранения в них единиц основного словаря

Термин	Расхождение (в столетиях)	Процент совпадений
language	0—5	100—81
family	5—25	81—36
stock	25—50	36—12
microphylum	50—75	12—4
mesophylum	75—100	4—1
macrophylum	свыше 100	менее 1

Даже если отвлечься от подчеркнутого выше несовершенства самого используемого в этой классификации "метода глоттохронологии", самоочевидно, что уже элементарная для нее альтернатива "язык как языковая семья" разрешается здесь на чрезвычайно узкой и к тому же собственно лингвистической базе. Между тем было бы естественным принять, что ее решение должно быть органически увязано с узловой для лингвистической таксономии проблемой "язык или диалект", при решении которой обычно руководствуются совокупностью критериев не лингвистического, а социолингвистического порядка. Вероятно, нет необходимости доказывать, что степень расхождения отдельных языков и языковых группировок в рамках макросемьи коррелирует не столько с абсолютным временем дивергентного процесса, сколько с обуславливающими последний социальными условиями их бытования. Именно от последнего обстоятельства зависит и неодинаковая степень пересеченности языкового ландшафта в разных языковых семьях.

Далеко не каждая качественная методика группировки языков может быть признана достаточно эффективной. В истории компаративистики уже неоднократно демонстрировалась неэффективность опытов установления внутреннего членения языковой макросемьи или ее фрагмента на основе отдельных фонетических критериев. Одним из наиболее популярных из них явился опыт разделения индоевропейских языков на большие группы — "западную" типа *kentum* (в составе италийских, кельтских, германских, греческого и албанского) и "восточную" типа *satəm* (в составе балтийских, славянских, индоиранских и армянского), решительно подорванный показаниями позднее открытых тохарского и анатолийских языков, и, в частности, тем обстоятельством, что среди последних хеттский должен был быть отнесен к группе *kentum*, а ближайше родственный ему лувийский — к группе *satəm*. "Однако неполноценность этого деления, — отмечал Э. Бенвенист, — стала очевидной сразу после открытия хеттского языка. Стало ясно, что палатализация — процесс, не подкрепленный никакими другими изоглоссами и не имеющий функционального значения, — вступила в действие сравнительно поздно и указывает на относительно позднюю стадию развития. Архаичные языки в любой позиции удерживают велярную артикуляцию: это характерно и для тохарского и для хеттского" [Бенвенист, 1959, 93]. Аналогичной ока-

залась и судьба традиционного деления картвельских языков по фонетическому признаку на так называемую свистящую (грузинский язык) и шипящую (мегрельский, лазский и сванский) ветви, сформулированного еще в начале текущего столетия Н.Я. Марром, отклоненного позднее с обнаружением общей обособленной позиции сванского в их составе. Ничего не дал бы сравнительно-генетическому исследованию нахско-дагестанских языков опыт их классификации, основанный на каком-либо фонетическом признаке. Например, по признаку сохранения//утраты латеральных согласных в их единую ветвь вошли бы наряду с аваро-андо-цезской подгруппой, бацбийский язык из нахской подгруппы и арчинский — из лезгинской (и, напротив, из этого объединения пришлось бы исключить некоторые диалекты аварского языка, утратившие ныне латеральные).

Необходимо все же отметить одну сферу, где обращение к фонетическому критерию может, по-видимому, послужить определенным ориентиром группировки ингредиентов языковой семьи. Такой сферой являются близкородственные языки, различия между которыми затрагивают преимущественно фонетический облик их материала. Исходя из положения современной диалектологии о градуальном распространении того или иного фонетического процесса по языковому материалу, отражаемом тремя его категориями: 1) элементами, затронутыми данным процессом; 2) элементами им еще не затронутыми; 3) элементами, обнаруживающими чередование обоих состояний — возникает возможность определения степени родства сравниваемых языков в соответствии с объемом представленного в них фонетически единообразного материала [см. Krishnamurti, Moses, Danforth, 1983]. Следует заметить, однако, что действенность этого приема пока еще далеко не достаточно проверена на практике.

Среди отдельно взятых критериев группировки родственных языков морфологические признаки представляются обычно более надежными, чем фонетические, хотя необходимо подчеркнуть, что в основу соответствующей классификации они, как правило, ложатся в совокупности с фонетическими или лексическими критериями, и что в случае изолирующих языков вопрос о них вообще снимается. Еще более надежным ориентиром в этом отношении часто признается степень лексической близости языков (особенно в условиях определенной тематической системности корнеслова), поскольку сравнение лексем предполагает наличие параллельного соотношения как в корневой, так и в словообразовательной морфеме [см. Сравнительная грамматика германских языков, I, 1962, 51 и след.]. Действительно, именно в последнем отношении свою неповторимую специфику всегда обнаруживают наиболее близко родственные языки.

Вероятно, не требует особой аргументации тот факт, что более далеко отстоят друг от друга языки, генетическое единство которых обнаруживается преимущественно лишь по корневому материалу (последнее соображение, естественно, не относится к языкам изолирующего строя). В более близких языках такое единство прослеживается и на материале словообразовательных и словоизменительных аффиксов и, следовательно, на материале целостных лексем (и даже —

их словоформ). В последнем случае, как правило, чаще наблюдаются и совпадения в семантике слов. Иллюстрацией такого положения вещей может послужить следующая таблица словарных сопоставлений между отдельными картвельскими языками, выявляющая значительно большую близость грузинского и мегрельского при несомненно более обособленной позиции сванского.

Таблица 1

Грузинский	Мегрельский	Сванский	Значение
kartw-el-	kortu-	mə-kärt	'грузин'
xuc-es-	uč-aš-	xoš-a	'старший', сван. 'большой'
dg-m-a	dg-um-a	li-g-em	'ставить'
b-m-a	b-um-a	li-b-em	'привязывать'
dye-	dya-	la-dey-	'день'
katam-	kotom-	kata-l-	'курица'
cm-el-	cim-u	na-cm-un	'сало'
kwisl-	kwišil-	me-kwš-ēl	'свояк'
zma-	žima-	žəm-il	'брат', сван. 'брат (в отношении к сестре)'
zwel-	žweš-	žwin-el	'старый'
čem-	čkim-	mi-šgwi	'мой'

Однако максимальную надежность сообщает исследованию в этом плане комплексный критерий, основанный на сочетании диагностических признаков, представляющих разные уровни языковой структуры. Если оставить в стороне нередко интуитивно формируемую и варьирующую по языкам совокупность признаков, позволяющую взаимно отграничивать лишь наиболее отчетливо обозначенные подразделения языковой семьи (охватывающие обычно близкородственные языки), то в качестве подобного классификационного критерия, начиная еще с работ К. Бругмана и Б. Дельбрюка в компаративистике признается совокупность общих, прежде всего лексических (в том числе — словообразовательных) и морфологических инноваций [ср. Brugmann, 1884; Дельбрюк, 1904; Greenberg, 1957]. Именно общность новообразований обычно свидетельствует о совместном пути развития сравниваемых языков, продолжавшимся еще в относительно позднюю эпоху. Если учесть, что такие новообразования могут быть как позитивными, т.е. сводиться к приобретению некоторых явлений, так и негативными, т.е. выражаться в утрате ряда явлений, то компаративисты, как правило, подчеркивают особую важность инноваций, возникающих за счет позднейшего приобретения каких-то черт [Netzgon, 1976, 96], что достаточно отчетливо видел по существу еще А. Мейе (выше уже говорилось с необходимости строгой идентификации совместных новообразований и их отграничения от продуктов параллельного развития в обособленных языках). Нельзя не признать

вместе с тем, что значение инноваций, разделяемых обычно относительно близко родственными языками, может оказаться несколько ослабленным наличием у их части и существенных отличительных особенностей.

Недоказательно в рассматриваемом отношении сохранение некоторыми ингредиентами языковой семьи одинаковых архаизмов, поскольку последние вообще характерны для более или менее изолированных зон ареала языковой семьи. Исходя из сказанного, должна быть понятной неубедительность попыток определения генетической близости, основанных на формальном подсчете разделяемых сопоставляемыми языками лексических общностей, что, естественно, сказывается и на степени адекватности результатов, получаемых посредством лексико-статистической методики М. Суодеша.

Так, в соответствии с изложенными принципами, принадлежность арчинского языка Дагестана к лезгинской подгруппе нахско-дагестанских языков была продемонстрирована Е. А. Бокаревым на материале целого комплекса объединяющих лезгинские языки лексико-грамматических новообразований (ср. наличие генитива на -п, датива на -s, большое число специфических лексем, отсутствующих в других нахско-дагестанских языках) [Бокарев, 1981, 135—8]. Вместе с тем, некоторые черты арчинского, сближающие его с языками аваро-андийско-цезской подгруппы (ср., в частности, наличие серии латеральных согласных, отсутствие фонемы f и др.), носят характер архаизмов, встречающихся и в других зонах нахско-дагестанской языковой области.

Одним из немногочисленных удачных примеров адекватного решения вопроса классификации, основанных по существу только на фонетических критериях, явилось определение самостоятельной генетической позиции армянского языка среди индоевропейских. Как известно, на более раннем этапе развития индоевропейистики этот язык ввиду изобилия в нем разновременных иранизмов относился исследователями к числу иранских. В дальнейшем, однако, Г. Хюбшману удалось строго размежевать здесь иранизмы и собственно армянский материал в соответствии с различиями в фонетической рефлексации исконного лексического фонда, чем и было определено положение древнеармянского языка как самостоятельной ветви индоевропейских языков [см. Hübschmann, 1875; 1897].

Необходимо учитывать, однако, что разграничение так называемых совместных новообразований от инноваций, которые возникали уже в родственных языках в период их независимого развития, по сей день остается одной из наиболее сложных задач методики сравнительно-генетического исследования. «Сравнительные грамматики, — писал в этой связи А. Мейе, — обычно строятся так, как если бы все явления, совпадающие в разных языках, развивавшихся из одного „общего языка“, относились к периоду первоначальной общности. Авторы сравнительных грамматик, конечно, не думают этого, иногда они даже делают по этому поводу оговорки. Изложение ведется все же так, как если бы авторы допускали подобную гипотезу. Это особенно заметно, например, в Grundriss'e К. Бругмана...



А между тем, нет ничего более далекого от действительности, чем эта гипотеза» [Мейе, 1954, 45]. Сказанное тем более существенно, если согласиться с выводом того же А. Мейе, согласно которому "соответствия между исторически засвидетельствованными формами в гораздо большей мере, чем принято думать, являются результатом параллельного развития уже разделившихся и обособившихся языков" [Там же].

При решении задачи разграничения совместно пережитых новообразований и инноваций, возникших уже в период сепаратной истории родственных языков, компаративисты обычно обращаются к критериям *ad hoc*. Действительно, конкретные обстоятельства, от которых могут зависеть их выводы, довольно разнородны. Проще всего они достижимы в том случае, когда хронологию параллельного развития явлений оказывается возможным проследить по письменным памятникам (ср. приводимый А. Мейе пример позднейшего обобщения глагольного показателя 1-го лица ед. числа *-mi* в индийских и иранских языках, становящийся бесспорным на фоне древних текстов Гат Авесты, где он еще не был генерализован). Одним из наиболее четких ориентиров в этом отношении может служить различие в разновременных межъязыковых фонологических корреспонденциях. Так, например, в структуре однокоренного производного слова двух родственных языков факт параллельного развития следует усматривать в случаях, когда налицо в словообразовательном аффиксе фонетическое соотношение не отвечает тому звукосоответствию, которое ожидалось бы, исходя из принятой эпохи совместного развития идиомов.

Конечно, некоторое предварительное (фрагментарное по охвату языков и далеко не всегда адекватное) представление о генетическом членении языковой семьи может быть получено уже на относительно раннем этапе ее сравнительно-исторического исследования.

Однако вполне адекватным оно становится только после того, как будет реконструировано праязыковое состояние входящих в рассматриваемую семью языков. Действительно, если решающим критерием группировки признан факт наличия совместных новообразований, то нетрудно заметить, что само выявление этих новообразований становится возможным только с параллельным воссозданием общей картины праязыкового состояния [Dyep, 1978, 39—47].

Удобной иллюстрацией эффективности охарактеризованных выше принципов группировки может послужить история разработки генетической классификации картвельских языков. Первая схема, намеченная еще Н.Я. Марром, разделившим картвельские языки на так называемую свистящую (грузинский) и шипящую (в составе мегрельского, лазского и сванского) группы, была затем в принципиально аналогичном виде принята частью тбилисских лингвистов. Она была основана на фонетическом признаке различного отражения праязыковых сибилантов, при котором сванская рефлексация этих согласных представляется производной от занской (ср. груз. *c* ~ зан. *ç* ~ сван. *š*; груз. *z* ~ зан. *ž*; ~ сван. *ž*; груз. *c* ~ зан. *ç* ~ сван. *š* [ср. Шарандзенидзе, 1952,

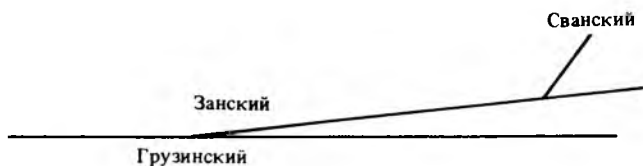


Рис. 5

Конкурирующая с последней схема была предложена в 1930 г. Г. Деетерсом и исходила из общности лексических и грамматических инноваций в грузинском, мегрельском и лазском языках. Согласно этой схеме, грузинский и занская ветвь картвельских языков должны были еще сохранять определенное единство в ту эпоху, когда сванский (или точнее, как иногда говорят — пресванский) стал уже по существу обособленной единицей [Deeters, 1930, 2—3] (см. рис. 4, с. 82).

Дальнейший прогресс сравнительной грамматики картвельских языков подтверждает адекватность схемы Г. Деетерса, отражающей широкую совокупность процессов единообразного развития грузинского и языков занской ветви, включающих не только лексические и грамматические, но и некоторые фонетические явления [ср. Schmidt, 1962, 12—17; Гамкрелидзе, Мачавариани, 1965, 17]. В настоящее время факт значительно более тесного родства между ними, поддерживаемый как качественными, так и количественными характеристиками материала, едва ли можно подвергнуть сомнению.

Так, в области грамматического строя установлена совокупность признаков, обособляющих сванский от остальных картвельских языков. В глагольной морфологии здесь отсутствуют формы страдательного залога на -d, "дефектно" функционирует субъектный суффикс 3-го лица ед. числа -s, налицо специфический набор глагольных превербов. В сфере морфологии имени в сванском имеется особый репертуар показателей множественного числа, а также более широко варьирующий состав падежных показателей. Факты фонетического уровня также далеко не всегда свидетельствуют в пользу второй схемы: хотя в отражении большинства праязыковых согласных сванский язык может быть объединен с занской ветвью, в области рефлексации праязыкового вокализма сванский скорее сближается с грузинским.

С другой стороны, не менее инструктивны в рассматриваемом отношении и соответствующие статистические характеристики. Так, например, если для грузинского и представителей занской ветви в настоящее время можно привести более 1000 древних лексических и корневых общностей, то грузинский и сванский объединяют лишь 400 подобных единиц, а занскую ветвь и сванский — несколько более 360. Следует подчеркнуть, что эти количественные соотношения сопровождаются и хорошо известной картвелистам значи-

тельно большей степенью общности словообразовательных средств грузинского и языков занской ветви (отличная точка зрения, встретившаяся нам в одной из недавних публикаций [Ломтатидзе (ред.), 1987, 5—6], по-видимому, отражает незнакомство с тем обстоятельством, что параллельно с возрастанием выявленного фонда общностей свайского языка с другими картвельскими продолжает расти и объем эксклюзивных общностей, разделяемых грузинским и языками занской ветви).

Совокупность классификаций, разработанных в рамках отдельных языковых семей, приводит к построению целостной генетической (так называемой генеалогической) классификации языков мира. Здесь, вероятно, было бы излишним подчеркивать огромную организующую роль, выполняемую в современной лингвистике различными классификациями языков. Отметим лишь, что это не только компактная фиксация множества раскрытых наукой внутренних связей между языками, но и определенный ориентир в их дальнейшем исследовании, и, следовательно, очевидный показатель степени зрелости соответствующей лингвистической дисциплины. Генетическая классификация языков, строящаяся в ходе компаративистических исследований, оказывается в едином ряду с типологической и ареальной, так что в конечном счете все три не только не исключают друг друга, но и находятся в отношениях взаимной дополнительности, характеризуя с разных точек зрения одну и ту же языковую действительность (так, очевидна одновременная принадлежность албанского языка к индоевропейской языковой семье, с одной стороны, к типологическому классу номинативных языков, с другой, к балканскому языковому союзу, с третьей).

Подобно типологической и ареальной классификациям, в центре внимания генетической оказываются определенные сходства между языками. Если первая из них ориентируется на сходства, возникающие в процессе параллельного развития языков, а вторая — на сходства, обязанные процессу их конвергенции в едином ареале, то третья опирается на сходства, обусловленные процессом дивергенции общего для рассматриваемых языков праязыка. Генетическая классификация может быть названа всесторонней, поскольку она оказывается построенной на совокупности разноуровневых признаков, охватывающих язык как целое. Вместе с тем, поскольку она зиждется на совершенно определенных и отнюдь не произвольных критериях она относится к числу естественных (а не искусственных), а также так называемых общих классификаций. Наконец, принадлежность генетической классификации к числу естественных обуславливает возможность ее исторической интерпретации. Дж. Гринберг считает существенными также два других признака генетической классификации — ее исчерпывающий и уникальный характер, проявляющийся соответственно в том, что все языки без остатка распределяются в ней по классам, и в том, что ни один язык не может быть включен в более чем один класс [Greenberg, 1957, 66].

Генетическая ("генеалогическая") классификация языков, естественно, не имеет связи с антропологической классификацией и вопреки

определенной тенденции отдельных представителей более раннего этапа развития языкознания (ср. характерные подзаголовки фундаментального труда Фр. Мюллера: например, Grundriss der Sprachwissenschaft. I Band, II Abteilung. Die Sprachen der Wollhaarigen Rassen, Wien, 1877) не дает каких-либо оснований для ее квалификации как расовой. И хотя не приходится отрицать релевантности данных сравнительно-генетических исследований для решения конкретных этногенетических проблем, о чем см. ниже в главе VI, современная компаративистика подчеркивает, что все ее понятия, типа "индоевропейский", "уральский", "банту", "сино-тибетский" и т.п., являются чисто лингвистическими и не совпадают ни с антропологическим понятием расовой общности, ни с этнографическим понятием этнической общности (ср., в частности, категорическое высказывание А. Мейе о том, что мы можем говорить только об индоевропейских языках, но не народах [Мейе, 1954, 106—108; Сэпир, 1934, 163—173; Жирмунский, 1965, 31—33].

Объективное назначение генетической классификации языков состоит в констатации исторических взаимоотношений последних. Вместе с тем, если учесть факт потенциально не ограниченного масштаба дивергенции родственных языков, а также, судя по всему, огромную часть языковой истории, уже утраченной для лингвистического исследования, то будет нетрудно "увидеть ограниченность генеалогической классификации, а также предел наших возможностей подобной классификации" [Бенвенист, 1963, 43—44].

Чрезвычайно сложной и в огромном большинстве случаев бесперспективной сферой сравнительно-генетического исследования является проблематика так называемой праязыковой диалектологии (представляется, что и в этом словоупотреблении, так же как и в ряде уже рассмотренных выше обычно отражаются реминисценции теории "родословного древа"). Даже если признать допустимость трактовки некоторых праязыковых состояний в виде совокупности диалектов реального языка прошлого, практика диалектологических исследований свидетельствует о самых существенных преобразованиях в самом составе и в ареальной конфигурации диалектов в истории языка. Так, историками языка и представителями лингвистической географии неоднократно обращалось внимание на наличие в прошлом значительно более пересеченного диалектного ландшафта и на невозможность выведения современных диалектов из древних. Работы в области исторической диалектологии постоянно сталкиваются с огромными трудностями восстановления древнего диалектного ландшафта даже реально засвидетельствованного языка. Например, из практики русской диалектологии следует вывод, что границы распространения важнейших явлений русского языка наиболее определенно соотносятся с границами объединений позднего периода феодальной эпохи (XIV в.). Отражения более раннего членения диалектных групп, связанного в известной мере с древнейшими землями XI—XII вв., может быть выявлено в отдельных случаях лишь в результате снятия более поздних напластований, а раннедревнерусские диалектные границы (эпохи до X—XI вв.) и, тем более,

границы восточнославянских "племенных диалектов" по современным лингвогеографическим данным вообще не восстанавливаются сколько-нибудь достоверным образом.

Таким образом, реальные перспективы соответствующего исследования во многом определяются самой временной глубиной залегания праязыкового состояния, и должно быть очевидным, что чем дальше отстоит рассматриваемое праязыковое состояние, тем менее определенное содержание приходится вкладывать в понятие праязыковых диалектов. Если, например, германская диалектология представляет собой, по мнению некоторых авторов, еще вполне реальную историколингвистическую дисциплину, то все соображения о "диалектном членении" индоевропейского праязыка носят, как им представлялось, уже в высшей степени умозрительный характер. Действительно, сплошь и рядом невозможно доказать сколько-нибудь исчерпывающий характер объема полезной в этом отношении информации, сохраняемой современными индоевропейскими языками. Показательно, что целый ряд компаративистов приходит к выводу, что «точка зрения, согласно которой отдельные ветви индоевропейского можно непосредственно возвести к неким доисторическим группировкам "прединдоевропейского" или соотносить с ними на одно-однозначной основе, не может быть принята в настоящее время в такой прямолинейной форме» [Бирнбаум, 1985, 35; ср. Pulgram, 1959, 426].

В компаративистике диахронический аспект проблемы относительной локализации явлений рассматривался по преимуществу лишь в плане реконструкции исторической конфигурации "диалектов" праязыка, подменяясь по существу составной частью некоторой значительно более широкой проблематики. В повестку дня исследования впервые он был поставлен в индоевропеистике на том этапе ее развития, когда в ходе начавшегося обсуждения степени родства между отдельными группами индоевропейских языков возникла идея разработки "индоевропейской диалектологии". Любопытно, что, начиная с первых работ этого плана, соответствующие критерии носили комплексный характер и охватывали признаки фонетического, морфологического и лексического порядка.

Одним из наиболее ранних примеров подобного исследования является известная монография А. Мейе, в которой, не пытаясь придать устанавливаемым им изоглоссам сколько-нибудь абсолютную локальную перспективу, он нарисовал следующую схему взаимного размещения исходных "индоевропейских диалектов" [Meillet, 1908, 134].

Германский	Балто-славянский
Кельский	Албанский
Италийский	Армянский
Греческий	

В работах последующих авторов эта схема неоднократно подвергалась модификациям без того, впрочем, чтобы результировать в сколько-нибудь устойчивой в целом картине представлений об исторических взаимоотношениях отдельных ветвей индоевропейской

языковой общности. Естественными предпосылками соответствующих изменений служили введение в обиход науки нового языкового материала, с одной стороны, и переоценка некоторых критериев группировки языков, с другой. Отмечая в этой связи обилие точек зрения на состав так называемых центральных и маргинальных индоевропейских языков, Э.А. Макаев пишет, что оно свидетельствует "не только о новизне и слабой теоретической разработанности самой теории, но также и о том, что до сих пор отсутствуют критерии, позволяющие с определенной степенью вероятности относить данный индоевропейский язык к соответствующей группе. Всякий раз, когда в основу диалектной отнесенности определенного языка к центральной или маргинальной группе кладутся различные показатели — дистрибуция форм на -г, наличие или отсутствие аугмента, видо-временная система глагола, дистрибуция конечного -т, дистрибуция окончаний на -bh и на -т, функциональная характеристика сонантов, данные словаря, — получается различная классификация центральных и маргинальных языков. Поэтому представляется вполне уместной постановка вопроса о том, возможно ли вообще установление подобных критериев, если приходится исходить из различных структурных признаков различных уровней различных языков" [Макаев, 1964, 37].

Проблема языковой прародины — один из уже традиционных вопросов компаративистики, поставленный на повестку дня исследований таких ее частных отраслей, как индоевропеистика, уралоистика, афразийское языкознание, картвелистика, а также некоторых других. На ранних этапах индоевропеистики это понятие получало однозначное и поэтому упрощающее истолкование, как некоторого "первоначального" ареала, из пределов которого путем миграций должны были распространяться ингредиенты индоевропейской языковой семьи. В дальнейшем было замечено, что географическая конфигурация ареалов родственных языков не остается в течение сколько-нибудь продолжительных эпох неизменной и, в частности, языки, занимающие в настоящее время маргинальное положение, ранее могли быть центральными и наоборот. Стало ясным, что особенно существенные изменения во взаимной локализации языков должны были происходить исторически языковых макросемей. Оказываются естественными нередкие расхождения взглядов компаративистов в решении этого вопроса и в рамках каждой из конкретных отраслей сравнительно-генетических исследований. Нельзя не упомянуть и о существовании в компаративистике крайней точки зрения, согласно которой сама постановка вопроса о языковой прародине некорректна [ср. Schlerath, 1981, 199—200], не учитывающая относительную несложность его решения для праязыковых состояний небольшой временной глубины.

Решающий стимул к теоретической разработке этой проблемы в компаративистике был задан, на наш взгляд, только тогда, когда длительное время господствовавшая упрощающая трактовка самого понятия языковой прародины была поколеблена его исторической интерпретацией, исходящей из признания variability географической

ческой конфигурации соответствующего ареала в различные эпохи. В пропаганде такого понимания основную роль сыграли работы лингвистов, отстаивающих возможность неодинакового решения вопроса для разных хронологических этапов в истории праязыкового состояния (и, в частности, допускающих, что для определенного из этих этапов его ареал может сказаться и несплошным, т.е. территориально разорванным, как это имеет место и в конфигурации многих языковых семей современности) [ср., например, Dyen, 1956; Dressler, 1965].

В практике сравнительно-генетических исследований различаются два основных приема абсолютной локализации праязыкового ареала. Один из них может быть определен как прием семантического анализа праязыковых лексемных архетипов, другой — как прием анализа современной ареальной дистрибуции дочерних языков. При всем принципиальном различии обоих приемов, следует отметить их одинаковое стремление согласовать получаемые с их помощью результаты с возможной аргументацией экстралингвистического характера.

Первый прием, располагающий глубокими и прочными традициями в индоевропейской литературе, сводится в общих чертах к реконструкции по праязыковым — прежде всего, лексическим — материалам экологической среды и культурного контекста, в условиях которых должны были обитать носители праязыковой речи. В большинстве случаев его применение сводится к некоторой совокупности конкретных соображений о среде обитания последних, возникающих при реконструкции так или иначе ограниченной категории праязыкового словаря (названия типичных для этой среды деревьев, обозначения характерных для нее элементов дикой фауны и т.п.). В условиях отсутствия специальной теоретической разработки этого приема здесь заслуживают упоминания несколько соответствующих аргументов, выдержанных в подобном ключе в ряде публикаций по конкретной проблеме индоевропейской прародины [ср. Thieme, 1954; Krahe, 1954, 29—63; Scherer (hrsg), 1968]. Интересная контрверза сложилась, в частности, вокруг аргументов индоевропейских обозначений бука, березы и лосося, приводившихся в пользу гипотезы о локализации последней в пределах Европы — южнее и западнее границ произрастания обоих деревьев, а также в пределах бассейнов знающих этот вид рыбы рек, впадающих в Балтийское море, — доказательная сила которых была существенно ослаблена тем обстоятельством, что сторонники этой гипотезы не учитывали возможности переноса обозначений одних реалий на другие, а также исторически и изменчивых границ, их произрастания [ср. Krogmann, 1956; 1960; Lane, 1967].

Стихийно сложившееся в компаративистике впечатление об ограниченности "первоначальной" языковой прародины вызывает в настоящее время немало сомнений. Уже сами этапы истории языковых семей, доступные какому-то контролю со стороны исследователя, как правило, заставляют считаться с возможностью достаточно широкой локализации праязыковых состояний. "Верно замечено, —

подчеркивает в этой связи О.Н. Трубачев, — что идея ограниченной прародины (в немецкой этногенетической литературе активно пользуются еще термином "Keimzelle", буквально 'зародышевая клетка', что совсем уводит нас в биологию развития) — это пережиток теории родословного древа" [Трубачев, 1982, 12]. Действительно, признание исторического характера понятия языковой прародины диктует необходимость учета постоянной изменчивости последней в пространстве для разных эпох прошлого и, в частности, допускать для различных периодов как расширение, так и сокращение ее ареала. Вместе с тем, определенной крайностью представляется и формулировка Б. Шлерата, отмечающего по ходу его справедливой критики в адрес Ölfleckhypothese, что "каждый реконструированный язык как таковой лишен как временной, так и пространственной протяженности" [Schlerath, 1981, 197], поскольку с неглубокими во временном отношении праязыковыми состояниями может быть соотнесена и более или менее вероятная пространственная характеристика.

Особое место в плане реализации возможностей соответствующей методики сравнительно-генетического исследования принадлежит недавно опубликованной фундаментальной монографии Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванова, в которой на основе широкой совокупности как лингвистических, так и экстралингвистических (историко-культурных) критериев, устанавливается переднеазиатская локализация прародины носителей древнейшей индоевропейской речи [Гамкрелидзе, Иванов, 1984]. Если собственно лингвистическую опору исследования здесь образуют семантический анализ праиндоевропейского словаря (позволяющий определить экологическую среду мест обитания древнейших индоевропейцев и общий культурный контекст их жизненного уклада), а также рассмотрение следов "доисторического" взаимодействия индоевропейских, семитских и картвельских языков, то базу соответствующих экстралингвистических данных составляют свидетельства археологии и сравнительной мифологии. Согласно авторам, весь набор реалий и понятий, известных древнейшим носителям индоевропейской речи, заставляет локализовать их "первоначальную" прародину в Передней Азии в полосе, идущей из Анатолии через верхнюю Месопотамию и, возможно, далее на восток (отметим, что к возрождению концепции азиатской прародины индоевропейцев с определенным сочувствием несколько ранее относились Э. Бенвенист и Е. Курилович [ср. Бенвенист, 1959, 105—106; Kuryłowicz, 1956, 166]).

Авторы приходят здесь, в частности, к выводу, что "данные об индоевропейских названиях деревьев и растений (дерево // дуб, дуб // скала, горный дуб, желудь, береза, бук, граб, грецкий орех, вереск, роза и т.п. — Г.К.), согласующиеся с характеристиками горного ландшафта индоевропейской прародины, локализуют ее в сравнительно более южных областях Средиземноморья в широком смысле, включая Балканы и северную часть Ближнего Востока (Малую Азию, горные области Верхней Месопотамии и смежные ареалы" [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, 867]. "Такой сравнительно



южный характер экологической среды индоевропейской прародины, предполагаемый на основании данных о географическом ландшафте и растительности, подкрепляется анализом общиндоевропейских названий животных... Некоторые из этих животных (барс // леопард, лев, обезьяна, слон // слоновая кость, краб — Г.К.) специфичны именно для южной географической области, что исключает Центральную Европу в качестве возможной первоначальной территорий обитания индоевропейских племен” [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, 867]. Далее авторы указывают, что ”вывод о невозможности приурочить индоевропейскую прародину к Центральной и Восточной (но не Юго-Восточной) Европе, полученный на основании свидетельств о ландшафте и экологической среде обитания, согласуется с данными культурно-исторического характера о домашних животных и культурных растениях, с которыми должны были быть знакомы древние индоевропейцы. Для IV тысячелетия до н.э., то есть в период существования общиндоевропейского языка и его носителей — древних индоевропейцев, скотоводство (как и земледелие) в Центральной Европе было в зачаточном состоянии, тогда как в общиндоевропейском восстанавливается развитая система скотоводства с наличием основных домашних животных (конь // лошадь, осел, бык // корова, овца // баран, козел // коза, собака, свинья, поросенок — Г.К.)...” [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, 868]. ”Особую ценность, — продолжают авторы, — для установления первоначальной среды обитания древних индоевропейцев и локализации индоевропейской прародины представляет индоевропейская терминология транспорта — названия колесных повозок... (колесо // колесная повозка // колесница, вращать // колесо // круг, дышло, упряжка, ось, ярмо, везти (в повозке) и т.п. — Г.К.), названия металлов — бронзы..., необходимой для изготовления колесных повозок из твердых пород горного леса, и тягловой силы — лошади..., которую следует предположить уже в период существования общиндоевропейского языка, то есть в IV тысячелетии до н.э. Весь этот комплекс данных опять-таки ограничивает территорию первоначального распространения индоевропейского языка областью от Балкан до Ближнего Востока и Закавказья, вплоть до Иранского плоскогорья и Южной Туркмении...” [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, 869]. Праиндоевропейский ”языковой ареал, — говорится далее, — следует локализовать в той части намечаемой области, где могли осуществляться взаимодействие и контакты праиндоевропейского языка с семитскими и картвельскими языками, которые обнаруживают целый пласт заимствованной из одного языка в другой лексики, а также целый ряд схожих структурных черт, предполагающих взаимодействие этих языков в течение длительного периода. Фактор взаимодействия праиндоевропейского языка с семитскими и картвельскими (южнокавказскими) языками предполагает в качестве индоевропейской прародины определенный ареал в пределах Ближнего Востока, где могли осуществляться такие контакты, и исключает тем самым Балканы...” [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, 870—871]. Переходя, наконец, к экстралингвистическим свидетельствам анало-

гичного порядка, Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванов отмечают, что "не только самый тип общеиндоевропейской мифологии близок к древневосточным мифологическим традициям, но и мифологические мотивы и образы (ср. мифологический мотив первоначального единства человека и земли, мотив бога как пастуха душ умерших, мифологические образы быка, льва, мифологический мотив кражи яблока и другие...) находят аналоги в древневосточных мифологиях, под влиянием которых должна была складываться праиндоевропейская мифологическая традиция. Здесь налицо такие типологические параллели и совпадения, что нельзя не прийти к выводу о тесных взаимоотношениях между различными мифологическими традициями в пределах общего культурного ареала. Особенно характерны некоторые общеиндоевропейские обряды, совпадающие с древневосточными, в частности, обряд погребения предводителя на колеснице, завершающийся сжиганием трупа и собиранием праха в особые сосуды..." [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, 884—885]. Перечисляя ряд других культурных, социальных и экономических характеристик, свойственных древнейшему индоевропейскому обществу, авторы заключают, что весь этот комплекс характерен и для ранних цивилизаций Ближнего Востока и что праиндоевропейская цивилизация типологически относится к кругу древневосточных.

Сформулированная Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Ивановым гипотеза о ближневосточной (переднеазиатской) прародни индоевропейских языков одним из своих оснований имеет обнаружение древнейших индоевропейизмов в картвельских языках [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, 877—881]. Несколько наиболее показательных в этом отношении лексем претендуют еще на общекартвельскую древность, т.е. на их соотнесенность с картвельским состоянием эпохи едва ли позднее IV — начала III тысячелетия до н.э. Прежде всего здесь должны быть названы два общекартвельских числительных первого десятка: картв. \*otxo- 'четыре'~ и.-е. \*okto- 'то же' (основа обычно усматривается в индоевропейском обозначении восьми \*oktōu, где элемент -oц трактуется в качестве признака дуалиса [ср. Henning, 1949, 69]) и картв. \*eks<sub>1</sub>w- 'шесть'~ и.-е. \*(s)εξεκς 'то же'. По-видимому, уже одним только фактом своего существования картвельское обозначение четырех подтверждает адекватность обычного анализа индоевропейского числительного 'восемь' [Климов, 1975, 162—163] (складывается впечатление, что и.-е. \*okto- более архаично, чем "синонимичные" ему \*k<sup>u</sup>etur и \*meц, непосредствованные континуанты которых засвидетельствованы в разных ареалах индоевропейской языковой области). Что же касается второго параллелизма, замеченного еще Фр. Боппом [ср. Ворр, 1847, 38], то аргументом в пользу его глубокой древности может, по-видимому, служить то обстоятельство, что картвельская форма слова отражает собой более архаичный, как это нередко полагают, облик соответствующего индоевропейского числительного, характеризующийся отсутствием начального s [ср. Szemerényi, 1960, 78; Nehring, 1962]. Вместе с некоторыми приводимыми ниже другими лексемами оба слова служат иллюстрацией тезиса Г.В. Церетели о наличии в картвельских языках целого

слоя индоевропеизмов, обнаруживающих в своем вокализме более раннюю ступень развития сравнительно с протоиндоиранским состоянием [Церетели, 1965, 045]. В то же время неединообразное отражение в обоих картвельских числительных этимологического  $\bar{k}$  может указывать на различие их позиции в слове или на их нетождественный источник (не следует упускать из вида и историческую принадлежность обоих к разным системам счета, что могло обусловить различающуюся хронологию заимствования). Глубокая давность их бытования на картвельской почве не оставляет каких-либо сомнений, особенно если учесть, что несколько более поздние по времени усвоения семитизмы среди общекартвельских числительных первого десятка, засвидетельствованные в обозначениях семи и восьми, должны были проникнуть сюда не позднее конца III тысячелетия до н.э.

Весьма соблазнительной представляется возможность сопоставления картвельских обозначений быка, предназначенного на убой — ср. др.-груз. (а также изредка встречающееся современное диалектное) *uxh-* 'бык или бычок (на вырост и убой)' и сван. *uxhwa-*, *wixhw-* 'бык (жертвенный)' — с и.-е. \**ukso*(n) 'бык'. Нетрудно заметить, что к индоевропейскому архетипу особенно близки сванские формы, которые к тому же характеризуются и архаической семантикой, скорее всего, отражающей древнейшие верования картвелов. В последней связи особый интерес представляет точка зрения, поддерживаемая Ст. Циммером, согласно аргументации которого, ориентированной на наиболее ранние индийские и иранские письменные тексты, индоевропейское слово должно было первоначально служить обозначением подросшего быка, предназначенного для ритуального заклания, и входило, таким образом, в словообразовательное гнездо глагола \**ueks* / *uks* 'расти, -ть' [Zimmer, 1981, 85]. В формальном отношении в картвельских словах обращает на себя внимание отражение индоевропейского смычного спирантом и перестановка элементов консонантного комплекса, подобные аналогичным преобразованиям в пракартвельском обозначении четырех, а также то обстоятельство, что свистящее *s* отражает доиндонранское состояние слова (это сопоставление может служить альтернативным решением к поискам собственно картвельской этимологин лексемы посредством трактовки его как исторического причастия отсутствия качества, образованного от картв. \**six* в его частном значении 'рождать (во множестве)', наталкивающейся, по справедливому признанию И.И. Кавтарадзе, на определенные трудности [Кавтарадзе, 1946, 147—148]).

Далее здесь следует назвать небольшую, но весьма интересную группу общекартвельских лексем довольно ощутимой культурной семантики, восходящих к какому-то праиндоевропейскому источнику: картв. \**γweb-* 'плести' ~ и.-е. \**uebh-* то же, картв. \**γwed-* 'ремень, привязь ярма' ~ \**uedh-* 'привязь, ремень', картв. \**γwipo-* 'вино' ~ и.-е. \**ueipo-* то же, а также, по-видимому, картв. \**γwi-* 'можежевелик' ~ и.-е. \**uej-* то же. Эта группа слов, не имеющая картвельских этимонов, объединяется единообразным соответствием индоевропей-

скому анлаутиному  $\zeta$  комплекса  $\gamma w$ , свидетельствующим в пользу глубокой древности их усвоения. Такое единообразие, позволяющее проецировать их заимствование примерно в одну и ту же историческую эпоху можно было бы объяснить процессом "обострения" (Verschärfung) обычно предполагаемого билабиального пракартвельского  $w$  (в отличие от его, как правило, губно-зубных продолжений в современных языках [ср. Топуриа, 1979, 57—62]). Однако более вероятной, чем "обострение" билабиального  $w$ , не происходящее в других аналогичных пракартвельских лексемах (ср., например, груз.  $va\check{s}l-$  'яблоко' при пракартв.  $*wa\check{s}l-$  'то же' или груз.  $vac-$  'козел' при пракартв.  $*wasl-$  'горный козел'), здесь представляется возможность отражения в виде  $\gamma$  древнейшего индоевропейского ларингального, нередко предполагающегося в составе по крайней мере некоторых из перечисленных индоевропейских архетипов, например,  $r$   $*H_{2}ebh$  и  $*H_{2}edh$ . Уместно заметить, что грузинско-занские продолжения пракартв.  $*\gamma web-$  'плести', выявляющие в отличие от соответствующего им сванского континуанта огласовку  $o$ , должны быть признаны вторичными ввиду их несоответствия обычной фонологической структуре пракартвельских глагольных корней с типичным для них вокализмом  $e$  (имеется к тому же возможность показать, что немногочисленная группа пракартвельских корней модели  $CoC$  характеризует лишь глаголы звуко-символической и звукоподражательной природы).

На глубокую давность усвоения этих лексем из индоевропейского источника указывают и некоторые иные как собственно лингвистические, так и неязыковые факты. Так, сванское обозначение вина ( $\gamma winal$ ,  $\gamma wipel$  и др.) не может быть поздним заимствованием из других картвельских языков, поскольку оно принадлежит к числу сванских слов, выступающих ныне в формах сингуляриса только с уже окаменелым историческим аффиксом диминутива. Об этом же косвенно свидетельствует наличие пракартвельского глагольного корня  $*ter-$  /  $t_{\check{r}}-$  'напиваться, пьянеть'. Картвельское название вина не может восходить ни к анатолийскому, ни к протоармянскому источнику и по своему звуковому облику (о несводимости картвельского слова к протоармянскому архетипу см. [Deeters, 1938, 139—140]). Именная лексема  $*\gamma wed-$  служит обозначением реалии, самым непосредственным образом связанной с таким достоянием древнейшей материальной культуры картвелов, как ярмо. Следует подчеркнуть также, что глагольная основа  $*\gamma web-$  'плести' отражает древнейшую семантику соответствующей индоевропейской базы, сдвинутую в большинстве индоевропейских языков в 'ткать'.

Обозначение ярма — груз.-зан.  $*\gamma el-$  и сван.  $\dot{\gamma}wa-$  при и.-е.  $*iugo-$  то же — как правило, рассматривается в картвелистике в качестве одного из наиболее старых картвельско-индоевропейских лексических параллелизмов. Если трактовать суффиксальный, как это обычно принято считать, исход грузинско-занской основы  $-el$ , подобно другим исключительно грузинско-занским словообразовательным общностям, в качестве инновации, то на более ранний облик картвельского слова будет претендовать его сванская форма. Именно последняя

и оказывается особенно близкой к предполагаемому индоевропейскому прототипу лексемы.

Наконец, заслуживает упоминания еще один возможный древнейший картвельский индоевропеизм, степень древности которого остается, на наш взгляд, менее ясной, — обозначение лисы. Мнение о неисконном характере картвельских обозначений лисы — ср. груз. (>занск.) *mel-* и сван. *mal, māl̥w* — было впервые высказано К.Х. Шмидтом [Schmidt, 1962, 124]. В качестве его вероятного источника указывают на и.-е. \**mēl[ō]-* ‘мелкий зверь’ [Джаукян, 1967, 93]. Если сохранение обычно исчезающего в исходе сванского слова старого *l* в одной из сванских форм естественно объяснить его исторически неконечной позицией, то более серьезную трудность составляет здесь соотношение вокализма грузинской и сванской лексемы (в сванском она может быть рнизмом).

Более многочисленна группа картвельских индоевропеизмов, сколько-нибудь надежно засвидетельствованных только в грузинскозанском ареале и заимствование которых должно соотноситься по крайней мере с грузинско-занским состоянием (можно допустить, что некоторые ее ингредиенты были либо утрачены в сванском языке, либо с самого начала имели ограниченную ареальную закрепленность). В эту группу входит груз.-зан. \**guda-* ‘бурдюк, мех’ (при сван. *gudga* то же)~и.-е. \**gudo-* ‘кишки, потроха’, груз.-зан. \**wenaq-* ‘виноградная лоза’~и.-е. \**ueinag-* ‘то же’, груз.-зан. \**wegz-* ‘самец, баран’~и.-е. \**uegz-* ‘самец’, груз.-зан. \**polo-* ‘копыто (крупное)’~и.-е. \**rōlo-* ‘большой палец ноги или руки’, груз.-зан. \**puṭuro-* ‘гнилой (о плоде, орехе)’~и.-е. \**pu-ṭro-* ‘гнилой’, груз.-зан. \**γog-* ‘свинья’~и.-е. (“диалектное”) \**ghog-* то же. Более или менее очевидная принадлежность приведенного здесь материала к так называемому культурному словарю делает факт его заимствования весьма вероятным.

Аналогичным образом, то обстоятельство, что этимологи фиксируют в абхазско-адыгских языках исконные лексемы со значением ‘море’ (абх. *a-mṣ̣əp*, убых. *ṣ<sup>w</sup>a*, адыгейск. хэ), ‘берег’ (с галькой) (абх. *a-ga*, убых. *ng'a*, адыгейск. пэзэ), ‘рыба (крупная, морская)’ (абх. *a-psə*, убых. *psa*, адыгейск. рсэ), ‘гора, высокий’ (абх. *a-ṣxa*, убых. *laḥa*, адыгейск. *ṭəḷə*), ‘лес, колючий кустарник’ (абх. *a-bna*, убых. *baṇa*, адыгейск. *paṇə*) и т.п., достаточно надежно локализует их праязыковый ареал примерно на местах и нынешнего расселения абхазо-адыгов в северо-восточной части черноморского побережья Кавказа (с этими данными компаративистики согласуются и прямые исторические свидетельства о весьма позднем проникновении адыгов вглубь кавказского перешейка с запада).

Так называемые дистрибутивные критерии локализации исторической территории, занимавшейся некогда языковой семьей, не приобрели в компаративистике сколько-нибудь заметной популярности. Среди них впрочем можно упомянуть обычно оправдывающееся предположение, согласно которому изолированно представленный язык происходит из ареала концентрации родственных ему языков [ср. Greenberg, 1977, 103—104]. Так, например, в австронезийском

языкознании общепринято положение о том, что историческая колыбель индонезийской микросемьи не может локализоваться на Мадагаскаре, где представлен лишь малагасийский (мальгашский) язык. На дистрибутивном критерии основывается и предложенный Э. Сэпиром метод усреднения "центров тяготения" географических ареалов современного размещения родственных языков [Sapir, 1958, 455—458]. Сущность последнего заключается в определении точечного центра ареала, занимаемого каждым представителем языковой семьи, и в последующем усреднении полученных таким образом точек на некоторой промежуточной территории (при этом обычно приходится учитывать и закономерность меньшей дифференцированности ареалов позднейшего распространения языков, о которой говорилось в начале настоящей главы). Посредством применения этого метода Э. Сэпир пришел, например, к довольно правдоподобным выводам о первоначальной локализации алгонкинских языков Северной Америки в области Великих Озер и с проявившейся в дальнейшем тенденции их экспансии с запада на восток, а также об аналогичном по своей направленности продвижении эскимосско-алеутских языков с территории Аляски. Нетрудно заметить, однако, несколько механический характер используемой при этом процедуры, поскольку она, в частности, не в состоянии учитывать релевантные для решения рассматриваемой проблемы ареалы распространения исчезнувших представителей языковой семьи.

Некоторый вклад в решение задачи определения исторического ареала локализации языковых семей имеет анализ древней топонимики. В этом отношении, по-видимому, особенно полезными могут оказаться результаты исследования гидронимии, предполагающие выявление генетической принадлежности соответствующих этимонов (среди наиболее значительных работ этого направления исследований, характеризующего почти исключительно индоевропеистику, следует упомянуть [Krahe, 1949—1955; 1964; Топоров, Трубаев, 1962; Трубаев, 1968]). Ценность показаний этого материала обуславливается его чрезвычайной устойчивостью, вследствие чего он сплошь и рядом отражает те или иные древнейшие языковые традиции.

Тем не менее, совокупность различных трудностей (в частности, нередкая противоречивость результатов использования разных методик), сопровождающих обычно подобные исследования, послужила причиной фактического отсутствия в программе огромного большинства конкретных отраслей сравнительно-генетического языкознания проблемы языковой прародины (соответственно, вопрос о пространственной конфигурации "диалектов" праязыкового хронологического уровня, как правило, ставится лишь в плане относительной локализации). Действительно, как возможные собственно лингвистические соображения (в частности, упоминавшаяся выше методика топонимической стратификации ареала, позволяющая определять последовательность в нем языковых наслоений), так и внешние по отношению к рассматриваемым языковым системам выкладки (в том числе и метод усреднения географических "центров тяготения" ареалов родственных языков, предложенный Э. Сэпи-

ром) далеко не всегда гарантируют сколько-нибудь надежные выводы.

далеко не всегда гарантируют сколько-нибудь надежные выводы.

Поэтому некоторые компаративисты более оптимистично смотрят в этом плане на факты отношений языкового союза, с необходимостью предполагающие длительное географическое соседство тех или иных языковых группировок. Так, например, согласно мнению У. Лемана, "если индоевропейский находился в тесных контактах с общекартвельским (в виду имеются структурно-типологические параллелизмы, объединявшие в глубоком прошлом, по мнению Т.В. Гамкрелидзе и Г.И. Мачавариани, обе сопоставляемые величины в единый языковой союз — *Г.К.*), то мы приобретаем внушительное свидетельство об индоевропейской прародине со стороны более фундаментального компонента языковой структуры, чем словарь" [Lehmann, 1968, 406]. Естественно, чем менее отчетливо прослеживаются черты союзных отношений между сопоставляемыми языковыми группами, тем более рискованными окажутся любые выводы подобного характера. Следует при этом учитывать и реальные географические возможности соприкосновения таких групп языков в прошлом.

Нельзя, наконец, упускать из виду и то уже отмечавшееся выше обстоятельство, что понятие языковой прародины исторически изменчиво и должно быть расчленено в связи с вариацией рассматриваемых хронологических рамок праязыкового состояния.

## Глава VI

### ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ КОМПАРАТИВИСТИКИ

Еще пионеры сравнительно-исторического языкознания отчетливо понимали, что связь языковой истории с историей народа делает язык историческим источником первостепенной важности. Если даже оставить в стороне те — обычно косвенные — указания подобного плана, которые можно усмотреть в данных грамматической реконструкции, то, напротив, чрезвычайно информативными в этой связи оказываются праязыковые лексические реконструкции. Нетрудно видеть, что реконструируемые этимологическими словарями лексемные архетипы уже в силу органически присутствующего в них семантического компонента ("призначения") способны приводить исследователя к самым различным выводам экстралингвистического порядка — о древней социальной и экономической структуре общества на определенном этапе его развития, о характере его материальной и духовной культуры, о его исторических судьбах. Многие в этом плане может сообщить компаративисту, например, один лишь факт наличия в группе родственных языков множества или, напротив, скудости лексических заимствований. Вместе с тем, в настоящее время имеются все основания полагать, что за историей языко-

вых семей обычно стоят и определенные этногенетические процессы. Последнее обстоятельство позволяет признать большую ценность данных сравнительно-генетического исследования для изучения процесса этногенеза говорящих на соответствующих языках народов.

Сложившаяся на основе такого специализированного подхода своего рода комплексная дисциплина — так называемая лингвистическая палеонтология — составила в прошлом, когда языкознание еще во многом выполняло обслуживающие функции по отношению к ряду других дисциплин исторического цикла, широкое направление работ индоевропейцев. Хотя объективные предпосылки к возникновению лингвистической палеонтологии содержались уже в целой серии компаративистических штудий, отразившихся в публикациях, начиная с 20-х годов прошлого столетия, отчетливая формулировка ее предмета впервые была предложена А. Куном [Kuhn, 1850, 321—363]. Основы этой дисциплины были заложены фундаментальными трудами А. Пикте, В. Гена и О. Шрадера в недрах индоевропейского языкознания [Pictet, 1859—1863; Hehn, 1870; Schrader, 1883]. С 70-х годов прошлого века аналогичные опыты стали появляться и на материале афразийских и уральских языков.

Если учесть, однако, нередкие расхождения исследователей в экстралингвистической интерпретации одних и тех же языковых "данных" (весьма показательна в этой связи глубоко критическая оценка О. Шрадером уже работ А. Пикте, в зародыше содержавших в себе корни последовавшего кризиса лингвистической палеонтологии), то не приходится удивляться тому, что еще к началу текущего столетия эта дисциплина оказалась на длительное время дискредитированной, вызвав к себе скептическое отношение со стороны ряда авторитетных компаративистов, усугубленное в дальнейшем несостоятельными культурно-историческими построениями Н. Я. Марра и некоторых представителей его школы. В 40-х годах Э. Бойсенсом была высказана крайняя в этом отношении точка зрения об утопичности подобных выводов при отсутствии соответствующих прямых указаний текстов на нелингвистические реалии [ср. Buysens, 1952, 168]. Лишь в последние десятилетия на фоне отчетливо обозначившейся в науке тенденции комплексного подхода к истории человечества стало наблюдаться возобновление интереса к лингвистической палеонтологии, характеризующееся, в частности, не только созданием нескольких по существу образцовых работ, построенных на материале индоевропейских языков [ср., например, Friedrich, 1970; Benveniste, 1972], но и все более прогрессирующим распространением ее методики на фактическую почву самых различных "экзотических" языков [ср. Sapir, 1936; Law, 1961; Whistler, 1977; Hombert, 1979; Proulx, 1980; Polomé, 1982; Fowler, 1983; Austerlitz, 1984 и др.]. Нетрудно предвидеть, особенно на фоне неуклонного роста популярности в современной науке комплексных исследований, что уже в ближайшее время такие разыскания составят широкое направление работ языковедов (языковые данные и поныне остаются во многих случаях единственными свидетельствами истории народов).

Основным приемом этой увлекательной и вместе с тем требующей



от компаративиста самых разнообразных фоновых знаний остается методика, позволяющая на основе реконструкции праязыкового лексемного нивентаря приходиться к заключениям о природно-географическом и культурно-историческом контексте его функционирования и в определенной мере составляющая один из аспектов комплексной проблематики, известной под девизом "Wörter und Sachen". Несравнимо более скромные перспективы связывает компаративистика в этом плане с экстралингвистической интерпретацией данных грамматической реконструкции, свидетельства которой имеют нередко более или менее косвенный характер.

Наибольший объем экстралингвистической информации об историческом прошлом того или иного общества удается извлечь посредством семантического анализа наиболее показательных в этом отношении разрядов реконструируемой части праязыкового словаря. Уже самый общий взгляд на ее заимствованный фонд бывает достаточным, чтобы судить о степени интенсивности и характере древнейших контактов соответствующего общества. Заимствованный характер обозначений дикой флоры и фауны, свойственных ареалу современной локализации группы родственных языков, как правило, указывает на неавтохтонность их носителей на данной территории. И, напротив, из рассмотрения исконных обозначений этих элементов напрашиваются некоторые наиболее общие выводы об экологической специфике среды обитания древних носителей праязыка. Посредством анализа особенностей праязыковой и позднее заимствованной лексики скотоводства, земледелия, а иногда — и металлургии, можно прийти к выводам об основных чертах экономического уклада общества на древнейших этапах его истории. Исконная терминология ремесленного производства служит немаловажным показателем общего культурного уровня располагавшего ею общества. В результате изучения патронимики и сохранившихся в том или ином виде терминов родоплеменной организации можно получить определенное представление о его былом социальном устройстве. Так называемая мифологическая лексика и, в частности, ее столь существенная составная часть как ономастика, способна свидетельствовать о характере древних верований носителей праязыка. Роль аналогичных диагностических признаков могут играть в рассматриваемом отношении также некоторые другие, более узкие лексические группы реконструируемого словаря. Например, сохранность оригинальной номенклатуры небесных тел (преимущественно — звезд и отдельных созвездий), как правило, служит аргументом, говорящим в пользу относительно недавно пройденного обществом этапа кочевого образа жизни. Напротив, исторически унаследованная терминология свиноводства достаточно однозначно указывает на давность земледельческой традиции. Реконструкция древнейших этнонимов позволяет приходиться к некоторым выводам относительно этногенеза соответствующих народов.

Так, анализ плана содержания древнейшего лексического фонда картвельских языков позволяет составить определенное представление об уровне экономического и культурного развития древнекартвельского общества. Его результаты подтверждают в существен-

ной степени выводы, к которым приходят в этом отношении и смежные гуманитарные науки — этнография, история, археология.

Факт исконной общности сванского словаря с грузинским, мегрельским и лазским в сфере скотоводческой терминологии при почти полном отсутствии таковой в номенклатуре земледелия содержит интересные свидетельства об экономическом укладе древних картвелов на двух важнейших этапах их истории. Сванский язык разделяет с другими картвельскими характерные единицы скотоводства. В то же время, яркие термины оседлой земледельческой культуры оказываются общими лишь для грузинского и обоих языков занской ветви.

Весьма интересная совокупность лексем, с глубокого прошлого объединяющих опять-таки грузинский и занскую ветвь картвельских языков и отражающих термины технологии винопроизводства — ср. груз. — зан. \**с,пех-/с,пих-* 'давить (преимущественно о винограде)', \**тх|е-* 'осадок молодого вина (в сосуде)', \**цкәнд-/цкнд-* 'осаждать(ся)', \**з,таг* 'уксус (как продукт брожения вина)' — довольно убедительно свидетельствует о давности соответствующей технологии, во всяком случае в западной части Закавказья ("распад" грузинско-занского языкового единства соотносится с эпохой не позднее самого начала I тысячелетия до н.э.). Вместе с тем, наличие общекартвельских архетипов \**γwino-* 'вино' и \**тер-/тр-* 'напиваться, пьянеть' скорее всего говорит в пользу знакомства картвелов с импортировавшимся вином в еще более раннюю историческую эпоху (однако высказанное в недавнем прошлом мнение о существовании культуры виноградарства на Кавказе еще в предполагаемую некоторыми лингвистами общекавказскую эпоху является ярким анахронизмом, противоречащим данным истории и археологии).

Общей культурно-исторической перспективе развития общества вполне отвечает то обстоятельство, что названия металлов, а также атрибутов металлургического производства оказываются здесь единственными лишь для более близкородственных грузинского и обоих занских языков (в сванском они представлены либо иными лексемами, либо поздними заимствованиями из остальных картвельских).

В рассматриваемой связи целесообразно назвать и несколько других аналогичных выводов более частного порядка. Так, плохая сохранность исконных картвельских обозначений волка, лисы и дуба должны указывать на определенное отношение древних картвелов к этим реалиям (в двух первых случаях — это следствие табуирования старой лексемы, в последнем — эвфемистическая замена названия предмета культа). Груз.-зан. \**с|ево-* 'клей' при его закономерном лазском континуанте с значением 'клей (растительный), омела' способно свидетельствовать о том, что некогда картвелы добывали клей из кустов омелы (подобная практика по сей день известна в некоторых районах Западного Кавказа).

Еще один обобщающий вывод экстралингвистического плана позволяет сделать анализ распределения древних культурных заимствований в более широком кавказском ареале. Характерная особенность соответствующих лексических изоглосс заключается в том, что такие заимствования оказываются общими для картвельских и нахско-

дагестанских языков, но отсутствуют в абхазско-адыгских. Среди этих лексем можно назвать, например, обозначения целого ряда хозяйственных реалий — ярма, ключа, низкого сиденья или доски, земляной печи для выпечки хлеба некоторых других артефактов. Такое распределение этих изолекс указывает, по-видимому, на наличие древних контактов народов Закавказья и Восточного Кавказа с носителями переднеазиатской цивилизации при отсутствии таковых у народов Северо-Западного Кавказа [ср. Климов, 1986, 201—202].

Характеризуя наиболее общие результаты экстралингвистической интерпретации исконного словаря афразийских языков, И.М. Дьяконов и В.Я. Порхомовский пишут следующее: "Не удивительно, что в ОАА (т.е. в общеафразийском — Г.К.) отсутствуют обозначения для металлов (любых), имеется только одно слово для обозначения съедобного зерна (\*hit — вероятно, дикая пшеница однозернянка), отсутствуют общие слова для обозначения фиников или любых видов одомашненных растений, а также для молока и шерсти (коровы, овцы и козы держались только для получения мяса и шкур). Ткачество, или, точнее, плетение, было известно, но единственным материалом, применявшимся для изготовления орудий, по всей видимости, был кремень или обсидиан (\*sɣ-, \*sɣ-), из которого изготавливались ножи, скребки, тесла, примитивные сверла и топоры. Сосуды, в основном, изготавливались из тыкв — гончарные термины, по-видимому, позднего происхождения. Название для мотыги (tagɣ-) встречается и в шумерском, где оно вряд ли может быть заимствованием из АА, вероятно, отсутствует в протокушитском и, видимо, является ареальным; лексическая изоглосса субстратного же происхождения для серпа (\*nVgVII/-r) также не охватывает весь АА ареал. Общая картина соответствует эпохе позднего мезолита или раннего неолита" [Дьяконов, Порхомовский, 1979, 74].

Естественно, что в применении соответствующей методики необходимо соблюдать достаточную осторожность (так, невозможность формальной реконструкции некоторой лексемы может отражать не отсутствие в прошлом соответствующей реалии, а лишь бесследную утрату слова; напротив, возможность реконструкции некоторой лексемы еще не означает адекватного определения ее семантики). Важнейшей предпосылкой корректности выводов является при этом учет реального культурно-исторического фона функционирования реконструируемых лексических единиц, на чем постоянно настаивали еще многие компаративисты прошлого столетия (ср., напр., [Шрадер, 1886, 205—208]). Как пишет в этой связи П. Хайду, "из того, что как утверждает языкознание, венгерское название кровати ... имеет финно-угорское происхождение и было известно финно-угорскому праязыку, мы не имеем права заключить, что в жилищах древних финно-угров существовал тот предмет мебелировки, образ которого встает перед нами, когда мы произносим, слышим или читаем слово *кровать*" [Хайду, 1985, 142].

Во избежание случайных выводов, от которых никогда не застрахованы "реконструкции" изолированных реалий и понятий прошлого, следует стремиться, насколько это возможно, к воссозданию их цель-

ных комплексов, отдельные составляющие которых поддерживают друг друга в рамках определенного семантического поля. Так, например, известная догадка П.К. Услара о практикѣ шивания дома (типа юрты) у древних дагестанцев, основанная на очевидной этимологической зависимости авар. *ruq* 'дом' от глагола *ruq-ize* 'шить', подкрепляется некоторыми другими фактами и, в частности, однокорневым характером аварских глаголов *ga-h-ize* 'открыть (дверь и т.п.)' и *ba-h-ize* 'продырявить(ся)'. В то же время, по необходимости изолированные "реконструкции" реалий приобретают большую достоверность в случае их опоры на показания значительной совокупности языков. Однако оптимальная в этом отношении ситуация предполагает возможность хотя бы косвенного контроля за подобными выводами со стороны лингвистических свидетельств. Еще Л. Блумфилд отмечал в последней связи, что, хотя для центрального протоалгонкского языка Северной Америки формально допустима реконструкция таких лексем, как \**raaʃkesikani* 'ружье' и \**eʃkoteewaaroowi* 'виски', они не могут быть соотнесены с какими-либо местными реалиями доколумбовой эпохи.

С целью иллюстрации анахронизмов и, более того, антиисторических по своему существу решений, к которым способен привести компаративиста неучет культурно-исторической перспективы лексической реконструкции, достаточно упомянуть несколько характерных примеров, почерпнутых из практики сравнительного нахско-дагестанского языкознания.

Так, в дагестановедении довольно устойчиво держится мнение, восходящее, по-видимому, еще к А.Н. Генко, о наличии исконного для нахско-дагестанских и абхазско-адыгских языков обозначения раба, на основании которого иногда даже формулируется вывод, будто соответствующее "общекавказское слово" (отсутствующее, впрочем, в картвельских языках) подтверждает родство кавказских языков, а также существование на Кавказе социального института рабства уже в эпоху предполагаемого целым рядом кавказоведов общекавказского языкового единства. При этом не учитывается, что "распад" общекавказского культурного и языкового единства мог относиться, как считают историки, к эпохе не позднее V тысячелетия до н.э., т.е. ко времени, когда раннее рабовладельческое общество еще не сложилось не только на Кавказе, но и в Месопотамии.

Нетрудно назвать и другие анахронизмы для предполагаемого некоторыми авторами общесевернокавказского состояния, встречающиеся в недавних публикациях. Так, согласно одной из них, для северокавказских языков по существу постулируются такие семантемы, как 'мост', 'пахать', 'полка', 'ржавчина', 'стерня', 'ярмо' и некоторые другие, без каких-либо оснований проецирующие знакомство на Кавказе с железом и земледелием в столь отдаленное время. Аналогичное *qui pro quo* представляет собой предлагаемая иногда общедагестанская или общелезгинская реконструкция такой семантемы, как 'коса (орудие)'. В этом случае соответствующая реалья также отсутствует в археологических комплексах и, как свидетельствуют этнографические исследования, появляется в Дагестане лишь в новое

время (например, арчинцы начали пользоваться косой только со второй половины XIX века). Лексема *gaza* 'мотыга, кирка', повторяющаяся в довольно единообразном виде как в дагестанских, так и в нахских языках, нередко реконструируется еще для нахско-дагестанского состояния. Между тем, и в этом случае речь идет о некотором железном артефакте, который не мог появиться до эпохи раннего железа в Дагестане, т.е. до VIII—VI вв. до н.э., когда уже невозможно говорить даже об общезезгинском состоянии. Лишь после догадки Т.Е. Гудава о возможном заимствовании этой лексемы извне [Гудава, 1979, 69], исследователи стали увязывать ее с тюркским материалом (ср. кумыкское *kaza* 'мотыга' при *kazmak* 'копать') [ср. Мурклинский, 1976, 24].

Недоумение вызывают попытки отдельных авторов проецировать в общедагестанское или общезезгинское состояние такие семантические точки, как 'улица', 'крыша', 'фундамент', 'арка', 'ключ', 'подкова', 'железо', 'осел', 'кошка (домашняя)' и др. Если несколько первых среди них отражают относительно позднюю эпоху концентрации общественной жизни и распространения железа, то две последних связаны с поздней диффузией соответствующих домашних животных. Так, кости осла, широкое распространение которого по Дагестану приурочивается лишь к II в. до н.э. — III в. н.э., впервые обнаруживаются в остеологических останках из селения Мака (Южный Дагестан), относящихся к VII—IV вв. до н.э.

В целом ряде случаев недостаточного внимания к культурно-исторической перспективе функционирования слов обычно предполагаемая для прадагестанского состояния их семантика нуждается в уточнении. Так, встречающейся для бежт. *ха̄со*, цезск. *хо̄сі* и родственных им слов реконструкции значения 'щипцы' следует предпочесть восстановление более нейтральной семантики 'клещи' (по-видимому, не случайно, что в некоторых из дагестанских языков эти же лексемы обозначают и саранчу или клеща). Аналогичным образом, вместо постулируемых иногда празначений 'замок', 'мельница', 'дорога' и др. более естественно предполагать соответственно 'запор', 'зернотерка', 'путь' и т.п. Нередко уже сама семантика сопоставляемого дагестанского материала способна подсказывать, что он должен быть достоянием относительно поздней исторической эпохи. Значительно более осмотрительного подхода, чем это иногда практикуется, требуют к себе в этом плане и названия культурных растений и продуктов питания, нередко оказывающиеся не только общими для части нахско-дагестанских и сопредельных с ними языков, но и находящие в ряде случаев свои прямые аналогии довольно далеко за пределами Кавказа. Ср., например, зависимость дагестанских обозначений овса или ржи от тюркского (кыпчакского) *sulu(g)*, лезгинских названий чеснока от др.-перс. *sigra*, дагестанских лексем, обозначающих сливочное масло, от ср.-перс. *gōyan//gogna* (как известно, древние дагестанцы не производили этого продукта). Сказанное лишней раз подчеркивает важность внедрения принципа историзма в семантическую реконструкцию, необходимой предпосылкой которого может быть только учет общественно-исторического фона исследования.

Перспективы экстралингвистической интерпретации данных грамматической реконструкции очень ограничены. К тому же соответствующие выводы постоянно требуют от компаративиста большой осторожности. "Непосредственное соотнесение того или иного грамматического типа с известными культурно-историческими или социальными явлениями, — подчеркивает в этой связи Вяч. Вс. Иванов, — оказывается возможным лишь в крайне ограниченном числе случаев (например, при сопоставлении более сложных синтаксических структур, развивающихся в связи с появлением литературы и письменности, и архаичных синтаксических норм, им предшествующих; при сопоставлении различных типов языкового выражения систем счета и др.). Следует обратить внимание на то, что отражение древнейшей индоевропейской системы счета в тождестве суффиксов порядковых числительных и форм степеней прилагательных, позволяющее сравнить эту систему с древнеегипетской, может быть использовано для соотнесения определенных языковых и культурно-исторических явлений. Однако, за исключением таких сравнительно редких случаев, остается в силе утверждение Э. Сэпира об отсутствии связи между грамматическими типами и степенями культурного развития. Внеязыковые факторы отражаются не непосредственно на соотношении элементов языковой структуры (если исключить лексические элементы и некоторые грамматические), а опосредствованно — в путях перехода от одного типа к другому" [Иванов, 1958, 42].

Возможность восстановления для некоторого праязыкового состояния десятичной или двадцатеричной системы деривации количественных числительных (с лежащими в их основании обозначениями, соответственно, десяти и двадцати) и, тем более, словообразовательной аффиксации порядковых числительных указывает на достаточно высокий уровень культурного развития общества. Разветвленная и характеризующаяся определенной материальной общностью система местных падежей (локативов) способна свидетельствовать о глубокой давности пребывания носителей располагающих ими языков в зоне достаточно пересеченного ландшафта. О том же может говорить другой аргумент аналогичного порядка — материальная общность в языках компонентов тернарного противопоставления указательных местоимений 3-го лица, построенного в соответствии с дифференциальным признаком нахождения референта на одном уровне с говорящим, выше или ниже его. В частности, возможность реконструкции для прапалеогинского состояния некоторой части локативов, а также характерное для дагестанских языков в целом тернарное противопоставление указательных местоимений отмеченного типа, по всей вероятности, указывают на достаточную давность локализации носителей последних языков в регионе Большого Кавказа. Нетрудно убедиться, вместе с тем, в том, что очевидное большинство перечисленных выше признаков представляют собой явления не столько собственно грамматического, сколько словообразовательного порядка.

Реальные перспективы реконструкции в конкретной отрасли сравнительной грамматики фрагментов так называемого поэтического

языка естественно рассматривать в качестве свидетельств существования фольклорной традиции уже на определенном этапе праязыкового состояния. В наиболее прогрессирующей в последнем отношении индоевропейистике широко принята точка зрения, согласно которой в восстанавливаемом посредством сравнительной реконструкции "словосочетаний" \**dekʰos* \**teks* 'Worte zimmern' исследование обретает по существу некоторое прямое указание на бытование поэтического творчества ритуального характера на праиндоевропейском хронологическом уровне [ср. Schmitt, 1968, 386]. Во всяком случае, чаще всего практикующееся в этом плане сопоставление имеющихся в распоряжении компаративистов древнегреческих и древнеиндийских текстов позволяет прийти к предположению о весьма заметном удельном весе в древней индоевропейской традиции гимнов культового содержания.

Процессы языковой дивергенции, стоявшие в центре внимания компаративистики, имели бы чисто лингвистический интерес, если бы они не отражали собой некоторые более широкие закономерности развития человеческого общества. Между тем, за этими процессами естественно усматривать аналогичные тенденции в истории самих носителей родственных языков, т.е. в истории соответствующих этнических образований. «Очевидно, "распад (пра)языка" или "образование семьи родственных языков", — пишет в этой связи В.Н. Чекман, — это метафоры с весьма расплывчатым содержанием, т.е. это способ обозначения каких-то реальных процессов. Ими могут быть только процессы этногенетические, поскольку язык в своей основной, устной, форме не существует вне его носителей. Это несомненный тавтологизм, но он позволяет с предельной наглядностью показать, что модели родственных языков в сравнительно-историческом языкознании, говоря в общем, отражают этногенетические процессы, т.е. представляют собой один из способов описания этногенетических процессов.

Такая интерпретация этих моделей тем более естественна, что язык считается самым существенным, а при отсутствии иных сведений единственным признаком отдельного этноса. Все это позволяет с полным основанием утверждать, что практическое приложение (или внешняя интерпретация) данных сравнительно-исторического языкознания состоит в их использовании в теории этногенеза...» [Чекман, 1983, 128—129].

Среди всех других языковых проявлений генетической памяти этноса к особенно существенным выводам подобного порядка приводят этимологические разыскания. Взаимоотношения последних с этногенетическими В.И. Абаев с полным основанием характеризует следующим образом: "В отличие от исторической лексикологии, которая ограничивается обычно регистрацией слов в письменных памятниках разных эпох, этимология, опираясь на метод сравнительной и внутренней реконструкции, вторгается в глубокую древность, стремится доискаться, как звучали слова и что они значили задолго до появления письменности. И тут она оказывается лицом к лицу с проблемой этногенеза. Что такое этимологический словарь? Это — самый глубинный вариант исторического словаря. Что такое этноге-

нез? Это — самый глубокий аспект истории народа. На уровне этой глубины этимология и этногенез сближаются и протягивают друг другу руки: этимология помогает в решении этногенетических проблем, а этногенетические исследования, проводимые на основе экстралингвистических (археологических, этнологических, антропологических, исторических) данных, дают нужное направление этимологическим поискам” [Абаев, 1986, 32].

Так, в картвельской языковой области в этом смысле объединены грузинский и языки заисской ветви, отличающиеся от сванского обилием лексических заимствований из самых различных источников (подавляющую часть неисконного словаря в сванском составляют грузинизмы и занизмы). Такое положение, несомненно, согласуется с различиями антропологических типов среди грузин при наблюдающейся однородности антропологической характеристики сванов, как представителей так называемого кавкасионского типа.

Интересную информацию можно получить и из анализа картвельской этнонимии. Так, в грузинском и в занской ветви картвельских языков сохранились генетически общие этнонимы, восходящие к груз.-зан. \*kartw-el- ‘грузин’ и груз.-зан. \*m-egr-el- ‘мерел’, обозначающие две наиболее крупных для современности этнических группировки картвелов. Вероятно, они отражают определенное этническое единство значительного массива картвелов в прошлом, подразделявшегося с древнейшей поры в некотором едином восприятии на обитателей восточного ареала картвельской языковой области — исторической Картли, и обитателей исторической земли Эгриси, тяготевших к бассейну реки Ингур. И, напротив, вероятное отсутствие обоих этнонимов в сванском языке (во всяком случае не приходится сомневаться в отсутствии здесь второго из них при возможности трактовки сванского аналога первого — məkərt — в качестве некоторого более позднего образования) должно свидетельствовать в пользу определенной обособленности сванского подразделения картвелов уже в достаточно отдаленную историческую эпоху. Последнее обстоятельство находит свое подтверждение в наличии обозначения сванов \*s<sub>1</sub>wan-, соотносящегося по крайней мере с грузинско-занским состоянием (ср. также сван Šwān ‘Сванетия’).

В связи с неизменно сопровождающими экстралингвистическую интерпретацию данных компаративистики трудностями она должна верифицироваться по мере возможности показаниями нелингвистического характера. И здесь в первую очередь следует упомянуть ставшие фактически традиционными контакты сравнительно-генетического исследования с археологией. Несмотря на то, что археологические комплексы сами по себе не могут ничего сообщить о языках их создателей, они заслуживают внимания по крайней мере в двух отношениях. Во-первых, при благоприятных обстоятельствах они способны контролировать адекватность семантической реконструкции лексических архетипов. Во-вторых, в силу своей способности определять некоторые черты соответствующих культур, которые могут трактоваться как этнические, они вносят свой вклад в решение этногенетической проблематики.



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несомненный разрыв, существующий между эмпирическими успехами лингвистической компаративистики в сфере исследования фактов языкового родства и состоянием разработки ее теоретико-методического аппарата, на первый взгляд, представляется одним из парадоксов современной науки о языке. Однако при ближайшем рассмотрении сложившейся ситуации становится довольно очевидным, что этот "парадокс" имеет вполне рациональные основания. Действительно, будучи увлеченной своими фактическими достижениями, обязанными главным образом длительному пути своего экстенсивного развития, компаративистика в значительной степени пренебрегала целенаправленным совершенствованием используемого ею методического инструментария, который был бы способен вывести ее на путь интенсивного прогресса (одним из весьма характерных свидетельств именно такого положения вещей может, в частности, служить очень узкий круг исследователей, более или менее систематически занимающихся разработкой ее теории и методов). Мы едва ли ошибемся, если признаем, что по существу и в настоящее время совершенствование методов генетического языкознания все еще не утратило характера преимущественно побочного продукта исследований, ориентированных на конкретный материал, с трудом проецируемого в силу разных обстоятельств на иную языковую почву. Между тем, не приходится сомневаться в том, что при целенаправленной разработке теории и методов его успехи были бы еще более впечатляющими и, в частности, позволили бы дать более объективную оценку многих генетических гипотез, распыляющих силы компаративистов.

Автор настоящей монографии сознает специфические трудности работы компаративиста в области метода, требующей от него не только четкого понимания сферы своей компетенции (особенно — в ее отграничении от таковой типолога и ареаловеда), но и определенного минимума знаний по крайней мере в нескольких частных отраслях современного сравнительно-генетического исследования.

Одной из таких отраслей по-прежнему остается индоевропеистика, огромную инструктивную роль опыта которой для разработки сравнительных грамматик других языковых семей невозможно переоценить. Ее богатейшие традиции, освященные вкладом таких выдающихся ученых, как К. Бругман, Б. Дельбрюк, А. Мейе, Е. Курилович и Э. Бенвенист, образуют надежный отправной пункт для дальнейшего совершенствования теории и методики компаративистики. Особенно поучительными оказываются, на наш взгляд, уроки, извлеченные

методикой сравнительно-генетического языковедения в ходе последовательного открытия ряда ранее неизвестных науке древних индоевропейских языков и их целых ветвей. Прежде всего они заключаются в широко овладевшем умами признании необходимости окончательного освобождения от иллюзий концепции родословного древа, которые, вопреки многочисленным вербальным декларациям, все еще нередко отражаются как на различных аспектах исследовательской методики (эти иллюзии заявляют о себе, например, в понимании сущности архетипа, и в понятии праязыка), так и в представлениях о реальных процессах, происходящих в истории языковых семей.

Вместе с тем, в настоящее время все более все более возрастает в этом плане и значение опыта некоторых менее продвинутых в своих традициях сравнительных грамматик, показательного по крайней мере в некоторых отношениях. Среди последних можно назвать сравнительные грамматики уральских, афразийских и картвельских языков. В частности, последняя заслуживает внимания компаративиста-теоретика качественными и количественными характеристиками своего объекта, способствующими построению простейшей модели генетических взаимоотношений составляющих его языков (прежде всего — небольшим числом ингредиентов, обнаруживающих четкую градацию степеней родства). Чрезвычайно интересен этот объект и своими структурными — уже не говоря о материальных — аналогиями с индоевропейскими языками, позволяющими верифицировать некоторые этапы истории последних [ср. Гамкрелидзе, Мачавариани, 1965].

Можно ожидать, что обобщение совокупного опыта наиболее продвинутых в методическом отношении сравнительных грамматик послужит существенным стимулом прогресса компаративистики как одной из основных отраслей сравнительного — в широком смысле слова — языкознания.

Успешное развитие теории компаративистики во многом будет зависеть от дальнейших успехов в деле внедрения в ее методический аппарат идей историзма, т.е. того принципа, который в свое время вызвал к жизни сравнительно-историческое языкознание. Это означает необходимость все более последовательного учета в последнем принципа системной организации языка, с одной стороны, и конкретных социальных условий его функционирования, с другой. И если опора на первый принцип уже в настоящее время приносит известные плоды, то должное внимание ко второму требованию представляет собой скорее некоторую программу для реализации в будущем (ср., например, представления о нереально высокой степени концентрации общественной жизни в отдаленном прошлом). Думается, что только при соблюдении обоих условий сравнительно-грамматические построения превратятся из истории "распада" праязыка в подлинную историю языковой семьи.

Несоблюдение или непоследовательный учет обоих условий негативно сказывается во многих отношениях и, в частности, в фундаментальном для компаративистики понятии праязыка, методический характер которого оказывается иногда недостаточно прочно усвоенным и поныне. Особенно значительным шагом вперед явится в этом

плане разработка адекватных прерывных представлений о непрерывном по своей природе процессе языкового развития. В последней связи обнадеживает завоевывающая себе все большую популярность идея необходимости отказа от пока еще распространенной в исследовательской практике статической трактовки основных понятий компаративистики в пользу динамической, т.е. так или иначе учитывающей момент развития (например, в пользу динамической трактовки понятия праязыка, в пользу ступенчатой реконструкции, в пользу неунифицированного представления архетипов и т.п.).

С последовательным внедрением принципа историзма в сравнительно-генетические исследования более отчетливым образом должны обозначиться реальные возможности их методического арсенала и, следовательно, пределы компетенции генетических штудий (в отличие, в частности, от глоттогенетических). Уже накопленный к настоящему времени опыт убеждает в справедливости тезиса Е. Куриловича о невозможности реконструировать до бесконечности, а также предложения ряда компаративистов проводить разграничение между реконструкцией архетипов и их последующей диахронической интерпретацией. Между тем, довольно характерное для эмпирических работ неразличение обеих преобладает во все еще пользующихся некоторой популярностью генетических построениях, лишенных достаточного основания.

Давно назревшей задачей представляется преодоление нередко встречающихся в теории компаративистики прямолинейных обобщений, не учитывающих возможной специфики исследуемого языкового материала. К их числу можно, в частности, отнести утверждения о необходимом единообразии продуктов реконструкции (и, тем более, — представления о сколько-нибудь унифицированном облике праязыковых состояний), настойчиво опровергаемые и исследовательской практикой, а также представления о принципиально нефонетическом, невременном и пространственно незакрепленном характере архетипов, неоправданные во всяком случае при изучении отношений близкого языкового родства.

Если попытаться обозначить некоторую совокупность конкретных задач, решение которых заслуживает концентрации особых усилий компаративистов, то здесь по-прежнему приходится назвать достаточно обширный комплекс вопросов метода. Не претендуя на обозначение сколько-нибудь исчерпывающей программы соответствующих исследований, упомянем некоторые из них, представляющиеся достаточно актуальными.

Прежде всего следует назвать необходимость дальнейшего совершенствования методики сравнительно-генетического исследования в ее применении к материалу бесписьменных языков, составляющих подавляющее большинство на лингвистической карте мира. Последняя задача подчеркивается, по существу, У. Леманом, отмечающим, что за пределами индоевропейского языкознания компаративистика располагает не только широкими исследовательскими перспективами, но и огромной задолженностью [ср. Lehmann, 1962, 241].

Далее это настоятельная необходимость ригоризации методики

обоснования отдаленных генетических связей языков. На наш взгляд, ее совершенствование предполагает не разработку каких-либо приемов, отличных от классических (в виде, например, некоторого статистического или структурно ориентированного критерия), и тем более, не снижение требований к обычно практикуемой в компаративистике процедуре, с чем иногда приходится сталкиваться в эмпирических работах. Единственно приемлемой в этом отношении рекомендацией остается максимально строгое соблюдение общепринятой процедуры доказательства. В настоящем контексте целесообразно подчеркнуть, что обоснование отдаленного языкового родства всегда является не столько продуктом постановки специальной задачи, сколько побочным продуктом достаточно глубокого знания компонентов сравнения.

В круг рассматриваемых задач входит, в частности, совершенствование применяемых компаративистами реконструктивных операций в их отграничении от диахронической интерпретации. Здесь особенно многообещающей представляется дальнейшая разработка конкретных приемов внутренней реконструкции, с которыми сравнительно-историческое языкознание неизменно связывает надежды на получение наиболее достоверной информации о древнейших этапах истории языковых семей (так, например, нетрудно предвидеть определенный эффект соответствующего исследования при возможности согласования результатов внутренней реконструкции материала наиболее архаичных ветвей или их отдельных ингредиентов).

Немалая совокупность задач остается и в повестке дня дальнейшего совершенствования приемов релятивной хронологизации и локализации явлений в истории языковой семьи. Одной из наиболее сложных из них является разработка принципов синхронизации одноуровневых или разноуровневых архетипов в рамках некоторого единого состояния. К этому же кругу задач относится разработка методики отграничения праязыковых истоков некоторых инноваций от процессов развития новообразований, возникающих более или менее параллельно в эпоху существования исторически засвидетельствованных языков.

Если говорить о наиболее отстающих сферах современных сравнительно-грамматических построений, то здесь в первую очередь по-прежнему приходится назвать синтаксис. Такому положению вещей в значительной мере способствует высокая степень материальной гетерогенности синтаксических конструкций. Однако трудно понять, чем объясняется нередкое типологически окрашенное рассмотрение материала, встречающееся даже в случаях сравнения близкородственных языков.

Отметим, наконец, медленный рост исследовательского интереса компаративистов к экстралингвистической интерпретации праязыковых реконструкций, существенной для выработки адекватного представления о социальных, экономических и культурных условиях жизни соответствующего общества. Несмотря на наличие отдельных образцовых работ в целом методическая вооруженность компаративистов в этой сфере исследования остается недостаточной.

## ЛИТЕРАТУРА

- Абаев В. И.* О "фонетическом законе" // *Язык и мышление*, 1933, 1.
- Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. М.; Л., 1958, 1.
- Абаев В. И.* *Paetga 2*. Языкознание описательное и объяснительное. О классификации наук // *ВЯ*, 1986, N 2.
- Андреев Н. Д.* Типология раннеиндоевропейской прамовы // *Мовознавство*, 1978, 6.
- Арапов М. В., Херц М. М.* Математические методы в исторической лингвистике. М., 1974.
- Барроу Т.* Санскрит. М., 1976.
- Бенвенист Э.* Индоевропейское именное словообразование. М., 1955.
- Бенвенист Э.* Тохарский и индоевропейский // *Тохарские языки: Сборник статей*. М., 1959.
- Бенвенист Э.* Классификация языков // *Новое в лингвистике*. III. М., 1963.
- Бирнбаум Х.* О двух основных направлениях в языковом развитии // *ВЯ*, 1985, N 2.
- Блумфилд Л.* *Язык*. М., 1968.
- Бодуэн де Куртене И. А.* Сравнительная грамматика // *Бодуэн де Куртене. Избранные труды по общему языкознанию*. I. М., 1963.
- Бодуэн де Куртене И. А.* *Языкознание* // *Бодуэн де Куртене. Избранные труды по общему языкознанию*. II. М., 1963.
- Бодуэн де Куртене И. А.* Некоторые замечания о языковедении и языке // *Бодуэн де Куртене И. А. Избранные труды по общему языкознанию*. I. М., 1963.
- Бокарев Е. А.* Введение в сравнительно-историческое изучение дагестанских языков. М., 1961.
- Бокарев Е. А.* Сравнительно-историческая фонетика восточнокавказских языков. М., 1981.
- Бонфанте Дж.* Позиция неолингвистики // *В. А. Звегинцев. Хрестоматия по истории языкознания XIX—XX вв.* М., 1956.
- Вандриес Ж.* *Язык. Лингвистическое введение в историю*. М., 1937.
- Вийтсо Т.-Р. О.* Основные проблемы фонологической структуры прибалтийско-финских языков и ее истории. Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Тарту, 1982.
- Гаджиева Н. З.* (отв. ред.). Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции. М., 1988.
- Гаджиева Н. З.* Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков. М., 1973.
- Гаджиева Н. З., Серебрянников Б. А.* Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Синтаксис. М., 1986.
- Гамкрелидзе Т. В.* Сибилантиные соответствия и некоторые вопросы древнейшей структуры картвельских языков. Тбилиси, 1959 (на груз. яз.).
- Гамкрелидзе Т. В.* Хеттский язык и ларингальная теория // *Труды Института языкознания (серия вост. языков)*, Тбилиси, 1960, т. III.
- Гамкрелидзе Т. В.* Анатолийские языки и реконструкция системы ларингальных в индоевропейском // *Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков*. Научная сессия. Тезисы докладов. М., 1964.
- Гамкрелидзе Т. В.* Дезаффрикатизация в сванском: "Правила переписывания" в диахронической фонологии. Тбилиси, 1968 (на груз. и русск. яз.).
- Гамкрелидзе Т. В.* К проблеме "произвольности" языкового знака // *ВЯ*, 1972, N 6.
- Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Древняя Передняя Азия и индоевропейская проблема. Временные и абсальные характеристики общиндоевропейского языка по лингвистическим и культурно-историческим данным // *Вестник Древней Истории*, 1980, N 3.
- Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. II. Тбилиси, 1984.
- Гамкрелидзе Т. В., Мачавариани Г. И.*

Система сонантов и аблаут в картвельских языках: Типология общекартвельской структуры. Тбилиси, 1965 (на груз. яз.).

*Георгиев В.* Исследования по сравнительно-историческому языкознанию. М., 1958.

*Гигинейшвили Б.К.* Сравнительная реконструкция и вопрос о вариативности в языке-основе // ВЯ, 1972, N 4.

*Гигинейшвили Б.К.* К проблеме достоверности реконструкции // ВЯ, 1985, N 2.

*Гиндин Л.А.* К проблеме генетической принадлежности "пеласгского" догреческого слоя // ВЯ, 1971, N 1.

*Горнунг Б.В.* Из предыстории образования общеславянского языкового единства. М., 1963.

*Горнунг Б.В.* К вопросу об образовании индоевропейской языковой общности: Протоиндоевропейские компоненты или иноязычные субстраты? М., 1964.

*Гранде Б.М.* Введение в сравнительное изучение семитских языков. М., 1972.

*Гудава Т.Е.* Историко-сравнительный анализ консонантизма дидойских языков. Тбилиси, 1979.

*Гухман М.М.* Индоевропейское сравнительно-историческое языкознание и типологические исследования // ВЯ, 1957, N 5.

*Гухман М.М.* Историческая типология и проблема диахронических констант. М., 1981.

*Дельбрюк Б.* Введение в изучение языка: Из истории и методологии сравнительного языкознания. СПб., 1904.

*Десницкая А.В.* Вопросы изучения родства индоевропейских языков. М.; Л., 1955.

*Десницкая А.В., Серебренников Б.А.* (отв. ред.). Вопросы методики сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков. М., 1956.

*Десницкая А.В.* К вопросу о языковых отношениях в родовом обществе // Энгельс и языкознание. М., 1972.

*Дешериев Ю.Д.* Сравнительная грамматика нахских языков и проблемы происхождения и исторического развития горских кавказских народов. Грозный, 1963.

*Джавалишвили И.А.* Экономическая история Грузии. Кн. I (2-е изд.). Тбилиси, 1930 (на груз. яз.).

*Джаукиан Г.Б.* Взаимоотношение индоевропейских, хурритско-урартских и кавказских языков. Ереван, 1967.

*Долгопольский А.Б.* Гипотеза древнейшего родства языковых семей северной Евразии с вероятностной точки зрения // ВЯ, 1964, N 2.

*Дьяконов И.М.* Языки древней Передней Азии. М., 1967.

*Дьяконов И.М.* Лингвистические данные к истории древнейших носителей афразийских языков // Afriana. Африканский этнографический сборник. X. — Труды Института этнографии АН СССР (и.с.), 1975, т. СIII.

*Дьяконов И.М., Порхомаевский В.Я.* О принципах афразийской реконструкции: В связи с работой над сравнительно-историческим словарем // Balcanica. Лингвистические исследования. М., 1979.

*Жирмунский В.М.* Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков. М.; Л., 1964.

*Жирмунский В.М.* История немецкого языка. М., 1965.

*Жирмунский В.М.* Существовал ли протогерманский язык? // ВЯ, 1971, N 3.

*Жирмунский В.М.* Существовал ли общегерманский язык-основа // Жирмунский В.М. Общее и германское языкознание. Л., 1976<sub>1</sub>.

*Жирмунский В.М.* О теории советского языкознания // Жирмунский В.М. Общее и германское языкознание. Л., 1976<sub>2</sub>.

*Журавлев В.К.* Диахроническая фонология. М., 1986.

*Иванов Вяч.Вс.* Вероятностное определение лингвистического времени (в связи с проблемой применения статистических методов в сравнительно-историческом языкознании) // Вопросы статистики речи (Материалы совещания). Л., 1958.

*Иванов Вяч.Вс.* Типология и сравнительно-историческое языкознание. — ВЯ, 1958, N 5.

*Иванов Вяч.Вс.* Теория отношений между языковыми системами и основания сравнительно-исторического языкознания // Тезисы совещания по математической лингвистике 15—21 апреля 1959 г. Л., 1959.

*Иванов Вяч.Вс.* О методах изучения истории индоевропейского праязыка и его диалектов // О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков. М., 1960.

*Иванов Вяч.Вс.* Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые системы: Сравнительно-типологические очерки. М., 1965.

*Иванов Вяч.Вс.* Праязыки как объекты описания в издании "Языки мира" // Теоретические основы классификации языков мира. М., 1980.

*Иванов Вяч.Вс.* Хетто-лувийские (анатолийские) языки // Сравнительно-исто-

рическое изучение языков разных семей. Задачи и перспективы. М., 1982.

*Иванов Вяч. В., Топоров В. Н.* К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских и славянских языков // IV Международной съезд славистов. Доклады. М., 1958.

*Илич-Свитыч В. М.* Древнейшие индоевропейско-семитские языковые контакты // Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964.

*Илич-Свитыч В. М.* Соответствия смычных в ностратических языках // Этимология 1966. М., 1968.

К итогам дискуссии о "хеттско-иберийском" языковом единстве // ВЯ, 1956, N 1.

*Кавтарадзе И. И.* Дефектные глаголы в отношении числа в древнегрузинском языке // ИКЯ, 1976, 1 (на груз. яз.).

*Калынь Л. Э.* Диалектологический аспект проблемы «язык и диалект» // Известия АН СССР, СЛЯ, 1976, N 1.

*Капанцян Г. А.* Историко-лингвистические работы. II. Ереван, 1975.

*Караулов Ю. Н.* «Четыре кита» современной лингвистики, или о предпосылках включения «языковой личности» в объект науки о языке // Соотношение частнонаучных методов и методологии в филологической науке. М., 1986.

*Климов Г. А.* О лексико-статистической теории М. Сводеша // Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике. М., 1961.

*Климов Г. А.* Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964.

*Климов Г. А.* Заимствованные числительные в общекартвельском? // Этимология. 1965. М., 1967.

*Климов Г. А.* Абхазскоадыгско-картвельские лексические параллелизмы // Этимология. 1967. М., 1969.

*Климов Г. А.* К методике сравнительно-исторической реконструкции // Тбилисский университет Георгию Ахвледиани. Тбилиси, 1969.

*Климов Г. А.* Вопросы методики сравнительно-генетических исследований. Л., 1971.

*Климов Г. А.* Фридрих Энгельс о критериях языковой идентификации диалекта // ВЯ, 1974, N 4.

*Климов Г. А.* Картвельское \*отхо- 'четыре'~индоевропейское \*okto // Этимология. 1975. М., 1977.

*Климов Г. А.* К категории инклюзива~эксклюзива в картвельских языках: Историко-типологический комментарий. ВЯ, 1981, N 6.

*Климов Г. А.* Дополнения к заметке "Картвельское \*отхо- 'четыре'~индоевропейское \*okto" // Этимология. 1981. М., 1983.

*Климов Г. А.* Введение в кавказское языкознание. М., 1986.

*Климов Г. А., Мачавариани Г. И.* Рефлексы общекартвельского в занском (мергельско-чанском) языке // Caucasic. 2, 1966.

*Косериу Э.* Синхрония, диахрония и история. // Новое в лингвистике. М., 1963, вып. III.

*Курилович Е.* О методах внутренней реконструкции // Новое в лингвистике. IV. М., 1965.

*Курилович Е.* О понятии передвижения согласных // Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962.

*Леч Р.* К вопросу о соотношении категорий «язык» и «диалект» // Русское и славянское языкознание. К 70-летию чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесова. М., 1972.

*Ломтатидзе К. В.* К звукосоотношению  $\gamma$  //  $\gamma$  в абхазско-адыгских языках // Сообщения АН Груз. ССР. 1958, т. XXI, N 5 (на груз. яз.).

*Ломтатидзе К. В.* (ред.). Этимологические разыскания. Тбилиси, 1987.

*Макаев Э. А.* Синхрония и диахрония и вопросы реконструкции // В кн.: О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков. М., 1960.

*Макаев Э. А.* Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики. М.; Л., 1964.

*Макаев Э. А.* Общая теория сравнительного языкознания. М., 1977.

*Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938.

*Мейе А.* Общеславянский язык. М., 1951.

*Мейе А.* Основные особенности германской группы языков. М., 1952.

*Мейе А.* Сравнительный метод в историческом языкознании. М., 1954.

*Мецианинов И. И.* Новое учение о языке на современном этапе развития // Вестник Ленинградского университета, 1947, N 11.

*Милевский Т.* Предпосылки типологического языкознания // Исследования по структурной типологии. М., 1963.

*Муркелинский Г. Б.* О взаимоотношении и развитии дагестанских языков // Языки Дагестана. Вып. III (юбилейный сборник). Махачкала, 1976.

*Порхонович В. Я.* Афризийские языки // Сравнительно-историческое изучение

языков разных семей: Задачи и перспективы. М., 1982.

Паул Г. Принципы истории языка. М., 1960.

Пейрос И. И. Сино-тибетские и австротайские языки // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей: Задачи и перспективы. М., 1982.

Пизани В. 1. Общее и индоевропейское языкознание // Общее и индоевропейское языкознание: Обзор литературы. М., 1956.

Пизани В. 2. Этимология. М., 1956.

Пизани В. К индоевропейской проблеме // ВЯ, 1966, N 4.

Пикуль М. И. Эпоха раннего железа. Махачкала, 1967.

Порциг В. Членение индоевропейской языковой области. М., 1964.

Прокош Э. Сравнительная грамматика германских языков. М., 1954.

Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.

Сепир Э. Язык: Введение в изучение речи. М.; Л., 1934.

Серебренников Б. А. Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974.

Серебренников Б. А. Праязык как необходимая модель // *Különlényomat a Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum. I Kötet tanulmányiból.* Budapest, 1976.

Серебренников Б. А. Проблема достаточного основания в гипотезах, касающихся генетического родства языков // Теоретические основы классификации языков мира: Проблемы родства. М., 1982.

Сирк Ю. X. Австронезийские языки // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей: Задачи и перспективы. М., 1982.

Смирницкий А. И. К вопросу о сравнительно-историческом методе в языкознании // ВЯ, 1952, N 4.

Смирницкий А. И. Сравнительно-исторический метод и определение языкового родства. М., 1955.

де Соссюр Ф. Курс общей лингвистики // де Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М., 1977.

Сравнительная грамматика германских языков: Германские языки и вопросы индоевропейской ареальной лингвистики. М., 1962. Т. I.

Сравнительная грамматика германских языков: Фонология. М., 1962. Т. II.

Талибов Б. Б. Сравнительная фонетика лезгинских языков. М., 1980.

Толстов С. П. Значение трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания для разви-

тия советской этнографии // Советская этнография, 1950, N 4.

Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.

Топуриа В. Т. Фонетические наблюдения над картвельскими языками // Топуриа В. Т. Труды. III. Тбилиси, 1979 (на груз. яз.).

Тронский И. М. К вопросу о сравнительно-историческом методе в языкознании // Ученые записки Ленинградского государственного университета. N 156. Вопросы грамматического строя и словарного состава языка. Л., 1952.

Тронский И. М. Очерки из истории латинского языка. М.; Л., 1953.

Тронский И. М. Значение дешифровки крито-микенских линейных писем типа В для сравнительной грамматики индоевропейских языков и раннего этапа истории греческого языка // Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков. Научная сессия. Тезисы докладов. М., 1964.

Тронский И. М. Общенидоевропейское языковое состояние: Вопросы реконструкции. Л., 1967.

Тронский И. М. Вопросы языкового развития в античном обществе. Л., 1973.

Трубачев О. Н. Ремесленная терминология в славянских языках: Этимология и опыт групповой реконструкции. М., 1966.

Трубачев О. Н. Названия рек Правобережной Украины: Словообразование. Этимология. Этническая интерпретация. М., 1968.

Трубачев О. Н. Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян // ВЯ, 1976, N 6.

Трубачев О. Н. Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики // ВЯ, 1982, N 4.

Трубецкой Н. С. Мысли об индоевропейской проблеме // ВЯ, 1958, N 1.

Успенский Б. А. Структурная типология языков. М., 1965.

Фенрих Г. Критерии обоснования генетического родства языков и некоторые вопросы основных морфемных структур раннего общекартвельского языка-основы. Тбилиси, 1978 (на груз. яз.).

Хайду П. Уральские языки и народы. М., 1985.

Церетели Г. В. О теории сонантов и аблаута в картвельских языках // Гамкрелидзе Т. В., Мачавариани Г. И. Система сонантов и аблаут в картвельских язы-



ках. Типология объективальной структуры. Тбилиси, 1965.

*Цертели Г.В.* О языковом родстве и языковых союзах // ВЯ, 1968, N 3.

*Чарая П.* Об отношении абхазского языка к яфетическим // МЯЯ. СПб., 1912. IV.

*Чекман В.Н.* Исследования по исторической фонетике праславянского языка. Минск, 1979.

*Чекман В.Н.* Об интерпретации моделей родства языков в сравнительно-историческом языкознании // Славянское и балканское языкознание: Проблемы языковых контактов. М., 1983.

*Чикобава А.С.* Чаинско-мегрельско-грузинский сравнительный словарь. Тбилиси, 1938 (на груз. яз.).

*Чикобава А.С.* Древнейшая структура именных основ в картвельских языках. Тбилиси, 1942 (на груз. яз.).

*Чикобава А.С.* Картвельские языки, их исторический состав и древний лингвистический облик // ИКЯ, 1948, II.

*Шагиров А.К.* Материальные и структурные общности лексики абхазо-адыгских языков. М., 1982.

*Шараденидзе Т.С.* Генеалогическая классификация языков // ИКЯ, 1952, III (на груз. яз.).

*Щербак А.М.* Тюркско-монгольские языковые связи: К проблеме взаимодействия и смешения языков // ВЯ, 1986, N 6.

*Эдельман Д.И.* К проблеме «язык и диалект» в условиях отсутствия письменности // Теоретические основы классификации языков мира. М., 1980.

*Эдельман Д.И.* К перспективам реконструкции общеиранского состояния // ВЯ, 1982, N 1.

*Эдельман Д.И.* Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Фонология. М., 1986.

*Якобсон Р.* Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание // Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963.

*Ярцева В.Н.* О принципах построения исторической грамматики языка // ВЯ, 1986, N 5.

*Яхонтов С.Е.* Современное состояние вопроса о генетических связях языков Юго-Восточной Азии // Солнцев В.М. (отв. ред.). Генетические, ареальные и типологические связи языков Азии. М., 1983.

*Adrados F.R.* Die Rekonstruktion des Indogermanischen und die strukturalistische Sprachwissenschaft // Indogermanische Forschungen. 1968, Bd. 73, H. 1/2.

*Alinei M.* Dialect: A dialectical approach // Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, 1978, N 26.

*Allen W.S.* Relationship in comparative linguistics // Transactions of Philological Society. Oxford, 1953.

*Allen W.S.* On the linguistic study of languages. Cambridge, 1957.

*Antonsen E.H.* On defining stages in prehistoric Germanic // Language, 1965. Vol. 41, N 1.

*Anttila R.* The relation between internal reconstruction and comparative method // Ural-Altäische Jahrbücher, 1968, Bd. 40, H. 3—4.

*Anttila R.* An introduction to historical and comparative linguistics. L.; N.Y., 1972.

*Albano-Leoni F.* Quelques observations sur la Indogermanische Dichtersprache // Studia Linguistica. 1968. Vol. XXII/2.

*Austerlitz R.* Gilyak internal reconstruction, 2: Iron and questions related to metallurgy // Folia Slavica, 1984. Vol. 7, NN 1 and 2.

*Austin W.N.* Is Armenian an Anatolian language? // Language, 1942. Vol. 18, N 1.

*van Bakel J.* Transformational etymology // Orbis, 1968. T. XVII, N 1.

*Bartoli M.* Introduzione alla neolinguistica. Ginevra, 1925.

*Bartoli M., Widossi G.* Lineamenti di linguistica spaziale. Milano, 1943.

*Benveniste E.* Problèmes sémantiques de la reconstruction // Word, 1954, Vol. 10, NN 3—4.

*Benveniste E.* Hittite et Indo-Européen. Etudes comparatives. P., 1962.

*Benveniste E.* Indo-European language and society. L., 1973.

*Bergsland K., Vogt H.* On the validity of glottochronology // Current Anthropology, 1962, vol. 3, N 2.

*Birnbaum H.* Problems of typological and genetic linguistics viewed in generative framework. The Hague; P., 1970.

*Birnbaum H.* Linguistic reconstruction, its potentials and limitations in a new perspective. Washington, 1977.

*Bonfante G.* On reconstruction and linguistic method (Part I) // Word, 1945<sub>1</sub>. Vol. 1, N 1.

*Bonfante G.* On reconstruction and linguistic method (Part II) // Word, 1945<sub>2</sub>. Vol. 1, N 2.

*Bonfante G.* La linguistica areale e la preistoria indoeuropea // Atti del convegno internazionale sul tema: "Gli atlanti linguistici: problemi e risultati". Roma, 1969.

*Bopp Fr.* Die kaukasischen Glieder des indoeuropäischen Sprachstamms. B., 1847.

*Boretzky N.* Laryngaltheorie und innere

Rekonstruktion // Indogermanische Forschungen, 1975, Bd. 80, H. 1.

*Boretzky N.* Zur Lautsubstitution in Pidgin und Kreolsprachen // Sprachwissenschaftliche Forschungen: Festschrift für Johann Knobloch. Innsbruck, 1985.

*Bork F.* Beiträge zur kaukasischen Sprachwissenschaft. Königsberg, 1907. T. I. Kaukasische Miscellen.

*Bosch-Gimpera P.* Die Indoeuropäer. Schlußfolgerungen // Scherer A. (hrsg.). Die Urheimat der Indogermanen. Darmstadt, 1968.

*Bouda K.* Lakkische Studien. Heidelberg, 1944.

*Brugmann K., Delbrück B.* Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Straßburg, 1897, Bd. I (2-te Ausg.).

*Brugmann K.* Zur Frage den Verwandtschaftsverhältnissen der indogermanischen Sprachen // Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft, 1884, 1.

*Buysens E.* VII International Congress of Linguists. Preliminary reports. London, 1952.

*Bynon T.* Historical linguistics. Cambridge, 1977.

*Bynon T.* Historische Linguistik: Eine Einführung. 1981.

*Chafe W.* Internal reconstruction in Seneca // Language, 1959. Vol. 35, N 3.

*Collinder B.* La parenté linguistique et le calcul des probabilités // Uppsala universitets årskrift, 1948, XIII.

*Collinge N.E.* The laws of Indo-European. Amsterdam studies in the theory and history of language science. Series IV. Current issues in linguistic theory. Amsterdam; Philadelphia, 1985.

*Cowan H.K.J.* Statistical Determination of linguistic relationship // Studia Linguistica, 1962, XVI.

*Décsy G.* Einführung in die Finnisch-Ugrische Sprachwissenschaft. Wiesbaden, 1965.

*Décsy G.* Finno-Ugristik, Samojedistik und Paläolinguistik // Ural-Altisches Jahrbuch, 1969, Bd. I.

*Décsy G.* Sprachherkunftsforschung. Bd I. Einleitung und Phonogenese: Paläophonetik. Wiesbaden, 1977.

*Décsy G.* Sprachherkunftsforschung. Bd II. Semiotik: Paläogenese. Bloomington, 1981.

*Deeters G.* Das kharthwelische Verbum. Vergleichende Darstellung des Verbalbaus der südkaukasischen Sprachen. Leipzig, 1930.

*Deeters G.* Die Abchasische Sprachbau // Nachrichten von der Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Phil.-hist. Klasse. Göttingen, 1931.

*Deeters G.* (Rec.). Die Indogermanen und Germanenfrage. Neue Wege zu ihrer Lösung // Indogermanische Forschungen, 1938. Bd. 56, H. 2.

*Deeters G.* Die kaukasischen Sprachen // Handbuch der Orientalistik. Leipzig. Köln, 1963. Bd. VII. Armenisch und kaukasische Sprachen.

*Delbrück B.* Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen (6 Aufl.). Leipzig, 1919.

*Doerfer G.* Lautgesetz und Zufall. Betrachtung zum Omnicomparatismus // Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. Bd 10. Innsbruck, 1973.

*Dressler W.* Methodische Vorfragen bei der Bestimmung der "Urheimat" // Die Sprache. 1965, Bd XI, H. 1/2.

*Dumézil C.* Introduction à la grammaire comparée des langues caucasiennes du Nord. Paris, 1933.

*Dumézil G.* Morphologie comparée et phonétique comparée (A propos des langues caucasiennes du Nord) // BSLP, 1937. T. XXVIII, fasc. 1.

*Dumézil G.* Remarques sur les six premiers noms de nombres du Turc // Studia Linguistica, 1954, N 1.

*Dumézil G.* Remarques complémentaires sur les six premières noms de nombres du Turc et de Quechua // Journal de la Société des Americanistes (N 5), 1955, T. XLIV.

*Diakonoff J.M.* Hurrisch und Urartäisch. München, 1971.

*Dyen I.* Language distribution and migration theory // Language, 1956. Vol. 32, N 4 (pt. 1).

*Dyen I.* Reconstruction, the comparative method, and the protolanguage uniformity assumption // Language, 1969. Vol. 45, N 3.

*Dyen I.* Subgrouping and reconstruction // M.A. Jazeyery, E.C. Polomé, W. Winter (Eds). Linguistic and Literary Studies in Honor of Archibald Hill. III. Historical and Comparative Linguistics. The Hague; P.; N.Y., 1978.

*Ellis J.* Towards a general comparative linguistics. L.; The Hague; P., 1966.

*Fowler C.S.* Some lexical clues to Uto-Aztecan prehistory // IJAL, 1983. Vol. 49, N 3.

*Friedrich P.* Proto-Indo-European trees: The arboreal system of a prehistoric people. Chicago; L., 1970.

*Gamkrelidze Th.V.* The problem of "l'arbitraire du signe" // Language, 1974, vol. 50, N 1.

*Georgiev V.I.* Vorgriechische Sprachwissenschaft. I. Sofia, 1941.

*Georgiev V.* Komplexe Methoden in der indoeuropäischen Sprachwissenschaft // *Krattalos*, 1965 (Jg. X), H. 1.

*Georgiev V.* Introduction to the history of Indo-European languages. Sofia, 1981.

*Gimbutas M.* Old Europe in the fifth millennium B.C. The European situation on the arrival of Indo-Europeans // *Polomé E.* (ed.). *The Indo-Europeans in the fourth and third millennia*. Ann Arbor, 1982.

*Gonda J.* The comparative method as applied to Indonesian languages // *Lingua*, 1949. Vol. I. 1.

*Goodman M.* The strange case of Mbugu // *Hymes D.* (ed.). *Language in culture and society: a reader in linguistics and anthropology*. N.Y., 1971.

*Greenberg J.H.* Historical linguistics and unwritten languages. *Anthropology Today*, Chicago, 1953.

*Greenberg J.H.* Essays in linguistics. Chicago, 1957.

*Greenberg J.H.* A new invitation to linguistics. Garden-City, New York, 1977.

*Gudschinsky S.C.* Lexico-statistical skewing from dialect borrowing // *IJAL*, 1955. Vol. 21, N 1.

*Gudschinsky S.* The ABC's of lexico-statistics (glottochronology) // *Word*, 1956. Vol. 12, N 2.

*Gudschinsky S.* Proto-Popotecan. A comparative study of Popolocan and Mixtecan // *Indiana University Publications in Anthropology and Linguistics*, 1959, Memoir 15.

*Haas M.* Historical linguistics and the genetic relationship of languages // *Current trends in linguistics*. 3. Theoretical foundations. The Hague; P., 1966.

*Haas M.* The prehistory of languages. The Hague; P., 1969.

*Hall R.A.Jr.* English loan words in Micronesian languages // *Language*, 1945, vol. 21, N 3.

*Hall R.A.Jr.* La linguística americana dal 1925 al 1950 // *Ricerche linguistiche* 1951, I, fasc. 2.

*Hall R.A.Jr.* On realism in reconstruction // *Language*, 1960. Vol. 36, N 2.

*Hall A.* Idealism in Romance linguistics. N.Y., 1963.

*Halle M.* Phonology and generative grammar // *Word*, 1962, vol. 18, N 1.

*Haury J.* Une illusion de la reconstruction // *BSLP*, 1979. T. LXXIV, fasc. 1.

*Haugen E.* Dialect, language, nation // *American Anthropologist*, 1964, 68, N 4.

*Hehn V.* Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem Uebergang von Asien nach Griechen-

land und Italien sowie in das übrige Europa. Historisch-linguistische Skizzen. Berlin, 1870.

*Hencken H.* Indoeuropean languages and archeology // *American Anthropologist Association*, 1955. Vol. 57, N 6 (pt. 3), memoir 84.

*Henning W.B.* Oġtō(u) // *Transactions of the Philological Society* (1948). London, 1949.

*Herdan G.* Mathematics of genealogical relationship between languages // *Proceedings of the Ninth International congress of linguists*. Cambridge, Mass., August 27—31, 1962. The Hague, 1964.

*Hermann E.* Über das Rekonstruieren // *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung*, 1907, Bd XLI.

*Hermann E.* (Rec.): *Pisani V.* La ricostruzione dell'Indoeuropeo // *Indogermanische Forschungen*, 1938. Bd 56, H. 3.

*Hetzron R.* Two principles of genetic reconstruction. *Lingua*, 1976, vol. 38, N 2.

*Heubeck A.* Praegreca: Sprachliche Untersuchungen zum vorgriechisch-indogermanischen Substrat. Erlangen, 1961.

*Hirt H.* Die Hauptprobleme der indogermanischen Sprachwissenschaft. Halle, 1939.

*Hjelmstev L.* Le language. Paris, 1966.

*Hockett Ch.F.* Implications of Bloomfield's Algonquian Studies // *Language*, 1948, vol. 24, N 2.

*Hockett Ch.F.* The terminology of historical linguistics // *Studies in linguistics*, 1957, vol. 12, NN 3—4.

*Hockett Ch.* A course in modern linguistics. New York, 1958.

*Hockett Ch.F.* Linguistic time-perspective and its anthropological uses // *IJAL*, 1965. Vol. 19 N 2.

*Hoeningwald H.M.* Internal reconstruction // *Studies in Linguistics*, 1943—1944. Vol. 2, N 4.

*Hoeningwald H.M.* The principal step in comparative grammar // *Language*, 1950, vol. 26, N 3.

*Hoeningwald H.M.* Language change and linguistic reconstruction. Chicago, L., 1960.

*Hoeningwald H.M.* On the history of the comparative method // *Anthropological Linguistics*, 1963, vol. 5, N 1.

*Hoeningwald H.M.* Criteria for subgrouping of languages // *Birnbaum H., Puhvel J.* (ed.). *Ancient Indo-European dialects*. Berkeley and Los Angeles, 1966.

*Hoeningwald H.M.* Studies in formal historical linguistics. Dordrecht, 1973.

*Hoeningwald H.M.* Internal reconstruction and context // *Historical Linguistics*, 1974, II.

*Hombert J.-M.* Early Bantu population movement and iron metallurgy. The linguistic

evidence // Proceedings of the Fifth annual meeting of the Berkeley linguistic society. Berkeley, 1979.

*Hubschmid J.* Vulgärläteinisches Dorn-gestrüpp und baskisch-altwesteuropäische Etymologien // *Orbis*, 1955. T. 4.

*Hübschmann H.* Über die Stellung des Armenischen im Kreise der indogermanischen Sprachen // *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung*. 1875.

*Hübschmann H.* Armenische Grammatik. I Theil. Abt. II. Die syrischen und griechischen Lehnwörter im Altarmenischen und die echtarmenischen Wörter. Leipzig, 1897.

*Jeffers R.J.* Problems in the reconstruction of Proto-Italic // *The Journal of Indo-European Studies*, 1973, vol. I, N 3.

*Jucquois G.* La reconstruction linguistique. Application à l'indo-européen. Louvain, 1976.

*Katičić R.* Modellbegriffe in der vergleichenden Sprachwissenschaft // *Kratylos*, 1966, Jg. XI, H. 1/2.

*Katičić R.* Der Entsprechungs-begriff in der vergleichenden Laut- und Formenlehre // *Indogermanische Forschungen*, 1966. Bd 71, H. 3.

*Katičić R.* A contribution to the general theory of comparative linguistics. The Hague; P., 1970.

*King R.D.* Historical linguistics and generative grammar. Prentice // Holl. 1969.

*Kiparsky V.* Etymologie gestern und heute // *Kratylos*, 1966. Vol. XI, 1.

*Klimov G.A.* Probleme der typologischen Rekonstruktion // Proceedings of the Twelfth International Congress of Linguists. Vienna, august 28 — september 2, 1977. Innsbruck, 1978.

*Knobloch J.* Die historisch-komparative Methode und die allgemeine vergleichende Methode // *Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft*, 1956, Bd 9, H. 4.

*Knobloch J.* Concetto storico di proto-lingua e possibilita e limiti di applicazione ad esse dei principi strutturalistici // *Atti del IV Convegno internazionale de linguisti* (2—6 settembre, 1963). Milano, 1965.

*Koerner K.* Reconstruction in historical linguistics. Ottawa, 1985 (рутапринт).

*Korhonen M.* Über den Charakter der sprachgeschichtlichen Rekonstruktion // *Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen*. I, Philol.-hist. Kl., 1974, N 3.

*Korhonen M.* History of Uralic languages and the principle of lateral areas // *Finnisch-Ugrische Forschungen*, 1986. Bd XLVII, H. 2—3.

*Krahe H.* Alteuropäische Flussnamen //

*Beiträge zur Namenforschung*. 1—6, 1949—1955.

*Krahe H.* Sprachverwandschaft im alten Europa. Heidelberg, 1951.

*Krahe H.* Sprache und Vorzeit: Europäische Vorgeschichte nach dem Zeugnis der Sprache. Heidelberg, 1954.

*Krahe H.* Unsere ältesten Flussnamen. Wiesbaden, 1962.

*Krahe H.* Einleitung in das vergleichende Sprachstudium. Innsbruck, 1970.

*Kretschmer P.* Die indogermanische Sprachwissenschaft: Eine Einführung für die Schule. Göttingen, 1925.

*Krishnamurti Bh., Moses L., Danforth D.G.* Unchanged cognates as a criterion in linguistic subgrouping // *Language*, 1983, vol. 59, N 3.

*Krogmann W.* Das Buchenargument // *Zeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaft*, 1956, Bd 72, H. 1/2.

*Krogmann W.* Das Lachsargument // *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung*, 1960, Bd. 76, H. 3/4.

*Kroeber A.L., Chrétien C.D.* Quantitative classification of Indo-European languages // *Language*, 1939, vol. 13, N 1.

*Kroeber A.L., Chrétien C.D.* The statistical technique and Hittite // *Language*, 1939, vol. 15, N 1.

*Kroeber A.* Statistics, Indo-European, and taxonomy // *Language*, 1960, vol. 36, N 1.

*Kronasser H.* Illyrier und Illyricum // *Die Sprache*, 1965. Bd XI, H. 1—2.

*Kuhn A.* Zur ältesten Geschichte der indogermanischen Völker // *Weber A* (hrsg.). *Indische Studien*. Leipzig, 1850.

*Kuryłowicz J.* *a* indo-européen et *h* hittite // *Symbolae Grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski*. V. I. Cracow, 1927.

*Kuryłowicz J.* L'apophonie en Indoeuropéen. Wrocław, 1956.

*Kuryłowicz J.* On the methods of internal reconstruction // Preprint of paper for the Ninth International Congress of Linguists... Cambridge Mass., 1962.

*Kuryłowicz J.* The inflexional categories of Indo-European. Heidelberg, 1964.

*Lane G.S.* The beach argument: a re-evaluation of the linguistic evidence // *Zeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaft*, 1967. Bd 81, H. 3/4.

*Law H.W.* A reconstructed proto-culture derived from some Yuman vocabularies // *Anthropological linguistics*, 1961, 3 (4).

*Lees R.* The basis of glottochronology // *Language*, 1952, vol. 29, N 1.

*Lehmann W.P.* Historical linguistics: an introduction. New York, 1962.

*Lehmann W.P.* (Rec.) Gamkrelidze Th.V.

and Machavariani G.I. The system of sonants and Ablaut in Kartvelian languages // *Language*, 1968, vol. 44, N 2.

Leskien A. Die Deklination in Slavisch-Litauischen und Germanischen. Leipzig, 1876.

Leumann M. Rec. Altheim Fr. Geschichte der lateinischen Sprache von den Anfängen bis zum Beginn der Literatur. Frankfurt a / M., 1951 // *Kratylos*, 1956, H. 2.

Lightfoot D. On reconstructing a protosyntax // *Linguistic reconstruction and Indo-European syntax*. Amsterdam, 1980.

Longacre R. Amplification of Gudschinsky's Proto-Popolocan-Mixtecan // *IJAL*, 1962. V. 1. 28, N 4 (-t. 1).

Longacre R. Comparative reconstruction of indigenous languages // *Current Trends in Linguistics*. 4. Ibero-American and Caribbean Linguistics. The Hague; P., 1968.

Lord R. Comparative linguistics. London, 1966.

Marchand J.W. Was there ever a uniform Proto-Indo-European? // *Orbis*, 1955, T. 4, N 2.

Marchand J.W. Internal reconstruction of phonemic split // *Language*, 1956, vol. 32, N 2.

Martinet A. Evolution des langues et reconstruction. Paris, 1975.

Matteson E. (et al.). Comparative studies in Amerindian languages. The Hague; P., 1972.

Meid W. Probleme der räumlichen und zeitlichen Gliederung des Indogermanischen // Rix H. (hrsg.). Flexion und Wortbildung, 1975.

Meid W. Keltisches und indogermanisches Verbalisystem // *Indogermanisch und Keltisch*. Wiesbaden, 1977.

Meillet A. Les dialects indo-européens. Paris, 1908.

Meillet A. Armeniaca // *Mémoires de la Société de Linguistique de Paris*, 1968, vol. 35, fasc. 6.

Meillet A. Les parentés des langues // *BSLP*, 1918, t. 21, fasc. 1—2.

Meillet A. Introduction // *Les langues du Monde*. Paris, 1924.

Meillet A. La méthode comparative en linguistique historique. Oslo, 1925.

Meillet A. Linguistique historique et linguistique générale. Paris, 1926.

Merlingen W. Das "Vorgriechische" und die sprachwissenschaftlich-vorhistorischen Grundlagen. Wien, 1955.

Merlingen W. Sprachwissenschaft und Urgeschichte // *Theorie und Praxis der Zusammenarbeit zwischen den anthropologischen Disziplinen*. Symposium 1959 (6 M.)

Michelena L. *Lenguas y protolenguas*. Salamanca, 1963.

Naert P. Sur la méthode de la reconstruction interne // *Studia Linguistica*, 1957, vol. XI, N 1.

Nehring A. Studien zur indogermanischen Kultur und Urheimat // *Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte und Linguistik*, 1936, 4.

Nehring A. Zur "Realität" des Urindogermanischen // *Lingua*, 1961, vol. X, 4.

Nehring A. Idg. sechs // *Die Sprache*, 1962, VIII, 2.

Orr C., Longacre R. Proto-Quechumaran // *Language*, 1968, vol. 44, N 3.

Otrębski J. Über die Vervollkommnung der Forschungsmethoden in der indoeuropäischen Sprachwissenschaft // *Lingua Poznañensis*, 1963, IX.

Penzl H. Das Rekonstruieren des "prähistorischen" Lautwandels // *Proceedings of the Twelfth International Congress of Linguists*. Innsbruck, 1978.

Pictet A. Les origines Indoeuropéennes ou les Aryas primitifs, essai de paléontologie linguistique. Vol. I. P., 1859; vol. II. P., 1859; vol. III. P., 1863.

Pitkin H., Shipley N. A comparative survey of California Penutian // *IJAL*, 1958, vol. 24, N 3.

Pisani V. *Paléontologia linguistica // Linguistica generale e indoeuropea*. Milano, 1947.

Pisani V. La question de l'indo-hittite et le concept de la parenté linguistique // *Archiv Orientální*. 1949, vol. XVII.

Pisani V. Parenté linguistique // *Lingua*, 1952, III.

Pisani V. L'indo-européen reconstruit // *Lingua*, 1958, vol. VII.

Pisani V. Indogermanisch und Sanskrit // *Kuhns Zeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaft*, 1959. Bd 76, H. 1/2.

Polomé E. The laryngeal theory so far. A critical bibliographical survey // Winter W. (ed.). Evidence for laryngeals. *Janua Linguarum (S.M.)*. XI. L.; The Hague; P., 1965.

Polomé E. The reconstruction of Proto-Bantu Culture from the lexicon // *Language, society and paleoculture*. Essays by Edgar C. Polomé. Stanford, 1982.

Porzig W. (Rec.) Meillet A. La méthode comparative en linguistique historique. Oslo, 1925 // *Indogermanische Forschungen*. 1928. Bd XLVI, H. 3.

Proulx P. The linguistic evidence on Algonquian prehistory // *Anthropological linguistics*. 1980, N 22.

Pulgram E. Family tree, wave theory and dialectology // *Orbis*, 1953, t. II, N 1.

*Pulgram E.* Neogrammarians and Sound-laws // *Orbis*, 1955, t. I, N 1.

*Pulgram E.* Proto-Indo-European reality and reconstruction // *Language*, 1959, vol. 35, N 3.

*Pulgram E.* Nature and use of proto-languages // *Lingua*, 1961, X, N 1.

*Pulgram E.* Proto-languages as proto-diasystems: Proto-romance // *Word*, 1964, vol. 20, N 4.

*Reichenkron G.* Das Dakische (rekonstruiert aus dem Rumänischen). Heidelberg, 1966.

*Safariewicz J.* Krytyka metody ilościowej stosowanej w ocenie pokrowieństwa językowego // *Biuletyn Polskiego towarzystwa językoznawczego*, 1948, t. 8.

*Sapir E.* Internal linguistic evidence suggestive of the Northern origin of the Navaho // *American Anthropologist*, 1936, vol. 38.

*Sapir E.* The concept of phonetic law as tested in primitive languages by Leonard Bloomfield // *Selected writings of Edward Sapir in language, culture, personality*. Berkeley and Los Angeles, 1949.

*Sapir E.* Time perspective in aboriginal American culture: a study of method // *Selected writings of Edward Sapir in language, culture, personality*. Berkeley and Los Angeles, 1958.

*Saporta S.* Ordered series, dialect differences and historical processes // *Language*, 1965, vol. 41, N 1.

*Scherer A.* Der Stand der indogermanischen Sprachwissenschaft // *Trends in European and American linguistics*. Antwerp., 1961.

*Scherer A.* (hrsg.). Die Urheimat der Indogermanen. Wege der Forschung. Darmstadt, 1968.

*Scherer A.* (Rec.). R. Schmitt. Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit. Wiesbaden, 1967 // *Kratylos*, 1968, H. 1.

*Schleicher A.* Die deutsche Sprache. Stuttgart, 1860.

*Schleicher A.* Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. I. Weimar, 1861—1862.

*Schleicher A.* Eine Fabel in indogermanischer Ursprache // *Beiträge zur vergleichende Sprachforschung*, 1868, Bd 5.

*Schlerath B.* Ist ein Raum/Zeit-Modell für eine rekonstruierte Sprache möglich? // *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung*, 1981. Bd 95, H. 2.

*Schmidt J.* Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen. Weimar, 1872.

*Schmidt P.W.* Sprachfamilien und Sprachkreise der Erde. Heidelberg, 1924.

*Schmidt K.H.* Studien zur Rekonstruktion des Lautstandes der südkaukasischen Grundsprache. Wiesbaden, 1962.

*Schmitt R.* Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit. Wiesbaden, 1967.

*Schmitt R.* Indogermanische Dichtersprache. Eine Skizze // *Schmitt R.* (hrsg.). Indogermanische Dichtersprache. Darmstadt, 1968.

*Schmitt-Brandt R.* Die Entwicklung des Indogermanischen Vokalsystems: (Versuch einer inneren Rekonstruktion). Heidelberg, 1967.

*Schrader O.* Sprachvergleichung und Urgeschichte: Linguistisch-historische Beiträge zur Erforschung des indogermanischen Altertums. Jena, 1883.

*Schrader O., Nehring A.* Reallexicon der indogermanischen Altertumskunde. B., Leipzig, 1923—1929.

*Shevelov G.Y.* A prehistory of Slavic. N.Y., 1965.

*ShIPLEY W.* Penutian among the ruins: a personal assesment // *Proceedings of the Sixth Annual Meeting of the Berkeley Linguistic Society*. Berkeley, 1980.

*Sigurd B.* Generative grammar and historical linguistics. — *Acta Linguistica Hafniensia*, 1966, X.

*Simone R., Vignuzzi U.* (a cura di). Problemi della ricostruzione in linguistica. Roma, 1977.

*Solta G.R.* Die Stellung des Armenischen im Kreise der indogermanischen Sprachen. Wien, 1960.

*Southworth C.* Family-tree diagrams // *Language*, 1964, vol. 40, N 4.

*Spang-Hanssen H.* Mathematical linguistics. A trend in name or in fact // *Proceedings of the Ninth International congress of linguists*. Cambridge. Mass. August 27—31, 1962. The Hague, 1964.

*Stevick R.D.* The biological model and historical linguistics // *Language*, 1963, vol. 30, N 2.

*Sturtevant E.H.* An introduction to linguistic science. New Haven and London, 1947.

*Swadesh M.* Lexico-statistic dating of prehistoric ethnic contacts with special reference to North American Indians and Eskimos // *Proceedings of the American Philosophical Society*, 1952, vol. 96.

*Swadesh M., Mosan I.* A problem of remote common origin // *IJAL*, 1953, vol. 19, N 1.

*Swadesh M.* Perspectives and problems

of Amerindian comparative linguistics // *Word*, 1954, Vol. 10, NN 2—3.

*Swadesh M.* Towards greater accuracy in lexico-statistic dating // *IJAL*, 1955, vol. 21, N 2.

*Swadesh M.* Linguistics as an instrument of prehistory // *Himes D.* (ed.). *Language and culture in society*. N 4, 1964.

*Szemerényi O.* Studies in the Indo-European system of numerals. Heidelberg, 1960.

*Szemerényi O.* The new look of Indo-European reconstruction and typology // *Phonetica*, 1967, vol. 17, N 2.

*Thieme P.* Die Heimat der indogermanischen Gemeinsprache. Wiesbaden, 1954.

*Thieme P.* The comparative method for reconstruction in linguistics // *Language in culture and society* (A reader in linguistics and anthropology). N.Y., 1964.

*Thieme P.* Rec. Burrow T. The Sanskrit language. — *Language*, 1965, vol. 31, N 3 (pt. 1).

*Thomason S.G.* Continuity of transmission and genetic relationship // *Papers from the 4<sup>th</sup> International Conference on Historical Linguistic science*. IV. Current issues in linguistic theory. Vol. 14. Amsterdam, 1980.

*Tischler J.* Glottochronologie und Lexikostatistik. Herbst, 1973.

*Trubetzkoy N.* Les consonnes latérales des langues caucasiennes septentrionales // *BSLP*, 1922, t. XXIII, fasc. 3.

*Trubetzkoy N.* Nordkaukasische Wortgleichungen // *Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes*. 1930, Bd XXXVIII, H. 1—2.

*Trubetzkoy N.* Zur Vorgeschichte der ostkaukasischen Sprachen // *Mélanges de linguistique et de philologie offerts à Jacq. van Ginneken*. Paris, 1937.

*Tucker A.N., Bryan M.A.* The Mbugu anomaly // *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 1974, 37.

*Untermann J.* (hrsg.). *Theorie, Methode und Didaktik der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft*. Wiesbaden, 1973.

*Vendryés J.* La comparaison en linguistique // *BSL*, 1946, t. XLII, fasc. 1.

*Verner K.* Eine Ausnahme der ersten Lautverschiebung // *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung*. 1877, Bd XXIII.

*Voegelin C.F.* Relative chronology of North American linguistic types // *American Anthropologist*, 1945. Vol. 37, N 2.

*Vogt H.* Armenien et caucasique du Sud // *Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap*, 1939. Bind IX.

*Vogt H.* Le parentés des langues caucasiennes. Un aperçu général // *Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap*, 1942. Bind XII.

*Vogt H.* Le basque et les langues caucasiennes // *BSLP*, 1955, T. 51, fasc. 1.

*Vogt H.* Remarque sur la préhistoire des langues khartvéliennes // *Bedi Karthlisa*. 1961, vol. XI—XII (NN 36—37).

*Watkins C.* Italo-Celtic revised // In: *Birnbaum H., Puhvel J.* (eds.). *Ancient Indo-European Dialects*. Berkeley and Los Angeles, 1966.

*Watkins C.* *Indogermanische Grammatik*. Bd III. Formenlehre. I Teil. Geschichte der Indogermanischen Verbalflexion. Heidelberg, 1969.

*Watkins C.* Historical comparative linguistics and its contribution to typological studies // *Proceedings of the XIII-th International congress of linguists*. Tokyo, 1983.

*Weinreich U.* On the compatibility of genetic relationship and convergent development // *Word*, 1958. Vol. 14, NN 2—3.

*Whistler K.W.* Wintun prehistory: an interpretation based on linguistic reconstruction of plant and animal nomenclature // *Proceedings of the 3-rd annual meeting of the Berkeley Linguistic Society*. Berkeley, 1977.

*Winter W.* (ed.). *Evidence for laryngeals*. *Janua Linguarum (SM)*. XI. The Hague, 1965.

*Winter W.* Traces of early dialectal diversity in Old Armenian // In: *Birnbaum H. and Puhvel J.* (eds.). *Ancient Indo-European Dialects*. Berkeley and Los Angeles, 1966.

*Winter W.* *Studia Tocharica*, Posnan, 1984.

*Wurm S.A.* Papuan languages and language groups: from fragmentation to unification // *Philologia Orientalis*. IV. Тбилиси, 1976.

*Zawadowski L.* Theoretical foundations of comparative grammar // *Orbis*. 1962, 11.

*Zimmer St.* Idg. \*ukson // *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung*, 1981, Bd 95, H. 1.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	3
Глава I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДА КОМПАРАТИВИСТИКИ .....	6
Глава II. СИНХРОННЫЙ АСПЕКТ КОМПАРАТИВИСТИКИ .....	20
Глава III. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РЕКОИСТРУКЦИИ .....	41
Глава IV. МЕТОДЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ РЕКОИСТРУКЦИИ .....	83
Глава V. ПРИЕМЫ ХРОНОЛОГИЗАЦИИ И ЛОКАЛИЗАЦИИ ЯВЛЕНИЙ .....	108
Глава VI. ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАНЫХ КОМПАРАТИВИСТИКИ .....	143
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	153

Научное издание

**Климов Георгий Андреевич**

## ОСНОВЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ

*Утверждено к печати институтом языкознания АН СССР*

Редактор издательства *К.Г. Красухин*. Художественный редактор *А.В. Здрилько*  
Технический редактор *Н.М. Бурова*. Корректор *Л.А. Агеева*

Набор выполнен в издательстве на электронной фотонаборной системе

ИБ N 46306

Подписано к печати 16.03.90. Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная N 1  
Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 10,5. Усл.кр.-отт. 10,8  
Уч.-изд.л. 13,1. Тираж 1500 экз. Тип. зак. 118. Цена 2р. 60к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Наука"  
117864 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., д. 90

Ордена Трудового Красного Знамени 1-я типография издательства "Наука"  
199034, Ленинград В-34, 9-я линия, 12